

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

*Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН*

5

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Р.Ф. Касаткина (Москва). Специфика севернорусского наречия - субстратная или генетическая? ...	3
А.А. Пичхадзе (Москва). Средства выражения императивной и оптативной семантики в древнерусских и старорусских прескриптивных памятниках	14
А.М. Белов (Москва). Феномен квантитативной ритмики в современных фонологических теориях ...	25
Н.Р. Сумбатова (Москва). Связки в даргинском языке: оппозиции и употребление	44
В.Ф. Выдрин (Санкт-Петербург). «Нейтральный вид» в дан-гуэста и акциональные классы	63
М.В. Зеликов (Санкт-Петербург). Аллокутив как выражение специфики субъектно-объектных отношений в баскском языке	78
Л.И. Куликов (Лейден/Москва). Ведийские корни типа <i>CaC//C(C)ā</i> : Морфонологические модели и синтаксическая ориентированность глаголов	89

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Е.А. Иванова (Москва). Исследования А.А. Реформатского в области полиграфии книги и его становление как лингвиста (к 110-летию со дня рождения Александра Александровича Реформатского)	112
А.В. Калашников (г. Дзержинский, Моск. обл.). Лингвист Юджин Найда	121

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

С.А. Бурлак, М.А. Живлов, И.Б. Иткин (Москва). <i>J.E. Rasmussen, T. Olander (eds.). Internal reconstruction in Indo-European: methods, results, and problems</i>	130
С.В. Бритова (Москва). <i>Е.В. Перехвальская. Русские пиджины</i>	135
М.Р. Шумарина (г. Балашиха, Саратовская обл.). <i>Н.Д. Голев (отв. ред.). Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты</i>	140
П.Б. Паршин (Москва) <i>А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. Аспекты теории фразеологии</i>	143
И.А. Грунтов (Москва). <i>С.С. Сай, В.В. Баранова, Н.В. Сердобольская (ред.). Исследования по грамматике калмыцкого языка</i>	148

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Я.Э. Ахапкина, Е.Г. Сосновцева (Санкт-Петербург). Международная конференция «Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика»	151
Т.В. Скулачева, Г.В. Векшин (Москва). Международная научная конференция «I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика»	155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Л. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, А.С. Кулева, М.М. Маковский*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© 2010 г. Р.Ф. КАСАТКИНА

СПЕЦИФИКА СЕВЕРНОРУССКОГО НАРЕЧИЯ – СУБСТРАТНАЯ ИЛИ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ?*

Статья посвящена разграничению в языковом континууме севернорусского наречия следов ареального воздействия и фонетических особенностей, обусловленных генетически. Особое внимание уделено роли произносительных особенностей, проявляющихся на дофонемном уровне.

В связи с выявлением совокупности фонетических черт, общих для северноевропейского ареала, обсуждается вопрос о включенности севернорусского наречия в рамки северного языкового союза.

Севернорусские говоры характеризуются комплексом особенностей, обязанных своим происхождением контактам с соседними прибалтийско-финскими и балтийскими языками.

В настоящей статье обсуждаются субстратные явления, относящиеся преимущественно к звуковому уровню севернорусского наречия, и в связи с этим делается попытка решить следующие вопросы, имеющие общелингвистический характер: 1) как разграничить в языковом континууме при контакте неродственных языков ареальное воздействие и генетически исконное тождество; 2) какова роль нефонематических, «субфонемных» признаков в формировании общей звуковой картины идиома; 3) как охарактеризовать языковую общность севера Европы, состоящую из разных языков, в том числе и принадлежащих к разным языковым семьям?

Субстратные языковые явления отмечаются на разных ярусах языковой системы севернорусского наречия. Как и в других ситуациях языковых контактов, наиболее подверженным иноязычному воздействию оказывается лексический уровень. Большое количество фактов, подтверждающих это положение, собрано в трудах С.А. Мызникова, А.Л. Шилова, Я. Саарикиви и др. Яркое выраженный субстратный характер носит и топонимика русского Севера, что нашло отражение в фундаментальной трехтомной монографии А.К. Матвеева [Матвеев 2001; 2004; 2007], в диссертации Я. Саарикиви [Saarikivi 2006] и в целом ряде других работ.

На грамматическом уровне к числу субстратных явлений обычно относят особенности управления переходных глаголов типа *земля пахать, изба ставить*, синтаксическую конструкцию *у него в город уехано, у неё уйдено*, а также функционирование артиклеобразных постпозитивных частиц. О грамматической роли таких частиц см. [Wiedemann 1884; Veenker 1967; Kuzmenko 2001] и др.

Наличие в глагольной системе ряда севернорусских говоров категории плюсквамперфекта, которая существует также в некоторых прибалтийско-финских языках (например, водском, см. [Агранат 2005]), можно считать наследием древнерусского языка, сохранившимся благодаря языковым контактам.

Что касается фонетического уровня севернорусских говоров, то в качестве присущих им субстратных черт обычно называют *цоканье* и *ляпанье*, а также

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОИФН «Фонетические отцы и дети начала XXI века». Автор выражает искреннюю признательность Ю.А. Клейнеру и Т.М. Николаевой за внимательное прочтение текста статьи и за сделанные конструктивные замечания.

спорадическое оглушение звонких и озвончение глухих согласных¹. Это явление было отмечено в нескольких говорах Архангельской и Вологодской обл.: *охó[д]а – охóта, собá[г]а, собá[г]у – собáка, собáку, тóль[г]о – тóлько, ото[жó]л – отошёл, тихóнь[г]о – тихóнько, поохó[д']иться – поохóтиться, по[д]орáпливают – поторáпливают, пла[д]óк – платóк, вь[зоун'о]т – вьсохнет, зап[и]з[оц']ки – зап[и]сочки, [ц'ез]ы́ – часы́ (см. [Пауфошима 1969: 211–212]). О.Б. Ткаченко в костромских и ярославских говорах отметил следующие случаи мены звонких-глухих согласных: [пад]óг – батóг, зéр[г]ало – зéркало, [к]адю́ка – гадю́ка, [пáп]а – ба́ба, бу[ж]еваться – бушевáться, лén[д]а – лénта, лó- [г]оть – лóкоть, ня[д']истéнок – п[ят]истéнок, са[б]óг – сапóг, свирé[б]ой – свирéный и др. (цит. по [Востриков 1990: 35]).*

Ф. Видеман, П.С. Кузнецов, а позднее В. Фенкер указывали также на переход *l > w* в некоторых фонетических позициях в севернорусских говорах как на одну из типичных черт финно-угорского субстрата (*ко[w]* – кол, *ма[w]* – мал, *по[w]* – пол, *пошó[w]* – пошёл, [з'д'éлаw] – сдéлал, бó[w]ше – больше, нó[w]ка – нóлка, то[w]кóвый – толкóвый). Случаи такого произношения отмечены в [Wiedemann 1884: 27; Кузнецов 1949: 32; Venker 1967]².

Как видно, список обычно обсуждающихся ф о н е т и ч е с к и х проявлений финно-угорского субстрата в севернорусских говорах довольно короток, и причина такой краткости видится в том, что исследователи субстрата обычно обращают внимание только на такие фонетические явления, которые оказываются заметными на ф о н е м н о м уровне либо (в более редких случаях) на уровне д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х признаков.

М.В. Панов пишет: «Всё в звуковой материи делят обычно на фонологически существенное, релевантное, входящее в оппозиции – и фонемно-несущественное, не составляющее оппозиций» [Панов 2004: 411]. И вот как раз именно это «фонемно-несущественное» может иногда быть хранителем ценнейшей, уникальной информации о давних языковых контактах. Кроме того, пренебрежение этой «дофонемной», или субфонемной, фонетикой в большой степени обедняет наше знание о звуковом строе того или иного идиома.

Исследования последнего сорокалетия, проведенные именно на столь необходимом субфонемном уровне, дали возможность существенно пополнить приведенный краткий список фонетических субстратных явлений в севернорусских говорах. Согласно наблюдениям С.С. Высотского, в севернорусских говорах существуют такие нефонематические (невалоризованные, по Р.О. Якобсону) явления, как отсутствие заметной веляризованности твердых согласных [Высотский 1978: 115], что свойственно также и языкам, с которыми эти говоры контактируют; наличие имплозивных смычных в позициях конца слова и слога (*потóп, кот, ток, п[ят]óк, п[ят]ка, лáпка* и др.) [Там же: 119–120]. Особенно ярко эта черта выражена в северо-восточных (вятских) говорах. Категория имплозивных согласных свойственна и прибалтийско-финским языкам, что проявляется, в частности, в наличии в их звуковом строе геминированных согласных. Заднеязычные аффрикаты вместо соответствующих смычных согласных (*э̣́ород, э̣́ора, оэ̣́урец*) в говорах Прионежья С.С. Высотский также связывает с проявлением финского субстрата [Там же: 121].

К списку субстратных явлений С.С. Высотский относит и севернорусские двухфокусные лабиовелярные согласные: [x^ф] ([ф^х]), [γ^в] ([в^γ]) – [ф^х]óя, [ф^х]ост; *ко[в^γ]дá, то[в^γ]дá*. На существование таких согласных в ряде русских диалектов обратил внимание Р.И. Аванесов. Он отметил такие звуки, образуемые со сложной двухфокусной артикуляцией – губной и велярной (заднеязычной), на одном и том же консонантном сегменте в ряде южнорусских и среднерусских говоров [Аванесов 1949: 166]. П.С. Кузнецов приводит многочисленные случаи варьирования губных и заднеязычных в ар-

¹ Некоторые лингвисты считают, что и сохранение севернорусского полного о к а н ь я также обусловлено угро-финским воздействием.

² О.В. Востриков для демонстрации этой диалектной черты приводит дразнилку, записанную в Костромской обл.: *Взяу науку, убиу гауку* [Востриков 1990: 34].

хангельских говорах [Кузнецов 1949: 29–31]. Позднее С.С. Высотский описал артикуляцию двухфокусных [ф^x], [ф^h], [γ^w], показал ее на рентгенограммах и квалифицировал это явление как субстратное и свойственное не только южным, но и севернорусским говорам [Высотский 1978: 123]³.

Обсуждая фонетику некоторых прибалтийско-финских языков (саамского, финского, эстонского и др.), нельзя не отметить такую яркую их характеристику, как отсутствие в консонантной системе шипящих, т.е. в этих языках категория сибилантов представлена только одним рядом – рядом свистящих согласных.

Сибиланты, согласно Д. Кристалу, – это фрикативные согласные, чьи шумовые характеристики расположены в области высоких частот (*s*, *z*, *ʃ*, *ʒ*) [Crystal 1987: 157]. Одни ученые называют сибилантами только свистящие спиранты, другие – свистящие и шипящие. Для ряда прибалтийско-финских языков характерно существование только одного ряда сибилантов – свистящих и отсутствие шипящих. В современных севернорусских говорах, как и в русском языке на всей его территории, на фонемном уровне существуют два ряда сибилантов – свистящие и шипящие. Однако в фонетической системе севернорусского наречия наблюдаются следы бывшего неразличения двух рядов сибилантов, и об этом свидетельствует целый ряд фонетических явлений.

Свидетельства прежнего состояния системы хранят памятники севернорусской письменности. Единичные случаи мены шипящих на свистящие отмечает А.А. Зализняк в новгородских берестяных грамотах (*здуци* – ожидая, *ризи* – рыжий, *мезень* – межень) [Зализняк 2004: 48, 52]⁴. В «Слове о полку Игореве» находим *шизым* – *си́зым*. Замена свистящих согласных шипящими, так же как и обратная мена, была отмечена в псковских памятниках XIV–XV вв. А.А. Шахматовым, Н.М. Каринским, Т.Н. Кандауровой. Е.А. Галинская приводит следующие примеры писцовых ошибок из рукописных новгородских памятников XVI–XVIII вв.: *сушпán* (*шушпán* – вид одежды), *сляпа* (*шляпа*), *рогóз* (*рогóж*), *рогóзинное* (*рогóжинное*), *рожрýдом* (*разрýдом*) [Галинская 2002].

В современных севернорусских говорах также sporadически отмечаются «сбои» в употреблении свистящих и шипящих, что зафиксировано в материалах для «Атласа русских говоров центральных областей к северу от Москвы». Из 1458 обследованных населенных пунктов это явление отмечено в 127: собрано 438 примеров произношения свистящих или средних между шипящими и свистящими на месте шипящих и 144 примера произношения таких звуков на месте свистящих; см. [Касаткин 1999: 359]⁵.

Колебания в произношении свистящих и шипящих в севернорусских говорах сохраняются в определенном слое лексики до сих пор (*залéзо* – *желéзо*, *рогóза* – *рогóжа*, *зэ́нх* – *женéх*, *соштóк* – *состóк* – *шестóк*, *сóльныша* – *шóльныша*, *салáш* – *шалáс* – *шалáш*, *сашмýра* – *сасмýра* – *шасмýра* – *шашмýра* и др.), причем чаще всего подобное беспорядочное варьирование наблюдается в чисто диалектных словах, не имеющих соответствий в литературном языке. Часть из них – лексические заимствования из прибалтийско-финских языков.

В условиях языкового контакта севернорусы воспринимали сибиланты языка-источника как шипящие (т.е. «несвистящие»), поэтому в большом количестве заимствований из прибалтийско-финских языков свистящим в идиоме-доноре соответствуют шипящие звукотипы. Это ярко проявляется в севернорусской топонимике субстратного происхождения, что отражено в монографии А.К. Матвеева (например, формант *-шалга*

³ Свидетельством прежней лабиовелярности [x^φ] ([ф^x]) в прибалтийско-финских языках может служить чередование звуков [hv]-[f], проявляющееся при заимствованиях из русского языка: вепс. *fastun* – русск. *хвастун*, ливв. *fataija* – русск. *хватать* и др., см. [Мызников 2004: 357].

⁴ А.А. Зализняк не фонетист и специально характером сибилантов в новгородских памятниках не занимался, так что вполне вероятно, что приведенный им краткий список примеров может быть дополнен при более пристальном анализе материала новгородских берестяных грамот.

⁵ В студенческие годы я участвовала (вместе с Е.А. Брызгуновой) в диалектологической экспедиции по программе сбора материалов для этого атласа в д. Большой Двор Белозерского р-на Вологодской обл., где обратила внимание на это явление и потом на заседании НСО (научного студенческого общества) сделала доклад «Соканье и шоканье в говоре деревни Большой Двор».

в таких севернорусских топонимах, как *Кимшалга*, *Ревошалга* и др. восходит к фин. *selkä*, вепс. *selg* – ‘спина’; формант *-личма* в топониме *Чёлмаличма* восходит к фин. *lisma* – ‘грязь’, ‘ил’), см. [Матвеев 2001: 227, 239–240 и др.], форманты *Кош-*, *Чич-*, *Нюхч-* восходят соответственно к фин. *koski* – ‘порог’, прасаамск. **cice* – ‘сетевая краска’, прасаамск. **nikse* ‘лебедь’ [Матвеев 2004: 44, 102, 218 и др.]. Показательны также случаи мены свистящих и шипящих в следующих топонимах субстратного происхождения: *Векшеньга*, *Кипшеньга*, *Кярженьга*, *Шарженьга* и *Курсеньга*, *Пурсанга*, *Талзанга*, *Юмзеньга*⁶ [Матвеев 2007: 38], где варьирование свистящих и шипящих сибилантов наблюдается в генетически одном и том же форманте *-сеньга* (*-саньга*) – *-шеньга*.

Целый ряд топонимических формантов такого рода приводится и в диссертации Я. Саарикиви, например *-щелья* от *selkä* (фин. ‘высокий берег реки’), *Шул-* от *sul-* (саамск. ‘плавленный’, ‘растаявший’), *Шуб-* от *supē* – (протосаамск. ‘осина’). То же наблюдается и в многочисленных севернорусских апеллятивах – заимствованиях из прибалтийско-финских языков, например, *кяржина* и *кярзина* ‘вход в подполье’ (от ливв. *kuarzie*), *ушкуй* и *ушкой* ‘вид лодки’ (старофин. *wisko*), *шалáка* и *салáга* ‘рыба-уклейка’ (ливв. *salat’i*), *шэльга* ‘кряж’ (ливв. *sel’gū*) [Мызников 2004: 360]; *чільма* ‘окно в болоте’ (от старофин. *silma* ‘глаз’), *чóлма* и *шóлма* ‘пролив’ (от фин. *solma*) и др. [Saarikivi 2006].

В 1996 году мы обнаружили один русский говор, где рассмотренное функционирование только одного ряда сибилантов вместо двух – явление живое. Это говор так называемых «турчан», русских старообрядцев, выходцев из Турции, ныне живущих в североамериканском штате Орегон. В настоящее время говор турчан – один из диалектов южнорусского наречия, но по ряду лингвистических свидетельств можно утверждать, что его носители происходят из псковских земель, см. об этом [Касаткина, Касаткин 1998; Касаткин 1999: 328–361]. В архаическом слое этого говора представлен только один ряд сибилантов, а именно апико-альвеолярные круглощелевые согласные: [с^ш], [с’^ш], [з^ж], [з’^ж], [ц^ч], [ц’^ч]; при артикуляции этих согласных передняя часть языка вместе с кончиком прижата к альвеолам. Такие звуки произносятся как на месте свистящих, так и на месте шипящих, например: *на*[с^ш], [с’^ш]*емь*, *я*[з^ж]*бж*, [з’^ж]*или*, [ц^ч]*ёрква*, *пé*[ц’^ч]*ка* и др. При указанном неразличении свистящих и шипящих слова, составляющие в русском литературном языке минимальные пары, такие как *крýса* и *крýша*, *нас* и *наш*, *рогóза* и *рогóжа*, *зáрево* и *жáрево*, в говоре турчан произносятся одинаково. Перцептивно такие сибиланты производят впечатление «тусклых» (англ. «dark»).

Такое состояние сибилантов в говоре турчан дает основание для реконструкции соответствующей категории согласных в севернорусских диалектах на более раннем этапе их развития. Одним из ярких и последовательно сохранившихся следов бывшего неразличения свистящих и шипящих в этом ареале является *ц о к а н ь е*.

От так называемого *ш ó к а н ь я* (термин А.М. Селищева [Селищев 1931]), т. е. неразличения твердых свистящих и шипящих, следует отличать *шепеляв е н ь е*, т. е. произношение мягких свистящих с шипящим призвуком, чему в артикуляционном аспекте соответствует смещение локуса реализации этих согласных из зоны передненебной в п а л а т а л ь н у ю, а в акустическом аспекте – понижение шумовых составляющих спектра. Это фонетическое явление широко представлено в ареале севернорусского наречия. Артикуляционные характеристики диалектных шепелявых согласных детально описаны в работах А.М. Кузнецовой [Кузнецова 1969; 1977]. Внешне похожее на «шоканье», шепелявенье имеет другой генезис: мягкие палатальные согласные известны многим славянским языкам, и по-видимому, их наличие в том или ином славянском идиоме является континуантом более раннего состояния системы. Впрочем, не исключено, что сохранению этой реликтовой черты в севернорусских говорах⁷ способствовал контакт с прибалтийско-финскими языками.

⁶ См. также чередования по глухости-звонкости в форманте *-сеньга* – *-зеньга*, *-шеньга* – *-женьга*.

⁷ В некоторых финно-угорских языках, например в языке коми, функционируют «шепелявые» мягкие сибиланты.

Существуют также и некоторые другие фонетические явления, идущие из праславянской древности, которые сохраняются в севернорусском ареале в условиях ареального взаимодействия. Это относится, в частности, к обнаруженной нами в архангельских говорах корреляции согласных по напряженности/ненапряженности. Первая наша публикация об этом относится к 1984 г., см. [Касаткин, Пауфошима 1984]. Позднее Л.Л. Касаткин привел целый ряд аргументов в пользу того, что корреляция согласных по напряженности/ненапряженности была ранее свойственна и другим говорам русского языка, но в процессе эволюции утрачена [Касаткин 1999: 244–245]⁸. В нашей совместной работе [Kasatkin, Paufoshima 1985] было показано, что консервации этой реликтовой черты в севернорусских говорах способствовало финно-угорское окружение.

В наших публикациях мы отмечали комплексный характер дифференциального признака напряженность / ненапряженность (*fortes/lenes*). Он базируется на нескольких фонетических составляющих. Проявления этого признака: 1) прогрессивное оглушение сонантов после сильных (глухих) шумных согласных: *плыть, трава, литр, тфой, сфой* и т.д.; 2) озвончение интервокальных глухих и оглушение интервокальных звонких: [пад]о́г – бато́г, со[па́га] – соба́ка; 3) эллипсис интервокальных слабых (звонких) согласных: да[й]м – дади́м, де[у]шка – де́вушка и де́душка (!), зна[а]шь – знае́шь, лю[и] лю́ди, на[о] – на́до, но[у] – но́вую и но́гу, хо[и]м – хо́дим⁹ и т.д.; 4) продление глухих (сильных) согласных в предконсонантной позиции: ко́[ф:]та, ло́[ш:]ка, ми́[с:]ка, на́[х:]-та́ и др.; 5) придыхательность глухих смычных в определенных позициях¹⁰: [т^h]а́шка – су́мка, [т^h]а́мока – та́мо-ка, [п^h]а́ла – уна́ла, [п^h]а́ужна – у́жин, [к^h]а́ша – ка́ша, [к^h]у́рим – ку́рим и др.

Приведенный набор фонетических явлений, составляющих дифференциальный признак напряженность/ненапряженность, может присутствовать в говоре в полном виде, как это наблюдается в обследованных нами говорах Архангельской обл., либо частично, как это представлено на остальной территории севернорусского наречия¹¹.

Особого внимания заслуживают субстратные явления в области просодии. Остановимся на двух из них: на характере примыкания звуковых сегментов в речи и особенностях словесной просодии. Норвежский славист Олаф Брок еще в начале XX века отметил, что языки могут отличаться друг от друга степенью примыкания согласных к гласным [Брок 1910]. Под сильным примыканием понимается особый способ соединения гласного с последующим согласным – плотный, как в германских языках, противопоставленный неплотному, слабому, как в языках славянских. Акустическим коррелятом сильного примыкания является сокращение длительности переходного участка от гласного к согласному. В звуковых системах с сильным примыканием его манифестацией в речи являются импловзивные и геминированные согласные.

Севернорусским говорам, в отличие от литературного языка, свойственно сильное примыкание речевых сегментов друг к другу (см. об этом [Касаткина 1998]). Способом примыкания в том или ином идиоме определяется структура слога и характер слогаделения. Как показали исследования Л.В. Бондарко, русскому литературному языку по преимуществу присущи открытые слоги [Бондарко 1977]¹². Иное положение су-

⁸ Корреляция согласных по ДП напряженность/ненапряженность свойственна и многим другим славянским языкам, например, близкородственному украинскому, о чем свидетельствует ряд фонетических явлений, см. [Пауфошима 1969: 194], а также польскому, чешскому и др.

⁹ Несколько примеров эллипсиса интервокальных звонких согласных приводятся в [Кузнецов 1949: 30].

¹⁰ Придыхательность/непридыхательность многие лингвисты рассматривают как самостоятельный дифференциальный признак, см. [Либерман 2003: 884–885].

¹¹ На одно из проявлений ДП напряженность / ненапряженность – оглушение сонантов после начальных глухих смычных согласных в говорах Пинежского района Архангельской области – обратила внимание также Л.Э. Калнынь [Калнынь 2005: 84].

¹² По мнению Л.В. Бондарко, это относится не только к внутрисловным слогам (*ве-сна́, до́-чка, ко́-шка, то-ла́, фи́-рма* и т.п.), но и к конечным слогам, заканчивающимся согласным (*кот, сон, ток* и т.п.). В таких случаях возможно возникновение так называемой побочной слоговости: *ко-т², со-н², то-к²*.

ществует в русских диалектах. В работе [Пауфошима 1977] было показано, что в отношении структуры слога русское диалектное пространство неоднородно: севернорусские говоры по этому признаку противопоставлены всем другим говорам русского языка, так как в них наряду с открытыми внутрисловными слогами возможны и закрытые слоги. В частности, в тех случаях, когда в ходе эксперимента возникает вопрос о слоговой сегментации цепочки -VCC-, севернорусы обычно выбирают вариант -VC|C- в отличие от других носителей русского языка, предпочитающих сегментацию -V|CC. Базовым признаком для такого слогоделения служит характер примыкания речевых сегментов. Позднее Л.Э. Калнынь и Л.И. Масленникова на другом севернорусском материале и с применением другой методики полностью подтвердили это положение, см. [Калнынь, Масленникова 1985].

Кардинальное отличие севернорусских говоров от других региональных разновидностей русского языка заключается в особенностях ритмической структуры (метрики) слова.

Типологии словесных ритмических структур в диалектах русского языка посвящена работа [Высотский 1973], где в основу классификации различающихся моделей слова положены два просодических параметра: длительность и интенсивность (без учета тональных характеристик). В работе [Пауфошима 1983: 63–75] отмечена особая ритмико-мелодическая структура слова, характерная для ряда вологодских говоров – с сильным и высоким (тонально высоким) началом и слабым, тонально низким завершением, что создает впечатление ударения – основного или второстепенного – на первом слоге слова, например: *жѐребѣй, журавлѐм, клàдовщѣк, Нѣколáй, òдеяло, пàпирóска, пòлотѣнце-то, стàрикі-ти, бѣреглі, пѣрогі, мѣховáя, Нàстасія, òдевáлисе, прѣворожитѣ* и т.д. (примеры из говоров Харовского и Биряковского районов Вологодской обл.).

В соответствии с концепцией Т.М. Николаевой о типологической роли акцентогенности разных участков слова (начала, середины или конца) в разных языковых системах [Николаева 1993], севернорусское наречие относится к тем идиомам, в которых просодически активно (акцентогенно) начало слова, в отличие от говоров с неполным оканьем и сильным аканьем, где просодически активна центральная часть слова [Пауфошима 1996]. На просодическую выделенность слога, находящегося через один от ударного (преимущественно в предударной части слова), в вологодском говоре указывал О. Брок в классической работе о говоре Тотемского уезда [Брок 1907]. При таком способе акцентирования выделенным обычно оказывается не только слог, несущий ударение, но и первый слог в слове.

О подобном явлении в говорах Архангельской области писал и П.С. Кузнецов в статье о говорах Верхней Пинеги и Верхней Тоймы: «В многосложных словах обычно развивается, помимо главного, вторичное ударение. Особенно заметно оно в более чем трехсложных словах» [Кузнецов 1949]. То же явление отметила в одном архангельском говоре Е.А. Брызгунова, определив его как ритмизацию речи [Брызгунова 1977: 247].

Волнообразная структура просодического контура слова с усилением и продлением начального слога в слове в севернорусских говорах проанализирована в работе [Альмухамедова, Кульшарипова 1980].

В этом отношении представляется весьма важным, что позднее было отмечено типологическое сходство заонежского ляпанья (т.е. переноса словесного ударения на первый слог), которое безоговорочно относится к субстратным явлениям, с просодией слова в вологодских говорах. Это наблюдение принадлежит З.М. Альмухамедовой [Альмухамедова 1988].

Все приведенные факты могут быть обобщены следующим образом: севернорусские говоры характеризуются просодически сильным началом слова. Использование предложенного Т.М. Николаевой разграничения просодической схемы слова (автоматизированного феномена, интроспективно не замечаемого [Николаева 1993: 23]) и словесного ударения (валоризованного, перцептивно значимого факта) позволяет все перечисленные просодические явления объединить в одно общее – акцентогенность начала слова. Эта просодическая характеристика относится как к севернорусским говорам, так

и к прибалтийско-финским языкам: в них ударение падает всегда на первый слог, а в некоторых, например, в финском языке при этом регулярно усиливаются нечетные слоги [Ваахтера 2009: 107–108]¹³.

В настоящей статье не рассматриваются вопросы фразовой интонации контактирующих идиомов, можно только высказать предположение, что севернорусское наречие отличается от остальных русских говоров ярко выраженной интонационной спецификой, и это может быть связано с проявлением прибалтийско-финского субстрата. Впрочем, этот вопрос еще ждет своих исследователей.

Как было показано, субстратное влияние проявляется на разных языковых уровнях, но его следы дольше всего сохраняются в фонетике, преимущественно в просодии, а также на уровне дифференциальных признаков (особенности корреляции согласных по напряженности/ненапряженности, особенности тембровой корреляции), т.е. на тех уровнях, которые менее всего поддаются контролю со стороны говорящих.

Нетрудно заметить, что почти все перечисленные языковые факты выходят за пределы славяно-балто-финской общности и распространяются на северо-запад и запад, охватывая ареал северногерманских языков. Тем самым типологическое сходство выявляется не только между контактирующими системами севернорусского наречия и прибалтийско-финских языков, но и в таких территориально отдаленных от них языках, как английский, датский, голландский, фризский, нижненемецкие диалекты, не говоря уже о ближайшем лингвистическом окружении севернорусского наречия – шведском и норвежском языках и их диалектах. Выясняется, что существует некий языковой континуум, которому присущи многочисленные общие черты.

И здесь следует обратиться к концепции языкового союза. Известно, что идея «языкового союза» принадлежит Н.С. Трубецкому. В 1923 г. он предложил разграничивать два типа группировки языков: «языковые союзы» (*Sprachbunde*), обладающие заметным сходством в синтаксической, морфологической и фонологической структуре, и «языковые семейства» (*Sprachfamilien*), обладающие общим фондом морфем и обиходных слов. Первые объединения – ареальные, вторые – генетические [Трубецкой 1923]. Позднее, в 1931 г., Р.О. Якобсон напишет, продолжая рассуждения на эту тему А. Мейе, что единство существует во множестве, и «языковая общность не предполагает полного тождества в языке». Так возникло важное понятие «тождественного развития» языков. «Структурное сходство, охватывающее смежные языки, – замечает Р.О. Якобсон, – соединяет их в союз. Союз языков является более широким понятием, нежели понятие семьи; последняя является всего лишь частным случаем союза» (цит. по [Якобсон 1985]).

С развитием ареальной лингвистики уточнялись и представления о языковых союзах. Согласно Д.И. Эдельман, языковой союз – это ареальный класс языков, объединенных совокупностью разноуровневых признаков, возникших в ходе конвергентного развития. В основе объединения языков в союз лежат как субстратные явления, появившиеся благодаря языковым контактам, так и генетические, обусловленные происхождением языков из одного источника [Эдельман 1978: 113].

К настоящему времени выявлено и верифицировано несколько языковых союзов, таких, например, как всеми признанный балканский, а также гималайский (центральноазиатский), индокитайский, волго-камский и др. Менее известен северный (точнее северноевропейский) или, согласно [Décsy 1973], циркум-балтийский языковой союз.

Д.И. Эдельман и Т.В. Цивьян отмечают, что вхождение того или иного языка в языковой союз может быть полным или частичным, в зависимости от наличия в нем всех признаков данного союза или только некоторых из них [Эдельман, Цивьян 2005: 13]. Поэтому можно утверждать, что имеются черты, объединяющие все входящие в состав союза идиомы, в то время как другие черты могут быть свойственны только некоторым членам союза или относиться лишь к некоторым регионам.

¹³ По данным А.А. Зализняка, такая метрическая структура слова была свойственна и другим русским диалектам, см. [Зализняк 1978].

В грамматике северный языковой союз характеризуется такой общеобъединяющей чертой, как наличие постпозитивного артикля, как в шведском, норвежском и датском языках, или соответственно артиклеобразных постпозитивных частиц, как в прибалтийско-финских языках и севернорусских говорах. Этому явлению посвящено много работ, особенно в последнее время [Leinonen 1998; Stadnik-Holzer 2004].

В фундаментальной работе «Die Ursachen der Suffigierung des bestimmten Artikels in den Skandinavischen Sprachen» Ю.К. Кузьменко показал, что суффиксация определенного артикля в скандинавских языках (шведском, норвежском, датском) является следствием языковых контактов между этими языками и прибалтийско-финскими (саамскими) [Kuzmenko 2001]. В эту ситуацию вовлечены и севернорусские говоры с их активными постпозитивными частицами.

В словообразовательной системе некоторые члены северного языкового союза объединяются наличием суффикса *-ск-*: этот суффикс имеется в шведском, норвежском, фризском, а также в русском и польском языках.

В фонетике «общесоюзной» чертой, относящейся ко всем членам этого языкового объединения, является корреляция согласных по напряженности / ненапряженности, свидетельством чего служат следующие черты: сильное примыкание («closed juncture»), которым определяется специфика слоговой структуры идиома (подробнее об этом см. выше), противопоставление придыхательных / не придыхательных согласных (см., например [Стеблин-Каменский 2003: 796; Либерман 2003: 884–885]), прогрессивное оглушение сонантов в постконсонантных позициях, спорадическое оглушение звонких и озвончение глухих согласных, эллипсис интервокальных слабых согласных.

Для всех языков и диалектов, образующих северный языковой союз, характерна обсуждавшаяся выше словесная просодия с сильным началом (акцентогенное начало слова, по Т.М. Николаевой), что выражается в инициальной позиции словесного ударения или в появлении начального второстепенного словесного ударения (во всех севернорусских говорах).

Для прибалтийско-финских языков, входящих в северный союз, и для части северногерманских (нидерландского, датского, фризского, нижненемецких говоров, некоторых диалектов норвежского и шведского языков) характерно существование только одного ряда сибилантов – свистящих и отсутствие шипящих (см., например [Noteboom, Coen 1984; Воронкова 1966]). Как было показано выше, в севернорусских говорах существуют многочисленные следы утраченного «соканья» и «шоканья». Свидетельством утраченного неразличения сибилантов является цоканье.

Черты неразличения свистящих и шипящих проявляются в говорах польского языка (так называемое «мазурение»), см. [Селищев 1931].

Кроме этих кардинальных черт, свойственных языкам – членам северного языкового союза, существует множество произносительных особенностей, существующих на дофонемном уровне, которые Д.И. Эдельман называет «глубинными»: наличие альвеолярных и какуминальных зубных согласных, впервые обнаруженных в севернорусских говорах А.М. Кузнецовой [Кузнецова 1969: 69], а в скандинавских языках М.И. Стеблин-Каменским [Стеблин-Каменский 1962] и Ю.К. Кузьменко [Кузьменко 1972], спирантизация интервокального [г], отмеченная в севернорусских говорах как субстратная черта С.С. Высотским (см. выше), а в нижненемецких и фризских диалектах В.М. Жирмунским [Жирмунский 1956], преобладание прогрессивных коартикуляционных явлений (аккомодаций и ассимиляций), многоударное («раскатистое») [р], свойственное некоторым севернорусским говорам и таким прибалтийско-финским языкам как эстонский и финский, а также скандинавским языкам, что позволяет говорить о включенности севернорусских говоров, так же как и скандинавских, прибалтийско-финских языков и некоторых польских говоров, в рамки северного языкового союза.

Возникает вопрос, достаточно ли перечисленное количество общих черт для объявления северноевропейской, или циркум-балтийской, языковой общности языковым союзом? Как отмечали Д.И. Эдельман и Т.В. Цивьян, само определение языкового союза имеет приблизительный, «рабочий» характер: «нет жестких критериев того, сколько

и каких именно общих черт в фонетической, морфологической, синтаксической структурах, в лексике необходимо и достаточно для того, чтобы отождествить ту или иную группу языков как “языковой союз”, в отличие от других ареальных конвергентных групп» [Эдельман, Цивьян 2005: 13]. Здесь важно еще раз отметить, что в настоящей статье рассмотрены, в основном, фонетические черты и лишь только некоторые грамматические. Более глубокий анализ других языковых уровней, возможно, пополнит этот список¹⁴.

Как было показано, степень представленности сходных компонентов в разных членах языковых объединений может быть различной: в одних языках имеется полный набор таких компонентов, в других отмечены лишь некоторые. Но при этом важно отметить, что и каждая из объединяющих особенностей может характеризоваться в разных идиомах разными степенями развитости (валоризованности). Так, активность постпозитивных частиц в одних языках (северногерманских) выражается в появлении постпозитивного артикля, тогда как в других соответствующие частицы не имеют артиклевой функции, оставаясь дейктическими, эмфатическими (в севернорусских говорах) или посессивными (в прибалтийско-финских языках), выполняя спорадически и лишь на дискурсивном уровне роль артикля.

Акцентогенность начала слова наиболее ярко выражается в инициальном словесном ударении, что и отмечается в большинстве языков – членов северного языкового союза. В севернорусских говорах та же тенденция выражается в появлении инициального побочного (дополнительного) ударения. Разными степенями выраженности в разных языках характеризуется также корреляция по напряженности / ненапряженности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что разграничить в языковом континууме при контакте неродственных языков ареальное воздействие и генетически исконное тождество – задача непростая, поскольку специфику севернорусских говоров составляют как субстратные, так и генетические черты, сохранившиеся во многом благодаря субстрату.

Была показана также важная роль произносительных особенностей, проявляющихся на дофонемном уровне, – своего рода скреп, связывающих как родственные, так и ареальные языковые объединения.

Вопрос о том, достаточно ли обсуждаемых языковых особенностей севернорусских говоров для определения их как части языкового союза, не может быть окончательно решен до выявления общих признаков в морфологии, синтаксисе, лексике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов 1949 – Р.И. Аванесов. Очерки русской диалектологии. М., 1949.
Агранат 2005 – Т.Б. Агранат. Некоторые черты контактного взаимовлияния языков на побережье Балтийского моря // Конф. «Языковые союзы Евразии». Тезисы докл. Москва, 14–16 ноября 2005. М., 2005.
Альмухамедова 1988 – З.М. Альмухамедова. К изучению просодии слова и фразы в русских говорах Заонежья // Фонетические и орфографические исследования. Ижевск, 1988.
Альмухамедова, Кульшарипова 1980 – З.М. Альмухамедова, Р.Э. Кульшарипова. Редукция гласных и просодия слова в окающих русских говорах. Казань, 1980.
Бондарко 1977 – Л.В. Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
Брок 1907 – О. Брок. Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда // Сб. ОРЯС. Т. 83. 1907. № 4.
Брок 1910 – О. Брок. Очерк физиологии славянской речи // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 5.2. СПб., 1910.

¹⁴ Даже поверхностный обзор лексики выявляет целый ряд «общесоюзных» слов, например, севернорусск. *láhna* (залив), фин. *lahti*, эст. *laht*; севернорусск. *táшка* (сумка), нем. *Tasche* (сумка, карман), дат. *taske* (карман), фин., эст. *tasku* (карман); русск. *море*, польск. *morze*, нем. *Meer*, фин., эст. *meri*.

- Брызгунова 1977 – *Е.А. Брызгунова*. Анализ русской диалектной интонации // С.С. Высотский (ред.). Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
- Ваахтера 2009 – *Й.М. Ваахтера*. Эволюция системы гласных фонем в некоторых русских говорах Вологодской области // *Slavica Helsingiensia*. 37. Helsinki, 2009.
- Воронкова 1966 – *Г.В. Воронкова*. Сибиланты в норвежском (синхрония и диахрония): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1966.
- Востриков 1990 – *О.В. Востриков*. Финно-угорский субстрат в русском языке. Свердловск, 1990.
- Высотский 1973 – *С.С. Высотский*. О звуковой структуре слова в русских говорах // Исследования по русской диалектологии. М., 1973.
- Высотский 1978 – *С.С. Высотский*. Звуковые изменения, не влияющие на основные черты фонологического строя говоров // С.С. Высотский (ред.). Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах. М., 1978.
- Галинская 2002 – *Е.А. Галинская*. Историческая фонетика русских диалектов в лингвогеографическом аспекте. М., 2002.
- Жирмунский 1956 – *В.М. Жирмунский*. Немецкая диалектология. М., 1956.
- Зализняк 1978 – *А.А. Зализняк*. Противопоставление букв *o* и *ω* в древнерусской рукописи XIV века «Мерило праведное» // Советское славяноведение. 1978. № 5.
- Зализняк 2004 – *А.А. Зализняк*. Древненовгородский диалект. 2-е изд. М., 2004.
- Калнынь 2005 – *Л.Э. Калнынь*. Синтагматика сонантов в славянских диалектах // Исследования по славянской диалектологии. М., 2005.
- Калнынь, Масленникова 1985 – *Л.Э. Калнынь, Л.И. Масленникова*. Опыт изучения слога в славянских диалектах. М., 1985.
- Касаткин 1999 – *Л.Л. Касаткин*. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
- Касаткин, Пауфошима 1984 – *Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Пауфошима*. К лингвогеографическому описанию Архангельской области. Напряженность-ненапряженность согласных в говорах Пинги и Мезени // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка. (Ужгород, 18–20 сент. 1984 г.) Тезисы докл. и сообщ. Т. 1. М., 1984.
- Касаткина 1998 – *Р.Ф. Касаткина*. Наблюдения Олафа Брока над характером примыкания согласного к гласному в русском и других славянских языках и современная интерпретация этого явления // A Century of Slavic Studies in Norway: The Olaf Broch Symposium. Oslo, 1998. *Slavistika Vilnensis* 1997. История. Культура. Язык. Vilnius, 1998.
- Касаткина, Касаткин 1998 – *Р.Ф. Касаткина, Л.Л. Касаткин*. Неразличение свистящих и шипящих согласных в языке русских старообрядцев, живущих в США в штате Орегон // *Slavistika Vilnensis* 1997. История. Культура. Язык. Vilnius, 1998.
- Кузнецов 1949 – *П.С. Кузнецов*. О говорах Верхней Пинги и Верхней Тоймы // Материалы и исследования по русской диалектологии. Т. 1. М.; Л., 1949.
- Кузнецова 1969 – *А.М. Кузнецова*. Некоторые вопросы фонетической характеристики явления твердости-мягкости согласных в русских говорах // С.С. Высотский (ред.). Экспериментально-фонетическое изучение русских говоров. М., 1969.
- Кузнецова 1977 – *А.М. Кузнецова*. Разновидности способа образования согласных // С.С. Высотский (ред.). Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
- Кузьменко 1972 – *Ю.К. Кузьменко*. Дорсальные согласные в шведском языке // Скандинавский сборник XVII. Таллин, 1972.
- Либрман 2003 – *А.С. Либрман, М.И. Стеблин-Каменский*. Взгляд на его творчество и воспоминания // М.И. Стеблин-Каменский. Труды по филологии. СПб., 2003.
- Матвеев 2001 – *А.К. Матвеев*. Субстратная топонимия русского Севера. Т. 1. Екатеринбург, 2001.
- Матвеев 2004 – *А.К. Матвеев*. Субстратная топонимия русского Севера. Т. 2. Екатеринбург, 2004.
- Матвеев 2007 – *А.К. Матвеев*. Субстратная топонимия русского Севера. Т. 3. Екатеринбург, 2007.
- Мызников 2004 – *С.А. Мызников*. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада: лингвистический и этимологический анализ. СПб., 2004.
- Николасва 1993 – *Т.М. Николаева*. Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // ВЯ. 1993. № 2.

- Панов 2004 – *М.В. Панов*. Фонетические «фантомы F» // М.В. Панов. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 1. М., 2004.
- Пауфошима 1969 – *Р.Ф. Пауфошима*. Некоторые вопросы, связанные с категорией глухости-звонкости согласных в говорах русского языка // Экспериментально-фонетическое изучение русских говоров. М., 1969.
- Пауфошима 1977 – *Р.Ф. Пауфошима*. О структуре слога в некоторых русских говорах // С.С. Высотский (ред.). Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
- Пауфошима 1983 – *Р.Ф. Пауфошима*. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.
- Пауфошима 1996 – *Р.Ф. Пауфошима*. Среднерусские говоры и ритмика слова // Т.М. Николаева (ред.). Просодический строй русской речи. М., 1996.
- Селищев 1931 – *А.М. Селищев*. Соканье и шоканье в славянских языках // *Slavia*. X. Roc. 4. 1931.
- Стеблин-Каменский 1962 – *М.И. Стеблин-Каменский*. История альвеолярных и какуминальных в норвежском и шведском // Второй семинар по исторической фонологии германских языков. 25–26 сентября 1962. Тезисы докл. Л., 1962.
- Стеблин-Каменский 2003 – *М.И. Стеблин-Каменский*. Возникновение альвеолярных и какуминальных в норвежском и шведском // Труды по фонологии. СПб., 2003.
- Трубецкой 1923 – *Н.С. Трубецкой*. Вавилонская башня и смешение языков // *Евразийский временник*. Т. 3. Берлин, 1923.
- Эдельман 1978 – *Д.И. Эдельман*. К теории языкового союза // *ВЯ*. 1978. № 3.
- Эдельман, Цивьян 2005 – *Д.И. Эдельман, Т.В. Цивьян*. Языковые союзы и ареалы языковой и этнокультурной конвергенции на территории Евразии // Языковые союзы Евразии и этнокультурное взаимодействие (история и современность). М., 2005.
- Якобсон 1985 – *Р.О. Якобсон*. О теории фонологических союзов между языками // Избранные работы. М., 1985.
- Crystal 1987 – *D. Crystal*. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge, 1987.
- Décsy 1973 – *D. Décsy*. Die linguistische Struktur Europas: Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft. Wiesbaden, 1973.
- Kasatkin, Paufoshima 1985 – *L.L. Kasatkin, R.F. Paufoshima*. Possible Finno-Ugric influence on some phonetic traits on the North Russian dialects // Шестой международный конгресс финно-угроведов. Сыктывкар, 24–30. VII. 1985. Тезисы. Т. 1. Языкознание. Сыктывкар, 1985.
- Kuzmenko 2001 – *Ju.K. Kuzmenko*. Die Ursachen der Suffigierung des bestimmten Artikels in den skandinavischen Sprachen // *Язык и речевая деятельность*. Т. 4. Ч. 1. СПб., 2001.
- Leinonen 1998 – *M. Leinonen*. The postpositive particle *-to* of Northern Russian dialects, compared with Permic languages (Comi Zyryan) // *Studia Slavica Finlandensia*. XV. 1998.
- Noteboom, Coen 1984 – *S. Noteboom, A. Coen*. Spreken en verstaan. Assen, 1984.
- Saarikivi 2006 – *J. Saarikivi*. Substrata Uralica. Tartu, 2006.
- Stadnik-Holzer 2004 – *E. Stadnik-Holzer*. Grundsatzliches zur Erforschung des eurasischen Sprachbundes (Methodologisches, Theoretisches, Historisches) // *ZSLPh*. 2004. №. 63.
- Wiedemann 1884 – *F. Wiedemann*. Grammatik der syrjanischen Sprache. СПб., 1884.
- Veenker 1967 – *W. Veenker*. Die Frage des finno-ugrischen Substrats in der russischen Sprache. Indiana University Publikations. Uralic and Altaic Series 82. Bloomington, 1967.

© 2010 г. А.А. ПИЧХАДЗЕ

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИМПЕРАТИВНОЙ И ОПТАТИВНОЙ СЕМАНТИКИ В ДРЕВНЕРУССКИХ И СТАРОРУССКИХ ПРЕСКРИПТИВНЫХ ПАМЯТНИКАХ*

В статье описывается набор средств выражения императивной и оптативной семантики в древнерусских и старорусских текстах. Этот набор варьирует в зависимости от жанра. В некоторых жанрах (в древнейших юридических текстах и старорусских инструкциях) ключевую роль при выборе конструкции играет наличие или отсутствие контроля исполнителя над действием: при субъекте, контролирующем ситуацию, используется инфинитив, при неодушевленном субъекте – оптатив или другие конструкции. В некоторых текстах («Домострое», грамотах) эта оппозиция выражена менее четко за счет экспансии инфинитивной или, напротив, оптативной конструкции, а в церковнославянских текстах не выражена вовсе.

При выборе форм выражения императивных и оптативных значений в языках мира ключевым является наличие или отсутствие контроля над ситуацией. Применительно к древним текстам речь идет не столько о контроле говорящего – точнее, пишущего – над исполнением действия, сколько о контроле самого исполнителя над действием, которое он должен совершить [Гусев 2002: 175]. Адресатом императива может быть не любой субъект, но только обладающий контролем над ситуацией. Поэтому «в подавляющем большинстве языков имеются ограничения на образование императива 2-го лица от глаголов, описывающих неконтролируемые ситуации» [Добрушина 2001а: 78]. Если субъект действия не является агентивным / интенциональным, используются другие способы выражения предписания, в частности оптатив. Это явление характерно прежде всего для 3-го лица, поскольку именно здесь «противопоставление императивной и оптативной семантики нередко нейтрализуется» [Добрушина 2001б: 21].

Набор средств для выражения императивной и оптативной семантики в древнерусских и старорусских текстах дифференцирован в зависимости от жанра памятника. Попробуем обрисовать в общих чертах картину функционирования этих средств в независимых предикациях на материале юридических текстов («Русской Правды» XI–XII вв., «Митрополичьего правосудия» XIV в., «Псковской судной грамоты» XV в.), предписаний церковных иерархов («Ответов митрополита Георгия» XI в., «Вопрошания Кирика, Саввы и Ильи» 1130–1156 гг.), грамот, «Домостроя» XVI в. и старорусских инструкций по технике иконописи и книжного дела XV–XIX вв. (для краткости будем называть их далее техническими инструкциями).

В прескриптивных жанрах дискурс строится как последовательность высказываний в форме повелительного наклонения или инфинитива. Однако в средневековых текстах – как в церковнославянских, так и некнижных – встречается еще один способ изложения рекомендации: в форме настоящего и настоящего-будущего времени. В таких

* Работа выполнена при поддержке ОИФН РАН (проект «Синтаксическая разметка подкорпуса древнерусских переводных текстов» в рамках программы «Филология и информатика: создание системы электронных ресурсов для описания русского языка, литературы и фольклора» и проект «Синтаксический анализ древнерусских текстов» в рамках программы «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей»).

случаях предписание ничем формально не отличается от описания процесса как узуального (хабитуального). Вот как формулируются 5-я и 6-я статьи «Русской Правды» Пространной редакции (по списку «Мерила праведного» XIV в.): Будеть ли сталъ на разбон. безъ всякоа свадъ. то за разбонника люди не платятъ. но выддати и всего. съ женою и с дѣтми. на потокъ и на разграбленнѣ. аже кто не вложитъ(с) в дикун вѣрѣ. тому ли(д)ни не помагантъ но самъ платитъ [Тихомиров 1953: 50]. Таким же образом может оформляться предписание в «Ответах митрополита Георгия»: а жена егда неч(с)та бѣде(т) не целуе(т) еѣ(г)ліа; аще с трѣми женами мужатыми. бѣде(т) блѣ(д) .ѣ. лѣ(т) не комкае(т) и др. [Турилов 2004: 234, 236], а также в «Вопрошании Кирика», где формы императива и настоящего(-будущего) иногда перемежаются: И тако осмыи день измыкеться и придетъ къ товѣ, и створи кмоу молитвы по обычаю, и облечеши и въ портъ чисты, или самъ са, и надежеша ризы крестныа и вѣнецъ, и тако помажеша и сватымъ мироу, и дан кмоу свѣщи [РИБ VI: 26]. Настоящее (-будущее) узуальное в значении долженствования употребляется и в «Домострое» – сборнике рекомендаций по устройству домашнего обихода: а коли щаннаком члкъ, а не богатон, а запаситон, держи(т) про гостъ пиѣце в запасѣ... і в да(л) поблнде(т) [Забелин 1881: 122]; иногда настоящее(-будущее) перемежается здесь инфинитивом: и на мѣтвѣ свѣщи в'жигати і кадити блговон'ны(м) ладану(м) і фимігану(м), а шобразы стѣм поставлантиа и(ж) в на(ч)лѣ по чинѣ, стѣ почитаеми сж(т)... всегда почитати их' со слезами [Там же: 33]. Такой способ выражения предписания встречается в отдельных технических инструкциях: инѣ(м) же шобразо(м) сице соста(в)лае(т)ся че(р)нило. Скуде(л)ни(к) гинне(н) шкопае(т) в се(м)ли. и наложи(т) его медо(м) кисл[ы(м)] до(б)ры(м), крѣпки(м), пе(р)сты на три непо(л)нѣ. и над(д)хне(т), и повлже(т) плато(м), и воилоко(м) накрое(т), и де(р)но(м) све(р)хъ. и по трѣе(х) д[не(х)] раскута(в), пакі на(д)хнет его. и пакі повлже(т) РНБ Q. XVII № 67 XVI(?)–XVII вв. [Симони 1906: 39]; аще что хоше(т) писати. сочте(т) пре(ж) строкі на странице хоташей писати(с). и соче(т) перо чини(т). и ве(р)хъ у него твои(т) по(л). и чиненыи коне(ц) шане(м), с ве(р)хнаго накладывае(т) до ве(р)ха. и пото(м) ве(р)хній коне(ц) наложи(т) пе(р)сто(м) вторы(м) правые рѣкі, и пише(т) страницѣ вен. и ка(к) послѣ(д)нее слово, на послѣ(д)ней строцѣ напише(т), и в перѣ че(р)нило ншоде(т) все. и не штане(т)ся ничто(ж) Там же [Симони 1906: 41]; О чока(н)о(м). Пре(ж) выкуе(т) сре(б)ро... На басмѣ положа сре(б)ро. и на сре(б)ро. свиные(ц) и по сви(н)цѣ вынвде(т) Там же [Симони 1906: 47]. Аналогичное употребление настоящего(-будущего) времени отмечено в грамотах [Борковский 1949: 88–89].

Поскольку неопределенно-референтный субъект, которому адресована инструкция, может мыслиться как индивидуальным, так и коллективным, единственное число в технических инструкциях иногда чередуется с множественным: О че(р)неніи кр(с)то(в)ры(б) шѣ(б)ны(х). Пре(ж)де шволожи(т) сице. Повари(т) въ гагодѣ(х) в' мо(р)сѣ. та(ж) пото(м) в' солѣ повари(т). По се(м) же положи(т) в че(р)нило на ни(т)ке. и до(р)жи(т) тамо до ,ѣ,ти дне(н). та(ж) выне(м) повари(т) в че(р)ниле (ж) с ча(с) бо(с)воі. и штѣдѣ выне(м) сѣши(т). и наложи(т) лоскъ дре(в)цо(м) гла(д)ки(м). иные (ж) ма(с)ла коноплаа ка(п)ли положа расотре(т) по (в)семѣ и шасѣша дре(в)цо(м) лоши(т). ш инѣ(х) же просты(х) костей тѣ(м) же ш(в)разо(м) твои(т). тоіи не швалаживде(т) РНБ Q. XVII № 67 XVI(?)–XVII вв. [Симони 1906: 46]. Смысловая равнозначность единственного и множественного числа реализуется в данном контексте в ущерб грамматической правильности; аналогичное явление имеет место при согласовании по смыслу, характерном для устной речи.

Однако более обычными в средневековых прескриптивных текстах являются конструкции с повелительным наклонением и инфинитивом, а в старорусский период также конструкции, выступающие в функции оптатива.

Использование инфинитивной конструкции характерно прежде всего для юридических текстов – «Русской Правды», «Митрополичьего правосудия», «Псковской судной грамоты» [Собинникова 1990: 60–64], договорных и других грамот. Инфинитивные конструкции в значении долженствования в грамотах, особенно договорных, во много раз превосходят по частотности императив, при этом они употребляются по отношению не только к 3-му, но и ко 2-му лицу [Борковский 1949: 81–86, 89]. Инфинитив выражает в древнерусских юридических памятниках предписание, имеющее характер закона, исполнение которого обязательно. Инфинитивная конструкция древнерусских юриди-

ческих текстов и грамот соответствует церковнославянской конструкции «частица да + личная форма в настоящем-будущем времени» [Якубинский 1953: 295–298; Успенский 2002: 259–260]¹. Если, например, в договорах Руси с греками для обозначения долженствования используется только личная форма с частицей да, то в «Русской Правде» в аналогичных контекстах употребляется инфинитив или личная форма в изъявительном наклонении (узואальное настоящее): ср. в Договоре 945 г.: аще ѡубьеть х(с)ѡганинъ русина... да держ(и)мъ бѹдетъ створиѡтъи ѡбниство. Ѡ ближни(х) ѡубьѡнаго да ѡубьѡтъ и. аще ли ѡскочитъ ств(о)риѡтъи ѡубон. и ѡубѡжитъ аще бѹдетъ имовѡтъ. да возъмѡтъ имѡньѡ его. ближни ѡубьѡнаго. аще ли естъ немовѡтъ и ѡскочитъ же. да ищѡтъ его дондеже ѡбръщѡтъ аще ли ѡбръщѡтъ да ѡубьѡнъ бѹдетъ и т.д. [ПСРЛ I: 51–52] – в «Русской Правде»: или бѹдетъ кровавъ или синь надъраженъ. то не искати емѡу видока, чѡкѡу томоу... оже ли себе не можеть мыстити, то взати емѡу за обидѡу ,г. гривнѡ (статья вторая Краткой редакции [Тихомиров 1953: 39]). В «Русской Правде» конструкция с да фиксируется только в Краткой редакции, составленной в XI в., причем всего два раза – в статьях 16 и 40: где его налѡзѡтъ. ѡдареныи тон мѡжъ, да бѡтъ его; да положить по ѡ рѡзанъ продажи [Там же: 42, 45]. В «Митрополичьем правосудии» эта конструкция употреблена только однажды в последней статье [Там же: 129]. В «Псковской судной грамоте» конструкция с да встретила тоже всего один раз: а сѡсѡ(ди) ставъ на кон(х) шлѡтъ да скажѡтъ какъ правъ пре(д) бѡмъ л. 2². В «Ответах митрополита Георгия» употребляется как древнерусская, так и церковнославянская конструкция: аще ли болно бѹде(т) [дитя] да кр(с)титѡ в говѡние (статья 9), а во .й. дѡнь кр(с)тити дѡтъ (статья 21) [Турилов 2004: 235, 237]; такая же картина наблюдается в «Вопрошаниях Кирика, Саввы и Ильи»: То кто, рече, кормитъ дѡтъ, или роднага мати, или кормилица, да не гастъ до обѡда... а на обѡдѡ не гастѡ кѡ мѡса [РИБ VI: 39]. В «Домострое» форма с да встречается только в формуле благословения: подаван(т) Ѡ всѡкѡ(г) обилѡ, сирота(м) и ѡбоги(м) и по монастыре(м) ѡбоги(м) даѡтъ же бѡмѡци. сѡн тако творѡщимъ, да бл(с)венъ дв(м) его бѹде(т) [Забелин 1881: 122] и дважды – в пассаже о священии маслом больного [Там же: 40, 41].

В Договоре Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г. отмечена аналогичная церковнославянской конструкция с восточнославянской частицей ать: латине то не надъбѡ. ате промѡжи събои ѡрадѡтеѡ список А ‘пусть договорятся между собой’; кѡнѡзи то не надобѡ ни какомоу русинѡу. ать правѡтеѡ сами по своѡмоу сѡдоу список D ‘пусть разбираются сами’ [СДЯ XI–XIV, I: 99]. В «Вопрошаниях Кирика, Саввы и Ильи» в этой конструкции зафиксированы частицы ать и оть: Оже бѹдетъ кѡнъ челѡвѡкъ и крещѡнъ въ латиньскоуи вѡроу и възхощѡтъ приступити кѡ намъ? – ать ходитъ въ церковь по ѡ дѡни [РИБ VI: 26]; рѡшити и, рече, и молѡтва раздрѡшьнага дати кѡмоу, но оть дѡржитъ заповѡдь, такоже кѡмоу отецъ велѡлъ [Там же: 59] – в последнем случае форма повелительного наклонения 3-го л. (юссива) необходима потому, что позволяет отличить предписание в адрес 3-го л. от указания 2-му лицу, выраженного инфинитивом. Однако в восточнославянских текстах конструкция с частицами ать, оть и формой настоящего-будущего времени не получила распространения.

Конструкция «да + наст.-буд.» характерна прежде всего для текстов на церковнославянском языке или ориентирующихся на церковнославянский стандарт, но не для древнеболгарских текстов вообще. Инфинитив, выражающий долженствование, известен старославянским [Вайан 1952: 382] и церковнославянским памятникам, где он может соответствовать греческим инфинитивным формам, также употреблявшимся в значении долженствования, особенно часто в юридических текстах; изредка славянский ин-

¹ В церковнославянских памятниках южнославянского происхождения конструкция «да + наст.-буд.» преобладает также в целевых и косвенно-побудительных придаточных предложениях, в то время как в оригинальных древнерусских памятниках в таких придаточных предпочтение отдается конструкциям с сослагательным наклонением [Bräuer 1957; Лесневский 1976; Молдован 1996: 263–270].

² Здесь и ниже текст «Псковской судной грамоты» цитируется по фототипическому воспроизведению списка XVI в. в издании: Псковская судная грамота / Изд. Археографической комиссией. СПб., 1914.

финитив переводит греческие формы императива: и тѣгда ꙗко пригати... дати же кмиу вѣруу λαμβανέτω... διδόντω XI титул Номоканона XIV титулов в «Пандектах» Никона Черногорца [Максимович 1998: 79]. Однако в церковнославянских текстах употребление инфинитива ограничено, очевидно, здесь более предпочтительной казалась конструкция «да + наст.буд.», которая точнее передавала греческую форму императива 3-го л. и латинскую форму конъюнктива 3-го л.³, чем инфинитивная форма. Но в древнеболгарских не книжных прескриптивных текстах инфинитив употреблялся не менее регулярно, чем в восточнославянских. Это стало очевидно после находки синайского глаголического сборника медицинских рецептов XII в., в котором, за исключением одного контекста с императивом, всегда используются инфинитивные формы: Обзринъ на врачъж. тѣждови: коушъше і: въ винѣ възваръше испити: (...) Егда бждетъ чѣкоу тѣжъка жтроба: ли отокъ: ли прохода не бждетъ: то кобенне (вместо коренне) то варити въ винѣ: того чашъ испити: и то вѣдѣти: ѿше не бждетъ прохода възкорѣ. то цѣлж солъ варити съ медомъ: то же възложити въ прохода: ѿше съ ѣзва запечетъ: то покривъно (вместо кропивъно?) листъве либо коренъе гѣтеръше: то же сыпати на ѣзвж: (...) Кони егда бждетъ чѣзвж: шевей конъскои корѣ его възложити въ ѣзвж: [Rosenschon 1994: 307–310].

В древнейшем собрании технических инструкций, находящемся в рукописи РГБ, ф. 304.1, Тр.-С. № 408, XV в.⁴, имеющем больше всего церковнославянских элементов в лексике и синтаксисе (здесь встречается даже дательный самостоятельный), господствуют формы 2-го л. ед. числа повелительного наклонения, а инфинитив встречается лишь в единичных случаях. В более поздних инструкциях инфинитив употребляется постоянно: а санкирь соугавити, в' вохрѣ при[ли]вати чернилъ немного, а по са(н)кири писати вохром... ѿ чернила составити то (ж) уголье еловое да уте(р)ти мѣлкъ бе(з) извести РГАДА, ф. 181, МГАМИД № 469/937, вторая половина XVII в. [Симони 1906: 231]. Инфинитив является основным средством выражения долженствования в «Домострое»: какъ платне велкон женѣ носити и ѹстроити. ѿ пла(т)е и рѣбашки и шѣрѣсы на себѣ носити бре(ж)но по всѣмъ дѣи не изваляти, не изсѣлати, не изланти, и на мокрѣ не сѣсти и не положити, все то сниман(ч) съ себѣ класти брежно. и бре(ч) тв(г) накрѣпко. и слѣ(г) ѹчити тако (ж) [Забелин 1881: 256–257]; и слѣ(ж)ке пристѣпн(т)ца и възл(т) и понести, ино хороше и не ѹгрознено, и са(м) не ѹваляе(т)ца [Там же: 131].

Яркой особенностью старорусских технических инструкций является возможность однородного употребления личных и инфинитивных форм, т.е. повелительного наклонения или 3-го л. наст.(-буд.) и инфинитива, несмотря на то, что их субъект на поверхностном уровне должен быть выражен разными падежами – именительным при повелительном наклонении и наст.(-буд.) времени и дательным при инфинитиве, а также несмотря на то, что субъект повелительного наклонения должен быть выражен 2-м л., а субъект наст.(-буд.) времени – 3-м л.: зла(т) не пла(т)ѣ выжигати. : – зже(т) є(г) в гонцѣ. да пепе(л) во(н) выдме(т). а золото смѣша(в) с мыло(м) жжены(м) довольно. класти в горничкъ в малои сребренин. ка(к) съ сварн(т) серебрече то. иноє з горо(х). а иноє з ѣманинѣ. а иноє с ма(к) и выдѣ(в) пепе(л) то(т). и па(к) во ины горничн(к) вло(ж). да перелен в ызлонницю Тр.-С. 408 XV в., 330 об.; иссѣши(в) гораз(л)о да истолчи мѣлко. како пѣ(х) мѣ(ч)ныи. да мѣшати вмѣсто Тр.-С. 408, 384 об.; Ѣмѣл ѿнѣное възлѣти в' котел(л). и исто(л)кши мѣ(л)ко є(н)та(р), и класти по мѣре в него. и варити два дни да но(ч). и пото(м) класти чн(р)кѣ рѣбно(ва) дре(ва) колоты или не колоты в него, и припечатает(т) дском прикрыв(в), и парн(т) дѣнь да но(ч). та(ж) пото(м) цеди(т), что(б) было теп(л)о, а не горяче РНБ Q. XVII № 67 XVI(?)–XVII вв. [Симони 1906: 46]; ѿще чернило бумагу проѣдаеть ѹбави орѣшковъ. и положити дово(л)но комѣди Пог. № 1610 XVII в. [Там же: 112]; опиши багром, да иззатинь, да киноварем подрумянить... Да подте ну составь, да сплавить, да вытянуть ГБЛ, ф. 299 (Тихонр.) № 457, вторая четверть XVII в. [Свод 1: 108]; Комѣдь к подѣлѣи растворить, ѹкроши ємъ кѣсками и покласть в сосѣдець

³ См. церковнославянский перевод латинского пенитенциала VIII в. в [Максимович 2008: 172–194]; инфинитивная конструкция в переводе, как и в латинском оригинале, отсутствует [Там же: 94].

⁴ Рукопись доступна на сайте <http://www.stsl.ru>

скланной Сийский иконописный подлинник чернеца Никодима, вторая половина XVII в. [Симони 1906: 208]; Гварн(ти) клен нзо ш(б)рѣско(в) нзо ш(в)чн(н)ны(х) н(лі) возми свѣже(г) клен варено(г) ново н до(н)ного Сборник Ржановского XVII–XVIII вв. [Там же: 160]; Возми калу конскаго свежаго, и выжати из него сок в судно ГИМ, Забелинский сб. № 344, первая половина XIX в. [Свод 2: 408]; Чеснок истолкши, процедить дващи, и поставити в суденке, на солнце изсуши Там же [Там же: 408]; Как по стеклу писать. Взять масла скипидарного, нашатырю, нефти, камедь и на оном краски твори РНБ, О. XIII.11, середина XVII в., приписка первой половины XIX века [Свод 1: 125].

Однородное сочинение инфинитива и повелительного наклонения отличает инструкции от «Домостроя», юридических текстов и предписаний церковных иерархов. Эта синтаксическая конструкция наблюдается со времени создания самого раннего списка технических инструкций (Тр.-С. 408 XV в.) вплоть до инструкций XIX в. Иногда в разных списках и редакциях одной и той же инструкции разные глаголы принимают форму повелительного наклонения и инфинитива, но само сочетание финитных и инфинитных форм сохраняется: олово терти пилом н шыпан шгле(н), да влен желчь медвѣ(ж)и да квасци Тр.-С. 408, XV в., 330 об. (с этих слов начинается рецепт) – ср. в более позднем списке: олово терти пилом шыпати шголь да влєї ме(д)вє(ж)и желчь да квасцєї БАН 45.9.4 XVII–XVIII вв. [Симони 1906: 220]. Иногда меняется лексическое наполнение однородного ряда, но сочинение повелительного наклонения и инфинитива остается неизменным: Найди ящерицу жє(л)тѣи живѣи да розвести со ртѣтъи ГИМ, Муз. 1933, вторая четверть XVII в. [Там же: 119], то же в рукоп. РГАДА, ф. 181, МГАМИД № 925/1491, 1675 г., ГИМ, Заб. 459, конец XVII в., БАН, 33.6.17, 1776 г. Найди ящерицу живую желтую. Истерши розвести со ртутью ГБЛ, ф. 37 (Больш.). № 24, 1767 г. [Свод 2: 123] – ср.: Найди ящерицу желтую, да посадить в скляношной сосуд со ртутью РНБ Q. XIII. 10, к. XVII в. [Свод 1: 287], И ящерицу живую запечатай со ртутью, да положить в печь волную БАН, 33.6.17, 1776 г. [Свод 2: 208]. Но в некоторых случаях писцы заменяют конструкцию на стандартное сочинение личных форм или инфинитивов или же преобразуют одну из предикаций в причастную: Найдя ящерицу желтую живую и розотри со ртутью РГБ ф. 310 (Унд.), № 696, конец XVII в. [Свод 1: 269]; Сыскати ящерицу живую желтую да розвести со ртутью ГИМ, Муз. № 2651, третья четверть XVII в. [Там же: 176–177]; Найди ящерицу желтую живую, и разотри со ртутью РГБ, ф. 178 (Муз.) № 4235, первая четверть XVIII в. [Свод 2: 15].

Однородное сочинение формы повелительного наклонения с инфинитивом является настолько устойчивым синтаксическим шаблоном старорусских иконописных инструкций, что приводит к возникновению анаколуфа, при котором субъект в форме местоимения 2-го л. сочетается с инфинитивом: А опять засохнет, и ты, что перстом нельзя творити, ино маленько комеди прибавить, и опять творити ГИМ, Забел. № 344, первая половина XIX в. [Там же: 406].

В «Домострое» сочинение повелительного наклонения и инфинитива встретилось лишь однажды в кулинарном рецепте: а сторо(ж)ки прирѣсав(и), да в нее лити сыта пато(ч)наа... а класти в боче(ч)ки ... по ш(д)номѣ га(б)локѣ рѣками, да налє(и) пато(ч)ном сытом [Забелин 1881: 159].

Чуждая книжному языку, конструкция однородного сочинения повелительного наклонения с инфинитивом спонтанно возникает в некнижных текстах: ее появление вызвано семантической близостью императива и инфинитива в значении долженствования. Вот пример из письма Павла Егоровича Чехова к сыновьям Антону и Ивану (1877 г.), весьма близкий к процитированным выше контекстам: «Перешлите в Москву 2 сундука по железной дороге, хорошенько обшить их рогожами, завязать веревками и запечатать» [Кузичева 2004: 208]. Однако в качестве устойчивого шаблона эта конструкция могла закрепиться только в некнижных текстах, поскольку книжная норма не допускала однородного сочинения предикатов с разными морфологическими характеристиками при субъекте, который должен быть выражен формами разных падежей. Но в средневековых текстах чаще, чем в современных, смысловое сходство оказывалось важнее формального согласования или единообразия – об этом уже говорилось выше в

связи со смешением 2-го и 3-го лица в технических инструкциях. В процессе развития жанра неприемлемые для книжного языка конструкции иногда закреплялись в качестве специфических шаблонов: в некнижной письменности отсутствовал единый образцовый корпус текстов, что способствовало «формированию частных традиций, имеющих дело с отдельными типами текстов (...) Если в истоках формирования подобных традиций может лежать отклонение от стандарта, то в их развитии оно выступает в качестве прецедента, легализующего эти отклонения и образующего отдельный преемственный узус, своего рода частный стандарт» [Живов 2004: 62].

В отличие от юридических текстов, «Ответов митрополита Георгия» и технических инструкций, в «Вопрошаниях Кирика, Саввы и Ильи» в 3-м л. употребляется – правда, в единичных случаях – оптатив, выраженный сочетанием частицы да и формы сослагательного наклонения: Я́ молозѣва, рече, лихо, негодно бы гаси ко, како съ кровыи ксть. да быша съ три дни телати давали, а потомъ чисток сами вли ‘пусть три дня дают телянку’, яще кто хощеть женитиса, да бы са охвалъ блуда мѣ дни ‘пусть воздержится от блуда’ [РИБ VI: 48]. В «Домострое» форма оптатива используется гораздо шире, и частица да в ее составе уже отсутствует. Оптатив в «Домострое» фиксируется не только в 3-м л., где он наиболее близок по семантике императиву, но и во 2-м л., хотя и чрезвычайно редко: а которыи оу тебѣ чѣкъ... твои(м) жалованіе(м) в тво(м) нелѣпо ходи(т), и беречи не оумѣе(т), и ты бы своимъ приказшикомъ велѣлъ оу такн(х) нечю(в)ствены(х) людем платіе с ни(х) сымати лѣчшее [Забелин 1881: 71]; а ты бы н(м) в томъ не потачн(а), и обыскива(а) прямо с очей на очн [Там же: 72]; а саженіе и моннста и лѣтчее пла(т)е всегда бы было в сѣндѣке(х) и в коробѣга(х) за замкѣ(м) и за печатн, а клнчи бы держала в малѣ(м) ларцѣ, а всегда бы вѣдала сама (хозяйка) [Там же: 94]; и всякое лѣтчее пи(т)е в опрншенно(м) погрѣбѣ за замкѣ(м), а са(м) бы тамо ходи(а) [Там же: 128]. Оптатив употребляется в случаях, когда распоряжение относится не к непосредственному адресату, а к более далекому субъекту: или оу кого снѣ или вѣрнѣи слѣга, и ѡ(н) бы вездѣ дозрѣвалъ, и всякого бы почти(а), и добры(м) словѣ(м) прнвѣча(а) [Там же: 48], я і слѣгамн бы г(с)днѣ пѣстошнн(х) рѣчен, ни пересмѣшны(х), ни безлѣпнчны(х), ни соро(м)скн(х) ѡнн(а) не говорила. ни торговки, ни бѣ(з)дѣльные жонки, ни бабы, ни волхвы никакѣ(ж) во дворѣ не приходили [Там же: 93]. Соответственно переход от распоряжения в адрес непосредственного исполнителя к пожеланию в адрес третьего лица выражается переходом от настоящего времени, императива или инфинитива к оптативу: а слѣгъ свон(х) заповѣдыван о людех не переговаривати, и гдѣ в люде(х) были, и что видѣли недобро, тво(г) дома не сказывали бы [Там же: 94].

Чаще форма оптатива, в том числе при обращении ко 2-му л., встречается в грамотах, хотя и здесь она многократно уступает по частотности императиву [Борковский 1949: 104–105].

В специальном рассмотрении нуждается вопрос о выражении долженствования при не контролирующей ситуацию субъекте, выступающем в 3-м л., и в безличных предложениях. В церковнославянских текстах в пожеланиях в адрес 3-го л. используется аналитическая форма с частицей да – как по отношению к агентивному субъекту, так и по отношению к неактивным и неодушевленным субъектам: И да возмешн гаже на трѣбнцѣ і ѡ масла помазаннаго да възкрюпнши на ярона і на ризы ко і на сна ко і на ризы снѣ ко і нимъ да освѣтитса самъ і сна ко і ризы кн... И ризы стго гаже сѣть ярону да бѣду(т) снѣ ко по немъ помазатиса імъ в ннхъ і свершннн рцѣ іхъ .ж. днн да са облачитъ в нѣ жрецъ нже в него мѣсто ѡ снѣ ко Книга Исход XXIX 29–30 по рукописи 1400-х гг. (РГБ, ф. 304. I, Тр.-С. № 1, л. 83 об.), вѣтви і кружн ѡ неѣ да бѣдѣтъ пагана ѡ единого злата чнста і да створиши .ж. свѣтнлъ. и възставиши свѣтнла да свѣтѣтъ ѡ единого лнца кнѣ Там же, л. 79 об. Можно предположить, что такое неразличение высказываний с агентивным / неагентивным подлежащим, обладающим / не обладающим контролем над ситуацией, калькирует греческую модель: в греческом языке императив 3-го л. образуется синтетически от любых глаголов, так же, как императив 2-го л.

В «Русской Правде» предписание относительно неодушевленного субъекта никогда не выражается при помощи инфинитивной конструкции – в этих случаях сказуемое стоит в форме настоящего времени: ажѣ в богарехъ. либо въ дружинѣ. то за князѣм заднцѣ

НЕ ИДЕТ; АЧЕ ЖЕ И ШЧНМЪ ПРИМЕТЬ. ДЪТИ И СЪ ЗАДНИЦЕН. ТО ТАКО ЖЕ КСТЬ РАДЪ; А БУДЕТЬ РОБА. ТО
 ·Е· ГРН А ШЕСТАГА НА ПЕРЕКМЪ ШХУДИТЬ [Тихомиров 1953: 66, 68, 71]. Решающим при выборе
 конструкции является отсутствие не агентивности, а контроля над ситуацией. Об этом
 свидетельствуют контексты, в которых речь идет об одушевленном и контролирующем
 ситуацию субъекте, в которых употребляется инфинитивная конструкция, несмотря на
 то, что субъект не является агентивным: ТО ИТЬЦЮ ЛИЦЕ ВЪЗЪТИ. А ПРЪКА КМУ ЖЕЛЪТИ. ЧТО
 С НИМЪ ПОГНЕЛО. А ОНОМУ СВОИХЪ КУНЪ ЖЕЛЪТИ; ВЪДАЯ ЛИ БУДЕТ КУПИТЬ, ТО КУНЪ ЕМУ ЛИХУ
 БЫТИ [Там же: 56; 111]. От субъекта в этих контекстах не требуется активного действия,
 но он обязан сознательно подчиниться закону. В безличном же предложении с отри-
 цанием, т.е. при неконтролируемой ситуации, используется настоящее время: ЯЖЕ КТО
 ПОКЛАЖАН КЛАДЕТЬ И КТО ЛИБО. ТО ТУ ПОСЛУХА НЪСТЬ (в других списках НЪТИТЬ) [Там же: 58].
 В «Митрополичьем правосудии» при неодушевленном субъекте также употребляется
 настоящее время: аще ли кто на кого хвалиться, то его и утягати, то ему есть суд
 [Там же: 128].

В «Псковской судной грамоте» имеются контексты, в которых одушевленный субъект
 не осуществляет контроль над ситуацией и имеет бытийный глагол в качестве пре-
 диката, выраженного формой инфинитива: а ты(м) подверникомъ бы(т) от кнѣзя чѣкѣ а ѿ
 пскова чѣкѣ же 8 об.; а погубѣ быти вдномѣ... а нанмитѣ ѿ жонки не быти 14 об. В безлич-
 ном предложении с отрицанием фиксируется оптатив: а пособенковъ бы не было ни с одной
 стороны 8 об. Инфинитив встретился в двух статьях при неодушевленном субъекте:
 а порѣ(к) [т. е. поруче] бы(т) до рѣблѣ а болши не быти рѣблѣ л. 5; ино томѣ (ж) отрокѣ быти.
 а иномѣ отрокѣ не быти 6 об. – отрокѣ здесь обозначает отказ от договорных отношений,
 сопровождавшийся расчетом. Похожая ситуация наблюдается в более поздних юриди-
 ческих текстах – например, в Судебнике Ивана IV (и на тѣ кабалы отписи безъ бояр-
 ского доклада и безъ дѣячей подписи не быти; ино суду быти тако жѣ на Москвѣ) или
 Уложении 1649 г. (и тѣмѣ мельницамѣ по ихъ челобитю быти) [Борковский 1968: 164]
 и в грамотах, где в некоторых случаях фиксируется инфинитивная конструкция при
 неодушевленном субъекте на фоне общего господства инфинитивных высказываний
 при одушевленном субъекте и редкого употребления оптатива [Борковский 1949: 87].
 Таким образом, в старорусских юридических текстах и грамотах, как и в церковнославянских
 памятниках, нет четкого различия высказываний в адрес агентивного / не-
 агентивного, контролирующего / не контролирующего ситуацию субъекта, с той, одна-
 ко, разницей, что сказуемое здесь имеет форму инфинитива, а в церковнославянских
 текстах – юссива.

Яркой особенностью старорусских технических инструкций, отличающей их от
 церковнославянских текстов, с одной стороны, и старорусских юридических текстов
 и грамот, с другой, является разное оформление указаний, относящихся непосредст-
 венно к читателю, который должен им последовать, и указаний, касающихся статуса
 субъектов, которые не могут непосредственно воспринимать рекомендации пишущего.
 Для обозначения действия, которое должен осуществить агентивный субъект, в пред-
 писаниях старорусских инструкций употребляются настоящее(-будущее) время, импе-
 ратив и инфинитив. При обозначении надлежащего качества и состояния объекта, с
 которым манипулирует адресат инструкции, употребляется либо настоящее(-будущее)
 время (постави ѿ гнон шблѣтне(м). запеча(ѣ) твердо. и стон(т) ѿ не(д)ль 'и пусть стоит
 6 недель' Тр.-С. 408 XV, 330 об.), либо сослагательное наклонение, которое выполняет
 в таких контекстах функцию оптатива: а ма(г)ло бы ся ѿстояло в теплѣ ночи двѣ 'масло
 пусть отстоится в теплом месте' РНБ, Соф. № 1524, XVII в. [Симони 1906: 103]; возми
ртѣти златникъ злата златникъ же и вложи ѿ горшекъ, иного бы ничто не бывало и постави на
угае 'ничего другого (в горшке) быть не должно' РНБ, О. 21, вторая четверть XVII в.
 [Там же: 147]; Я клеи творити пшеница бы была клеивата добра и снрати клеивато (ж) Там
 же [Симони 1906: 151]; и привавъ ганца, безъ лишного, а с потребѣ бы былъ Сийский иконо-
 писный подлинник чернеца Никодима, вторая половина XVII в. [Там же: 210]; возми
свѣже(г) клеи варено(г) ново и до(н)ного а не густѣ бы бы(л) Сборник Ржановского XVII–
 XVIII вв. [Там же: 160]; *И положи масло в сосуд железной чистой и вари в нем летней*

день целой. Был бы жар мал, а дровца березовые сухие тонки Барсовское Сказание, вторая половина XVIII в. [Свод 2: 234]; Возми дождевой воды или снежной и положи клею в нее. И стояло бы 12 дней и болши Там же [Свод 2: 233].

Такая же картина наблюдается в «Домострое»: пла(т)е і верхнее и нижнее, и сапоги, всегда бы было нзмыто... и за замко(м) всегда бы было... всегда бы всякие суды и порядна всякая чиста бы была... а ставци и блюда и ложки и ковши и братины по лавкѣ и по нзбѣ не валамса, гдѣ иустроино быти в чи(с)тв(м) мѣстѣ лежало бы опрокинуто ни(ч) [Забелин 1881: 257–258]. При переходе от агентивного субъекта к неагентивному в «Домострое» инфинитив заменяется на оптатив: і все то исцести, і смѣтити, і запицати, і хто емле(т) и хто даетъ, объма то было бы в вѣдомѣ [Там же: 91]. Лишь однажды инфинитив употреблен в «Домострое» по отношению к неодушевленному субъекту – в рецепте изготовления боярского меда: да наквасити дро(ж)жима, а процедити чисто бе(з) воци(н), а ки(с)нѣти в мѣрника(х) н(а)ла, да ме(а) сцедити з дро(ж)е(н), да положити в ынѣи бо(ч)кѣ бе(з) дрожже(н), да по(а)кормити патоком [Там же: 154].

Предикации, в которых подлежащее, обозначающее объект действия, связано со сказуемым в сослагательном наклонении, а подлежащее, обозначающее субъекта действия, связано со сказуемым в форме императива или инфинитива, в технических инструкциях могут объединяться в сложносочиненные предложения: Инь Үка(з) че(р)нило варить. Улхи было (в) много да коте(а) бо(а)ше(н) налити воды поло(н) МГАМИД № 469/937, вторая половина XVII в. [Симони 1906: 236]; и положи на полати в тепло. И лежало бы сутки, и наутро посмотри Барсовское сказание, вторая половина XVIII в. [Свод 2: 231].

Частица *бы* может входить в состав сложной частицы *чтобы*, более определенно указывающей на оптативное значение, нежели частица *бы*, которая имеет не только желательную, но и условную семантику: Да на то волглое место золото клади. А положи, золото чтоб полежало, да привяло 'а после того как положишь, пусть золото полежит' ГИМ, Муз. 2803, 1660 гг. [Свод 1: 126–127].

При употреблении сослагательного наклонения в оптативном значении в технических инструкциях связка в составном сказуемом часто отсутствует: Возми щецъ кислин. а либо кисль. чтобы велми кнела. и бѣде(т) кисли с ковшн(к) с питен. и ты всыпи квасце(в) с полгорсти Тр.-С. 408, 331; да испытии казыко(м). чтобы не добрѣ сла(а)кы были. сла(а)сть бы волнаа. а бѣде(т) ни мака не слышетн сладости. и ты по(а)карманван ме(а)комъ прѣсны(м) Тр.-С. 408, 384 об., то же в ГИМ, Ув. 59, XVII в. [Там же: 91]; и попарити немного в во(а)не(м) жарѣ что(в) ни гѣсто ни жи(т)ко РНБ, Соф. № 1524, XVII в. [Симони 1906: 97]; кле(н) что кисе(а) жытко(н) не силе(н) бы а мѣлаѣ положити ка(к) попи(с)ка стане(т) Там же [Симони 1906: 100]; да вари что(в) не добрѣ жа(р)ко ка(к) бы ся не загорѣло Там же [Симони 1906: 104]; а сѣхача олнфа дѣлати, и цвѣтна бы добре, ино клеи рыбной РНБ, ОЛДП № XXI (№ 1952), вторая четверть XVII в. [Симони 1906: 153]; а злато(м) пиши не кле(н)ко же а жиде(н)ко (в) и ровно Сборник Ржановского XVII–XVIII вв. [Там же: 161]. Конструкции без связки чаще встречаются в ранних инструкциях и к XIX в. исчезают.

Оптатив без связки встречается и в «Домострое»: а раннѣго питѣа і гаденѣа і поз(а)-него послѣ пѣнѣа ве(ч)рнѣго ѿни(а) не творити (ж), бѣсти бы и пити в славу бѣти і в пш(а)вно время [Забелин 1881: 36], а в како(м) судне что е(с) бѣства и пи(т)е, то бы покрыто чистоты ради [Там же: 106], убережено бы ѿ всякѣа пако(с)тн... і ѿ робл(т) всегда бы замкнѣто [Там же: 127]. Ср. в «Свадебных чинах» – тексте, примыкающем к «Домострою» в списках изданной И.Е. Забелиным редакцией: а на невѣсте бы вѣнецъ лѣтнн(к) желтѣ [Там же: 177].

Бессвязочные конструкции с *бы* восходят к глубокой древности. Они зафиксированы в старославянских памятниках (цѣсарствник... кгоже бы всѣмъ намъ не погрѣшити Супр.), где *бы* является еще не частицей, а формой 3-го л. условного наклонения глагола *быти*, первоначально имевшей вид *би* и уже в старославянскую эпоху смешивавшейся с формой 3-го л. аориста *бы* [Вайан 1952: 282]. В значении условного наклонения эта форма встречается и в древнейших восточнославянских памятниках: аще бы лихъ законъ гречьскни. то не бы баба твоя пригала в Повести временных лет [ПСРЛ I: 108], луче бы имъ

да бѣша добру другу поручилн в «Вопрошани Кирика» [РИБ VI: 51]. Форма **бы** встречается в древнерусских памятниках при выражении пожелания, например, в приписке писца в Прологе XIV в. Син. № 239: **оже бы ми баба жива** [Соболевский 1907: 245]. Чаше она употреблялась в этой функции в составе частицы **абы**, ср. **братѣ, абы ти како не съгрѣшати болѣ** в «Вопрошани Кирика» [РИБ VI: 51] и в древнерусском церковнославянском переводе греческой антологии «Пчелы»: **абы ми капля ума, негли глубина вазни** 'пусть бы у меня [была] капля ума, а не бездна везения!' [Пчела I: 17.20] и «Жития Андрея Юродивого»: **толко абы ми кго видити в тѣрпѣньи мужанца и в доврѣхъ дворѣхъ ходища ѿ г(ѣ)а** [Молдован 2000: 304].

Форма **бы** постепенно перестает восприниматься как личная форма глагола и превращается в частицу с условным и желательным значением. Бесспорные случаи употребления **бы** в качестве частицы относятся к XIV в. [ИГ Глагол: 156]. Старорусская частица **бы**, развившаяся из сослагательного наклонения без связки, актуализует семантику формы древнего условного наклонения, некогда контаминированной с аористом в составе сослагательного наклонения.

Если связка отсутствует, частица **бы** становится единственным показателем оптативного значения. В этом качестве она может употребляться уже не только в составе сказуемого, но и при атрибуте: *Взять потоки мелко белой и чистой, не мешаной бы с мукою, да золото в потоке стертъ* ГИМ, Забел. № 344, первая половина XIX в. [Свод 2: 407]. Функция показателя оптативного значения у частицы **бы** очевидна в некоторых случаях, когда сказуемое не эксплицировано и неясно, какую форму оно могло бы иметь – личной формы или инфинитива: *А как санкирь просохнет, потом раствори первые вохры, яйца бы немного, да помети лица* 'чтобы яйца было немного? взять бы немного яйца?' ГБЛ, ф. 299 (Тихонр.) № 457, вторая четверть XVII в. [Свод 1: 108]. В сочетании с инфинитивом и с предикативами со значением 'нужно, следует' она, в сущности, становится плеонастическим средством, усиливающим семантику долженствования: *ѿ поварѣ(ѣ) бы и ѿ хлѣбнико(ѣ). и вездѣ. всѣко(и) порядни кличникѣ дозирати* [Забелин 1881: 5]; *И вымыватъ водою до пятью и до шестью б* Барсовское Сказание второй половины XVIII в. [Свод 2: 229]; *а тебе бы ево [клей] помешивать в сутки* Там же [Свод 2: 233]; *И как все испишеш, сколько надо б, и тою водкою скрозь воск писмо по железу наплавливати* ГИМ, Ув. 610, первая треть XVII в. [Свод 1: 83].

Точную аналогию характерному для иконописных инструкций употреблению частицы **бы** в оптативном значении при отсутствующей связке находим в записях писцов: *господи помози рабу своему Якову научитися писать, рука бы ему крепка, око бы ему светло, ум бы ему острочен, писати бы ему з...м* (конец не читается) ГИМ, Чуд. 11, начало XV в. [Протасьева 1980: 9].

Использование оптативных форм с **бы** русские книжники, по-видимому, считали несовместимым с церковнославянской нормой. Поэтому в древнейшей технической инструкции по списку Тр.-С. 408, XV в., содержащей много церковнославянизмов, в рекомендациях относительно неодушевленных объектов, с которыми предстоит иметь дело исполнителю, употребляется только юссив с частицей **да**: *поне(ж) лѣпитсѣ по мраморѣ сѣпно(р). да встрѣгѣтсѣ ноже(м). и паки третсѣ. и егда сотретсѣ тако пра(х). да возме(т)сѣ горница нова дно. и простретсѣ треное по (д)ни. и положи(т)сѣ врѣхѣ аглиа горница многа л. 386. В позднейших инструкциях юссив с **да**, явно воспринимавшийся как церковнославянизм, уже никогда не употреблялся. В любом случае в технических инструкциях рекомендация в адрес агентивного и неагентивного субъекта обычно выражается по-разному: императивом и инфинитивом при агентивном субъекте и оптативом при неагентивном (в случае списка Тр.-С. 408, XV в. – юссивом). Разница могла нейтрализоваться, только если автор прибегал к настоящему узуальному. Различие в средствах выражения предписания при агентивном и неагентивном субъекте принадлежит к жанрообразующим элементам инструкции и сохраняется и в современном русском языке: при агентивном субъекте здесь также употребляется 2-е л. повелительного наклонения или инфинитив, а при объекте, которым манипулирует исполнитель инструкции, – описательные выражения (на месте несохранившегося оптатива с **бы**): *Взять 3 яйца,**

стакан муки (...) Замесить тесто. Тесто должно быть гладким, без комков и легко отставать от стенок посуды.

В технических инструкциях противопоставление агентивности / неагентивности субъекта выражается очень четко, потому что совпадает с выбором 2-го и 3-го л. и, соответственно, императива и инфинитива, с одной стороны, и оптатива, с другой. Сложнее обстоит дело в «Домострое», где в 3-м л. может выступать агентивный субъект. Поэтому здесь противопоставление агентивности / неагентивности не совпадает с распределением 2-го и 3-го л. и, соответственно, императива и инфинитива, с одной стороны, и оптатива – с другой: инфинитив в «Домострое» возможен только при агентивном субъекте, как и в инструкциях, но оптатив употребляется не только при неодушевленном, но и при одушевленном агентивном субъекте. Еще шире использовались оптативные формы с *бы* в старорусских деловых памятниках и частной переписке, поскольку служили для «мягкого» выражения пожелания и предписания с ослабленной категоричностью [Борковский 1968: 164–165]. Они заменяли императив и инфинитив в вежливом обращении к адресату во 2-м л.; при этом противопоставление по агентивности / неагентивности, контролируемости / неконтролируемости ситуации нейтрализовалось за счет экспансии оптативных форм. В юридических текстах и грамотах это противопоставление нейтрализовалось противоположным образом, как следствие употребления инфинитива по отношению к неодушевленному субъекту или в безличном предложении. Нейтрализация характерна и для церковнославянских памятников за счет употребления во всех случаях юссива с *да*. Что же касается предписаний церковных иерархов, то они носят гибридный характер, прибегая то к церковнославянской конструкции, то к инфинитиву или оптативу.

Таким образом, из всех изученных текстов в наиболее чистом виде оппозиция по агентивности / неагентивности, контролируемости / неконтролируемости ситуации исполнителем выражена в старорусских технических инструкциях. В менее четком виде она представлена в «Русской Правде», где инфинитив возможен только при одушевленном субъекте, и в «Домострое», где инфинитив употребляется только при агентивном субъекте, хотя в этой ситуации возможен и оптатив, как при неагентивном субъекте. В церковнославянских памятниках эта оппозиция не проявляется. Распределение средств выражения предписаний в средневековых текстах – за вычетом общих для всех памятников императива 2-го л. и узуального настоящего – можно проиллюстрировать при помощи таблицы:

Субъект	Форма сказуемого				
	церк.-слав. тексты	«Русская Правда»	«Псковская судная грамота»	«Домострой»	инструкции
контролирующий ситуацию	да + наст.-буд.	инфинитив	инфинитив	инфинитив, оптатив	инфинитив
не контролирующий ситуацию	да + наст.-буд.		инфинитив	оптатив	оптатив

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Борковский 1949 – В.И. Борковский. Синтаксис древнерусских грамот (простое предложение). Львов, 1949.
- Борковский 1968 – В.И. Борковский. Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Ч. 1. Типы простого предложения. М., 1968.
- Вайан 1952 – А. Вайан. Руководство по старославянскому языку / Пер. с франц. В.В. Бородич; Под ред. и с предисл. В.Н. Сидорова. М., 1952.

- Гусев 2002 – В.Ю. Гусев. Императив и смежные значения // Семиотика и информатика. Вып. 37. М., 2002.
- Добрушина 2001а – Н.Р. Добрушина. Проблема контролируемости побудительной ситуации в типологическом аспекте // Труды Международного семинара «Диалог 2001» по компьютерной лингвистике и ее приложениям. Т. 1. Теоретические проблемы. Аксаково, 2001.
- Добрушина 2001б – Н.Р. Добрушина. К типологии оптатива // Исследования по теории грамматики. Вып. 1. Глагольные категории. М., 2001.
- Живов 2004 – В.М. Живов. Очерки исторической морфологии русского языка XVII–XVIII веков. М., 2004.
- Забелин 1881 – Домострой по списку ОИДР / Предисл. И.Е. Забелина // Чтения ОИДР. 1881. Кн. 2.
- ИГ Глагол – Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
- Кузичева 2004 – А.П. Кузичева. Чеховы: Биография семьи. М., 2004.
- Лесневский 1976 – В.С. Лесневский. О некоторых структурных типах сложноподчиненных предложений в древнерусских текстах // История русского языка. Древнерусский период. Л., 1976.
- Максимович 1998 – К.А. Максимович. Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII века (юридические тексты). М., 1998.
- Максимович 2008 – К.А. Максимович. Заповѣди вѣлтыхъ отьць: Латинский пенитенциал VIII в. в церковнославянском переводе. М., 2008.
- Молдован 1996 – А.М. Молдован. Из синтаксиса древнерусского перевода «Жития Андрея Юродивого» // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А.А. Зализняка. М., 1996.
- Молдован 2000 – А.М. Молдован. «Житие Андрея Юродивого» в славянской письменности. М., 2000.
- Протасьева 1980 – Описание рукописей Чудовского собрания / Сост. Т.Н. Протасьева. Новосибирск, 1980.
- ПСРЛ I – Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1997.
- Пчела – «Пчела»: Древнерусский перевод / Изд. подгот. А.А. Пичхадзе, И.И. Макеева. Т. I. М., 2008.
- РИБ VI – Русская историческая библиотека. Т. VI. Памятники древнерусского канонического права. Ч. 1. 2-е изд. СПб., 1908.
- Свод 1–2 – Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла в списках XV–XIX вв. Т. I. Кн. 1–2 / Сост., вступит. ст. и примеч. Ю.И. Гренберга. СПб., 1995.
- СДЯ XI–XIV, I – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. I. М., 1988.
- Симони 1906 – К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного писца при книжном и иконном строении. Материалы для истории техники книжного дела и иконописи, извлеченные из русских и сербских рукописей и других источников XV–XVII столетий / Собрал и снабдил вводною статьею и объяснит. примеч. П. Симони // Памятники древней письменности и искусства. СПб., 1906. № 161.
- Собинникова 1990 – В.И. Собинникова. Псковская судная грамота – памятник русского литературного языка. Воронеж, 1990.
- Соболевский 1907 – А.И. Соболевский. Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.
- Тихомиров 1953 – М.Н. Тихомиров. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1953. (Репринт. изд.: Slavica-Reprint Nr. 35. Düsseldorf; Vaduz. 1970.)
- Турилов 2004 – А.А. Турилов. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа – древнейшее русское «вопрошание» // Славянский мир между Римом и Константинополем / Славяне и их соседи. Вып. II. М., 2004.
- Успенский 2002 – Б.А. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд. М., 2002.
- Якубинский 1953 – Л.П. Якубинский. История древнерусского языка. М., 1953.
- Bräuer 1957 – H. Bräuer. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Teil 1: Die Final- und abhängigen Heischesätze (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin. Bd. 11). Wiesbaden, 1957.
- Rosenschon 1994 – U. Rosenschon. Sechs Seiten medizinischer Recepte im glagolitischen Psalter 3/N des Sinaiklosters // Byzantinoslavica. 1994. 55/2.

© 2010 г. А.М. БЕЛОВ

ФЕНОМЕН КВАНТИТАТИВНОЙ РИТМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ

Предлагаемая работа имеет своей целью дать критический анализ нескольких современных теорий, так или иначе связанных с латинской или древнегреческой просодией и метрикой и направленных, главным образом, на формализацию проблемы квантитативного ритма. Все рассматриваемые теории (А. Местера, Дж. Парсонса, Н. Фабба и М. Халле) в той или иной степени объединены единым устремлением элиминировать понятие «моры» и вывести ритм квантитативного стиха из чередований другого рода – ударений, пиков интенсивности, доминантных и рецессивных позиций в слове и т. п. Проведенный анализ, однако, показывает, что такой путь едва ли можно признать в достаточной степени обоснованным и хорошо сочетающимся с известными фактами древнегреческого и латинского языков.

ВВЕДЕНИЕ

Классическая поэтическая традиция Европы сохранила до наших дней неколебимое убеждение в том, что ритм древнегреческих и латинских стихов строился на чередовании «долгих» и «кратких» слогов, принципиальным образом противопоставленных не только в стихе, но и в языке: под «краткими» разумелись открытые слоги с кратким гласным (CV), под «долгими» – все остальные: открытые с долгим гласным (CVV) или закрытые с любым (CVC, CVVC); примерно то же самое говорили о своих стихах арабские и индийские грамматики. Эти свидетельства древних долгое время не вызывали серьезных возражений; однако в новейшую эпоху, одновременно с заметным ростом теоретической науки о языке, сама возможность такой организации ритма стала подвергаться сомнению. В течение XIX в. в европейской классической филологии складывается так называемая *акцентно-иктовая теория*, идущая от Готтфрида Германа [Hermann 1816] и завоевавшая особую популярность к рубежу XIX–XX вв. особенно в немецкой, английской и американской науке. Сущность ее заключалась в том, что ритм латинского и (в некоторых вариантах) древнегреческого стиха мыслился как результат чередования ударений, так или иначе увязанных с качеством чередующихся слогов; таким образом, не чередование слогов как таковых, а именно ударных и безударных позиций должно было объяснить устройство классического стиха. Реликты этой системы представлений мы можем наблюдать и сейчас на уроках латинского и греческого языка, когда метрический стих озвучивается в так называемом германском прочтении – с «метрическими» ударениями («иктами») в ритмически сильных позициях. Многие филологи – и у нас и на Западе – искренне полагают, что античные стихи так и звучали.

Последовавшее развитие фонологии как отдельной области лингвистического знания (особенно в варианте Пражской лингвистической школы и конкретно кн. Н.С. Трубецкого) укрепило позиции противников акцентной теории: выяснилось, что стих в нормальном случае представляет собой чередование именно *фонологически значимых* единиц, тогда как во многих языках мира наблюдается как раз фонологическое противопоставление слогов точно по тем же принципам, что в латинском и греческом языках. В недрах пражского структурализма была сформулирована и оригинальная теория моры, согласно которой оппозиция долготы / краткости в этих («моросчитающих»)

языках оказывается не градуальной, а привативной, и строится на противопоставлении «просодически геминантных» слогов тем, которые таковыми не являются; под морой стала пониматься минимальная просодема языка, способная входить в состав такого гемината.

Предложенная пражским структурализмом теория моры вполне недвусмысленно позволяет рассматривать феномен количественного ритма как нечто само собой разумеющееся. С позиций, близких к пражским, было построено значительное число описаний законов для древнегреческой и латинской просодики и метрики [Кузнецов 2006; 2009]. Тем не менее теорию эту приняли далеко не все. Долгие годы главным ее противником в мировой науке был выдающийся кембриджский филолог-компаративист У.С. Аллен (1918–2004), исповедовавший взгляды на природу античного стиха, близкие акцентно-иктовым. Ниже мы увидим, насколько велико оказалось его влияние на современные, в том числе и генеративные, теории.

В настоящий момент проблемой ритмики греко-латинских стихов и количественной ритмики в целом занимаются в основном американцы; за редкими исключениями вроде [Devine, Stephens 1985; 1994] это, главным образом, те ученые, чьи взгляды так или иначе восходят к генеративным. Генеративизм вобрал в себя много из идей предшествующих направлений; как следствие, идея моры, восходящая к Трубецкому и Якобсону, и идеи акцентного ритма в современных теориях могут переплетаться самым причудливым, нередко совершенно иррациональным, образом.

Эта статья имеет целью предложить отечественному читателю критический анализ трех достаточно новых и недостаточно известных в нашей стране теорий количественного ритма, построенных, главным образом, на латинском материале (А. Местера, Дж. Парсонса, а также Н. Фабба в соавторстве с М. Халле). Все эти теории объединяет априорное стремление в той или иной степени отрицать самостоятельность количественного ритма как такового; при этом первые две из них, наряду с работами все того же Аллена, в западном мире уже довольно влиятельны; они служат источником информации о латинской просодике для вполне популярных учебников [Clackson, Horrocks 2007] или типологических исследований, специально посвященных вопросам теории слога [Gordon 2006]. Посмотрим, насколько они убедительны. Однако, прежде чем обращаться непосредственно к ним, нам необходимо – хотя бы кратко – напомнить читателям важнейшие положения У.С. Аллена, без которых не до конца будет понятна история идей его последователей.

1. АКЦЕНТНЫЕ МАТРИЦЫ АЛЛЕНА

Теория акцентных матриц и сопряженная с ней проблема лингвистических стоп уходит своими корнями в работы германистов начала XX века, в первую очередь К. Люика и Э. Зиверса, обнаруживших в различных германских языках явления, позволяющие говорить о том, что в ряде случаев последовательность из двух слогов ведет себя так, как если бы словораздел между ними был невозможен.

К. Люик пытался объяснить сокращение гласных в открытых слогах слов типа *criminal*, *severity* (cf. *crime*, *severe*) тем, что первые два слога в них, хотя и воспринимаются как два слога, однако произносятся как один [Luick 1898: 352]; Э. Зиверс утверждал, что в немецком и английском языках двусложные слова с первым закрытым слогом (*fasse*, *Hammer*) произносятся как односложные, при том что имеют ‘Schallsilbengruppen mit durchlaufender Expiration’ («группы звонких слогов, произносящиеся общим экспираторным движением») [Sievers 1901: 225]. В 1930-е гг. вопрос о «монолитном» произнесении двусложных групп был подвергнут и ряду экспериментальных исследований, некоторые позитивные результаты которых были отражены в работах Н. Элиасона и Р. Дэвиса [Eliason, Davis 1939]. Примерно тогда же вопрос о двусложных группах был рассмотрен и уже на итало-кельтском материале. Сделал это Томас Фитцхью в большой статье, посвященной проблеме ударения в латинских и кельтских пиррихических словах [Fitzhugh 1923]; по некоторым мнениям, именно его следует считать главным предшественником Аллена.

В 1940–50-е гг. к исследованию похожих явлений обратился и Е. Курилович. В своей статье «Latin and German Metre» [1949] (русский перевод в [Курилович 2000]) ученый высказал мысль, что последовательность слогов \acute{X} (т.е. ударного краткого и анкепса) имеет в латинском и общегерманском то свойство, что стихотворный метр запрещает деление этих последовательностей на слоги. Более подробно эта же мысль развивается автором в монографии [Kuryłowicz 1958: 383 sqq.], где утверждается, что это тождество соблюдалось в языке Плавта всегда и делается попытка объяснить из него природу ямбического сокращения¹. Заметим, что речь идет не о моровом тождестве, но о понимаемом в духе старой германистики тождестве, основанном на акцентно-иктовых причинах.

Теория диссиллабического ударения, предложенная У.С. Алленом, представляла собой самую грандиозную попытку развития этих идей Куриловича и Фитцхью и была создана с прицелом на объяснение большой группы просодических явлений в латинском и греческом языках; материал, на котором она строится, – почти исключительно греко-латинский². Насколько можно судить, именно теория Аллена явилась важным импульсом к развитию генеративной метрической фонологии, а его работы до настоящего времени служат *важнейшим* источником информации практически для всех американских генеративистов, занимающихся проблемами античной (и особенно латинской) просодики – зачастую являясь источником многочисленных заблуждений и недопониманий³.

Содержание работ Аллена подробно излагается, обсуждается (и сильно критикуется) в [Devine, Stephens 1985; Зайцев 1994], а также в ряде моих работ [Белов 2008; 2009]. Поскольку сказано об этом уже много, очень не хотелось бы повторяться и пересказывать одни и те же мысли по несколько раз; тем не менее для ясности дальнейшего изложения, нам все же будет необходимо здесь – максимально кратко – обратить внимание читателя на ряд важнейших идей английского ученого.

Теория Аллена, изложенная во множестве его работ [Allen 1964; 1965; 1968; 1973], представляет собой приложение теории слога Р. Стетсона [Stetson 1951; Белов 2009: 52–56] к законам латинской и греческой фонологии⁴. Аллен, в общем признавая фонологичность противопоставления тяжелых и легких слогов, категорически исключает понятие моры из определения слогового веса, тогда как критерий противопоставления он вслед за Стетсоном видит в большей или меньшей напряженности («заторможенности»: *arrest*) слога и его способности нести динамическое ударение: тяжелые слоги суть априорно *arrested* и оттого способны нести ударение, тогда как легкие таковыми свойствами не отличаются.

При этом ключевым положением всего построения оказывается разработанная самим Алленом гипотеза о двусложном ударении в латинском и греческом языках (акцентная матрица). Акцентная матрица – это такая группа слогов, в которой силовое ударение (пик интенсивности) полностью исчерпывает свой динамический диапазон,

¹ Критика этой мысли [Кузнецов 2006].

² Правда с многочисленными, но разрозненными типологическими отсылками.

³ О влиянии идей Аллена в западной общелингвистической науке, говорит, к примеру тот факт, что крупнейшая работа о слоговом весе [Gordon 2006], периодически обращающаяся к латинскому материалу как к банальному примеру, опирается в этом отношении лишь на два источника, из которых первый – это Аллен [1973], а второй – Местер [Mester 1994], который в свою очередь сам обращается к Аллену как к главнейшему авторитету. В своей главной работе Аллен [Allen 1973] охотно ссылается на [Chomsky, Halle 1968], однако многие «метрические» принципы Хомского и Халле были предвосхищены им еще в статье [Allen 1964]. Очень заметно влияние иных положений Аллена и на работы наших соотечественников: Т.М. Николаевой [1993; 1996], а также С.Н. Муравьевой и Д.А. Литвинова (последние могут считаться прямыми продолжателями дела кембриджского лингвиста в нашей стране).

⁴ Точности ради следует напомнить, что и самого Стетсона весьма интересовали проблемы греко-латинского ритма и он, как и Аллен, крайне скептически относился к его квантитативной природе.

т. е. сила голоса может спокойно затухнуть. Предполагается, что в одном слоге она может полностью затухнуть только в том случае, если слог является тяжелым (как в лат. *re.[fēc].tus* или *re.[lā].tus*); поэтому все тяжелые слоги являются потенциальными носителями акцента. Если же тяжелого слога нет, то легкий слог, вынужденно несущий на себе пик интенсивности, объединяется со следующим легким слогом в суперсиллабическое стаккатное единство, объединенное общим «контуром интенсивности» (*re.[fi.ci].ō, p[iu]s*). Из этого следует, что ямбические последовательности с ударением на первом слоге оказываются неустойчивыми и потому подлежат регулярному «изгнанию». Этим Аллен объясняет ямбическое сокращение и ряд подобных явлений. Акцентными матрицами объясняется и почти полное отсутствие в латинском языке ударных слов, состоящих из одного легкого слога: *tū*, но греч. *τύ*; *prō*, но греч. *πρό*. Точно так же объясняется и удлинение гласного в односложных словах (*paris*, но *pār*).

Слово, по Аллену, представляет собой цепочку акцентных матриц. Тем самым имеются сильные и слабые с точки зрения ударения позиции; возможно несколько дополнительных ударений – соответственно различаются первичный и вторичный пики интенсивности. В латинском языке этим объясняется перенос ударения с начала слова на классическую позицию, в обоих языках – стихотворный ритм. При этом для греческого ученый постулировал *non accentual stress* [Allen 1973: 333–334].

Таким образом, может показаться, что теория Аллена удовлетворительно объясняет многие фонологические процессы в латинском и отчасти греческом языке. Однако это не так. Несостоятельность теории Аллена для греческого языка была показана Девайнном и Стефенсом [Devine, Stephence 1985], которые заметили, что ритмический закон Аллена противоречит данным метрической поэзии, в частности мостам в ямбическом триметре, а его *non accentual stress* в сочетании с тональным ударением греческого языка не подтверждается, ко всему прочему, еще и данными типологии. К этому можно добавить и то, что теория Стетсона еще до написания работ Аллена многими была признана ошибочной [Ladefoged et al. 1958; Hoshiko 1960].

А.И. Зайцев справедливо указывал и на ряд непоследовательностей в выделении самих матриц на греческом материале. Так, первичный пик интенсивности в греческом слове должен приходиться, по Аллену, на последний тяжелый слог, а если такового нет, то на предшествующую матрицу. Вторичный же пик падает на следующую матрицу, которая отделена от ударной одним слогом или одной матрицей. Но если слово оказывается стоящим перед паузой, то правила эти начинают применяться не регрессивно, а прогрессивно, причем пик может получить и последний легкий слог, если он не примыкает непосредственно к уже выделенной пиком матрице. «Особенно невероятным является, конечно, последнее правило, ставящее динамический контур слова в двойную зависимость как от динамического контура предшествующего слова, так и от того, следует за рассматриваемым словом еще какое-то другое, или далее следует пауза, и Аллену следовало бы привести какие-то более убедительные параллели в пользу того, что такое вообще возможно, чем удлинение конечных слогов перед энклитикой в эскимосском языке» [Зайцев 1994: 40–41].

Однако самое слабое место теории матриц Аллена не в этом и даже не в том, что двусложное ударение – не как частность, а как общесистемная закономерность – не засвидетельствовано, насколько известно, ни в одном индоевропейском языке (доказательств обратного не было и у самого Аллена). Характерна и общая неясность статуса акцентной матрицы: ведь если матрица есть определяющий фактор для латинского ударения или греческой интенсивности – то, значит, она должна быть некой фонологической единицей и тем самым органично вписываться в структуру латинской или греческой просодии. Тогда и все просодическое слово с неизбежностью должно иметь возможность быть представленным в виде последовательности таких матриц, невозможность чего фактически признает и сам Аллен. Если же расценивать матрицу просто как (случайное) объединение слогов под ударением, то тогда она окажется по отношению к ударению явлением вторичным и тем самым малоинтересным; сама же теория Аллена представится простым переложением школьных правил ударения в непонятные

научнообразные термины. Естественно, что такие «матрицы» никакого экспликативного значения иметь не будут.

Какая же идея объединяет Аллена и очень многих из перечисленных ученых, особенно американских генеративистов? В первую очередь, пожалуй, это *неприятие квантитативного ритма как такового*. Даже те генеративисты, которые признают моры как ритмические единицы (Местер, Парсонс и вслед за ними отчасти Гордон и др.), все равно не могут поверить в то, что само чередование мор (длительностей) способно создавать ритм; это заставляет их строить подчас весьма изощренные правила, привязывающие к морам позиции предполагаемых ими «метрических» (т. е. слово-ритмических) ударений. Разумеется, речь идет не о том, что двумерные слоги действительно более тяготеют быть ударными (*stressed*), нежели одноморные, во всех моросчитающих языках; речь идет о том, что, по мнению ряда теоретиков, невозможен никакой другой ритм, кроме чередования ударений; и хотя субъективные причины этого убеждения понятны – такова природа родного для большинства из них английского языка, теоретическая абсолютизация этой мысли теснейшим образом связана с идеями Аллена. В самом деле: если в квантитативном греческом языке ритм задавался двусложными «акцентными матрицами», подпадавшими под *nonaccentual stress*, то что уже говорить о прочих языках, в которых все еще менее ясно?

2. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ АЛЛЕНА. КВАНТИТАТИВНЫЕ ТРОХЕИ МЕСТЕРА

Вслед за У.С. Алленом – и, как уже говорилось, видимо, не без его влияния, – проблему двусложных групп затронула американская метрическая фонология (*metrical phonology*), главными идеологами которой являются Б. Хейс, Дж. Голдсмит [Hayes 1981; 1984; Goldsmith 1990], а также М. Халле [Halle, Vergnaud 1987; Fabb, Halle 2008]. Метрическая теория предполагает, что ритм создается чередованием *stresses* (ударений, «сильных позиций»), за размещения которых отвечает метрическое (ритмическое) взаимодействие между собой таких единиц, как слова, стопы, слоги, моры и т. д. Каждая единица большей величины может быть представлена в виде чередующейся последовательности меньших единиц, из которых одни являются более доминантными (*prominent*), чем другие.

Центральной единицей в этой ритмической теории как раз и оказываются *стопы*, сочетания доминантных и рецессивных слогов или мор, причем сами стопы также могут быть доминантными или рецессивными в пределах слова; предполагается, что из взаимодействия между всеми единицами [графически отражаемого «деревом» (по Хейсу) или сеткой (*grid*, по Халле)] возможно выявить ту позицию, в которой размещены главное и побочные ударения. Их позиции формулируются в виде иерархии правил (вроде «Ставь ударения на все четные стопы справа налево»). Важнейшим для нас моментом в теории метрической фонологии является то, что она впервые в новейшей науке постулировала мысль о возможности построения стопы не из ударных и безударных слогов (как у германистов более ранней эпохи), а из мор. С другой стороны, во многих вариантах метрической теории стопа оказывается исключительно «структурным» явлением, не обязательно выступающим «на поверхности» как группа слогов.

Развитие идей Аллена в рамках метрической фонологии пошло в двух направлениях: одно из них, связанное с именами Р.А. Местера и Дж. Парсонса [Parsons 1999], скрестило учение об акцентном ритме с учением о морях; в их теории стопы, построенные из мор, отвечают за распределение ритмически значимых ударений. С другой стороны, в учении Н. Фабба и М. Халле латинский и греческий ритм рассматривается как чередование групп доминантных и рецессивных слогов без непосредственного обращения к морам.

Теория Р.А. Местера [Mester 1994], насколько явствует из его весьма обширной статьи, имела главной задачей не описать и разъяснить в подробностях ряд трудных случаев латинской просодики и сформулировать теорию латинских стоп, а скорее

напротив, – используя латинский материал, показать преимущества разрабатываемой им теории морных трохеев над другими ритмическими теориями, принятыми в системе метрической фонологии; при этом сам факт применимости теории трохея к латинскому ритму представляется автору бесспорным.

Что такое трохей с точки зрения метрической фонологии? Под трохеем понимается ритм, стопа которого состоит из двух элементов и первый из них является доминантным; stress тяготеет именно к нему. При таком понимании, речь идет не только о последовательности «двуморный – одноморный», но также и «ударный – безударный» и даже «доминантная мора – рецессивная мора». Поэтому, хотя речь идет о трохее, в том числе и латинском, а фонология называется метрической, терминология эта отнюдь не предполагает, что всякий раз обсуждаются именно метрические стопы в классическом (и привычном нам) смысле слова. Такие стопы будут составлять лишь подмножество в классе всяких двусоставных групп с сильным первым элементом.

Что такое морный трохей по Местеру? Это такой трохей, сильные и слабые позиции которого определяются в терминах мор. Можно было бы подумать, что здесь речь идет уже о трохеях в привычном классической традиции смысле. Однако это не так. И в этом случае трохей понимается максимально широко, так что последовательность \sim оказывается лишь частным случаем наряду с \sim или $-$; в ряде случаев допустимыми оказываются и группы \sim или \sim . Таким образом, Местер, в отличие от Стертеванта, Куриловича или Аллена, явно признает, что в латинском языке были моры.

Далее Местер формулирует мысль о необходимости *строгого двуморного ритмического разбиения* (*strict bimoraic parsing*, с. 4–7) и на материале арабских примеров показывает, что только такое разбиение позволяет правильным образом предсказывать позиции ударения в приведенных арабских словоформах. Последнее, надо сказать, совсем не удивительно, так как арабский язык должен рассматриваться как моросчитающий. Строгое двуморное разбиение означает, что нормальной «стопой» признается последовательность из двух мор (\sim или $-$), причем под трохеичностью понимается (как уже говорилось) то, что доминантной морой оказывается первая. Такая мора может получать первичное или вторичное ударение. Последнее актуально в том случае, если первая мора может быть изолирована, т. е. если речь идет о двусложной группе \sim ; но так как эта группа функционально тождественна группе $-$ (что также совершенно справедливо признается Местером), то обе эти группы трактуются одинаково как трохеические стопы, даже принимая во внимание тот факт, что в последнем случае мы никак не можем говорить о том, что первая мора несет ударение, а вторая – нет.

Избранный Местером подход предполагает, что такое понимание морного трохея может быть много выгоднее, чем подходы его предшественников, если говорить об этом с позиции общей теории ритма. Приложение теории к латинскому материалу, чему посвящена большая часть его работы, играет, однако, существенно более подчиненную роль. Тем не менее предполагается, что упомянутые «двуморные трохеи» должны объяснять законы ямбического и кретического сокращения, ограничения минимального просодического слова, закон Покровского о распределении глаголов типа *audire*, но *capere*, принципы подбора форм для основы перфекта (*dolere* : *dolui*, но *dēlere* : *dēleui*), поведение энклитиков и т. д. При этом можно понять, что ямбическое сокращение оказывается главным прицелом для теории Местера.

Как строятся стопы по Местеру?

1. Последнему слогу латинского слова приписывается некий особый ‘экстраметрический’ (*extrametrical*) статус, что делает его «невидимым» для определяющих ударение правил⁵.

2. Далее оставшаяся часть слова слева направо разбивается на группы по две моры в каждой, причем так, чтобы первая из них оказывалась доминантнее второй.

⁵ Последнее надо признать совершенно правильным.

3. Это постулирует то ограничение, что второй элемент стопы не должен быть больше первого, т. е. стопы вида $\acute{\text{C}}$ – должны избегаться или «исправляться». Возможны две стратегии «исправления»: или удлинение первого слога, или сокращение второго, из чего латинский язык предпочитал последнее.

4. Наконец, возможна ситуация, когда разбиение на стопы оставляет отдельные одноморные слоги лежащими вне стопы (*unfooted*). Она называется *medial trapping* ‘срединная ловушка’: $[\text{faci}]-[\text{li}]-\langle \text{us} \rangle$. Латинский язык, по Местеру, также склонен избегать этой ситуации, подвергая выпавшие слоги различным преобразованиям.

3. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ МЕСТЕРА.

САТУРНОВЫ СТИХИ ПО ПАРНСОНСУ, КЛАКСОНУ И ХОРРОКСУ

С первого взгляда все выглядит весьма правдоподобно. И действительно у теории А. Местера довольно скоро нашлись сторонники и продолжатели: в первую очередь следует назвать американца Дж. Парсонса [Parsons 1999] и англичан Дж. Клаксона и Дж. Хоррокса [Clackson, Hoggocks 2007]. Дж. Парсонс, внося в теорию Местера некоторые в меру радикальные изменения, предложил применить ее для объяснения сразу двух малоизученных явлений латинской просодии – переноса древнелатинского ударения с первого слога на привычную позицию 2/3 слога и, что в высшей степени интересно, к описанию ритма древнего сатурнова стиха. Дж. Клаксон и Дж. Хоррокс, не развивая особенно саму теорию, очень тепло встретили мысли Парсонса о сатурновом стихе и подробно разобрали с предложенных им позиций ряд новых текстов. Свой разбор они включили в новую *Блеквеллскую историю латинского языка* как новое бесспорное достижение в исследовании проблемы сатурновой метрики, а саму теорию Парсонса охарактеризовали как имеющую «относительную простоту и значительную предсказательную силу» [Clackson, Hoggocks 2007: 132].

В чем же отличие принципов Парсонса (а также согласных с ним во всем Клаксона и Хоррокса) от метрической теории Местера? Самое важное отличие заключается, по-видимому в том, что трое последних авторов признают существование *одноморных стоп* и их способность занимать самостоятельную ритмическую позицию в стихе. Другой весьма важной инновацией Парсонса оказывается постулируемое им различие в направлении членения слова на стопы для архаического латинского языка и языка классического времени. Так же следует отметить и тот факт, что Парсонс понимает стопы гораздо более конкретно, нежели Местер и генеративисты: для него они вполне самостоятельные группы, полученные при членении слова и вполне отражающие просодику и ритмику латинского слова.

Так, правила описания классического ударения формулируются следующим образом [Parsons 1999: 120]:

1. Последний слог считать «экстраметрическим».
2. Выделить трохеические стопы, двигаясь *справа налево*.
3. Поставить ударение на доминантный элемент последней (полноценной) стопы.

Заключительный пункт надо понимать так, что, хотя в принципе отдельный одноморный слог может быть признан самостоятельной стопой, такая стопа не достаточно полноценна (*complete*) и нести ударение не может. Потому в слове $[\text{farc}]-[\text{i}]-\langle \text{o} \rangle$ ‘набивать’ ударение не будет стоять на предпоследнем слоге, хотя другие правила этому не противоречат.

С другой стороны, для ударения плавтовской эпохи предлагается следующее (с. 123):

1. Последний слог считать «экстраметрическим».
2. Выделить трохеические стопы, двигаясь *слева направо*.
3. Поставить ударение на доминантный элемент последней стопы.

Для чего требуется такое различие? Оно позволяет утверждать, что в языке Плавта ударения могли занимать иные позиции, нежели в классическое время. Так, лат. *facilius* будет дробиться в стихе ранней комедии как $[\text{fáci}]-[\text{li}]-\langle \text{us} \rangle$, а в классическое время –

как [fa]-[cili]-<us> с соответствующим переносом ударения. Изменение направления, в котором присваиваются стопы с последующим переносом ударения, может показаться излишне надуманным и неоправданным. Но Парсонсу это нужно по совершенно неожиданной причине. Дело в том, что Парсонс считает главным фактором образования ритма в латинском языке чередования ударений, т. е. фактически продолжает *акцентно-иктовую теорию*, традицию близкую английской, немецкой и американской филологической школам. Из одного из ее постулатов следует, что позицию ударения в языке Плавта мы могли бы определить из законов ритма: и действительно, если предполагать, что ритм строится на основе ударений, то для слов типа *fácilius* принятие начального ударения окажется выгоднее, потому что тогда число несовпадений ритмических иктов и словесных акцентов будет заметно ниже. Об ударении в этом слове на первом слоге говорили Ф. Зоммер [Sommer 1914] и Э. Стертевант [Sturtevant 1919: 238]), а Г. Дрекслер посвятил этому вопросу свою известную работу [Drexler 1964]⁶.

Таким образом, ритм латинской речи – и соответственно стиха – Парсонс, так же, как и теоретики начала века, видит в чередовании ударений, за размещение которых, однако, отвечают «морные трохен» Местера. При этом следует добавить, что, хотя термин «stress» в генеративной традиции может пониматься по-разному и далеко не всегда соответствует нашему *ударению* (будь оно словесное или ритмическое), stress у Парсонса – это ударение во вполне традиционном для англо-американской классической филологии понимании; его история излагается примерно так, как и у Аллена [Allen 1969]: первоначальное ударение занимало первый слог слова, но не из-за акцентных матриц, а потому, что начальный слог был всегда сильным элементом первого морного трохея; затем шел процесс перенесения ритмического центра слова назад, на последнюю стопу, что может быть как раз увязано с изменением порядка выделения стоп, о котором мы говорили выше⁷.

И наконец, самое интересное. Описанный перенос ударения, по замыслу Парсонса и солидарных с ним Клаксона и Хоррокса, должен объяснить до сих пор загадочный ритм древнего сатурнова стиха. Загадочность эта, как известно, заключается в том, что на настоящий момент не существует общепризнанной теории того, что же в действительности служит объектом ритмического чередования в этой поэтической форме. Имеются две конкурирующие версии: одна из них, уходящая корнями в идеи Р. Бентли и поддержанная Фр. Лео [Leo 1905], склоняется к мысли о заметной роли икта в ритмическом чередовании, тогда как другая, связанная с именами Л. Аве и А. Мейе [Meillet 1923: 77], более симпатизирует квантитативной природе этого стиха, указывая на его сходства с санскритскими *jagati* и *triṣṭubh*. Новейшим исследованием сатурновой метрики является труд А.Е. Кузнецова [Кузнецов 2009], также указывающий на явное преимущество квантитативного подхода.

Легко понять, что Парсонс предлагает своеобразный синтез обеих теорий: ритм сатурнова стиха мыслится построенным на чередовании ударений, представляя собой «искусственную стилизацию» естественного ритма речи, образуемого сменой стоп, потенциально способных быть ударными; при этом предполагается, что стопы выделяются по норме «плавтовского времени» и что соответственно слова сохраняют следы начального ударения.

Пример разбора стихотворных строк по Парсонсу [Parsons 1999: 125]: угловые скобки выделяют «экстраметрические слоги», квадратные – полноценные «морные трохеи».

⁶ Акцентно-иктовая теория подробно излагается и критикуется в [Зайцев 1994; Кузнецов 2006] и в моей монографии [Белов 2009: 119–133] (с обширной библиографией).

⁷ Справедливости ради следует заметить, что, говоря о сатурновом стихе, Дж. Парсонс [Parsons 1999: 126] замечает, что доминантность левого элемента стопы не обязательно должна пониматься исключительно в терминах ударения («stress»), но может быть рассматривается и как большая длительность и т. д., что, однако, не отменяет связь сатурнова ритма с начальной интенсивностью слова, понимаемой все же как ударение. Видимо, поэтому Клаксон и Хоррокс [Clackson, Hoggocks 2007: 133] открыто приписывают теории Парсонса исключительно stress.

Неполные одноморные стопы (degenerate monomoraic feet) Парсонс не обозначает скобками; знаки долготы автором не проставляются.

ui[rum] mi<hī> / Ca[mē]<na> // [in]se<ce> / [uer][sū]tum (Liv. 1)
[subi]gi [t om]<ne> / [Lou][cā]num // [op]si[dēs]<que> / [ab][douc]<sit>
(CIL 1.7.6)

Там же (с. 125) строится иерархическая модель стиха, представленная так, как это принято в генеративной метрической теории. Стих представляется не в виде сетки (по Халле: см. далее), а в виде дерева по Хейсу: его составными элементами служат (1) 2 колона, (2) 4 диподии, (3) 8 стоп и (4) 16 сильных и слабых позиций стопы, из которых сильные всегда лежат слева. Базовым примером служат элоги Сципиона (CIL 1.7.6); тот же пример находим в [Clackson, Norricks 2007: 137] с более подробным анализом. Впечатление о «значительной предсказательной силе» теории существенно снижается, однако, уже тем, что стихотворная форма допускает полное отсутствие слабых позиций в любой позиции стиха, тогда как «экстраметрический» конечный слог (который по логике должен был бы вообще игнорироваться или, по крайней мере, не получать stress) с завидной регулярностью оказывается в сильной позиции стиха.

Насколько правдоподобна для латинского языка теория Местера – Парсонса и может ли она служить подтверждением тому, что в латинском языке действительно существовали стопы? Мое мнение по этому поводу *категорически отрицательное*. Необходимо сразу сказать, что при всей заманчивости объяснения такого рода, его никоим образом нельзя признать правильным; сама же теория, отличаясь небывалой эклектичностью, оказывается чрезвычайно легко уязвимой. Этому имеется несколько причин.

Прежде всего, читатель этих строк, вероятно, уже понимает, что «трохеические стопы» Местера и тем более Парсонса, хотя бесспорно и отражают некую реальность (что мы обсудим чуть ниже), строго говоря, оказываются и не трохеическими, и не стопами. В самом деле, если рассматривать стопу в контексте иерархии *мора* < слог < ... < фонетическое слово и приписывать ей статус самостоятельной просодемы, то из этого, по-видимому, должно следовать, что стопа в нормальном случае оказывается двусложной. Естественная двусложность стопы отмечается и в других работах [Devine, Stepheuce 1994; McCarthy, Prince 1998].

Теория Местера – Парсонса исходит как раз из обратного: латинское слово, по мнению этих авторов, должно делиться на последовательности двусложных групп, что в очень многих случаях просто невозможно, и сам Местер (с. 18) указывает на то, что имеется множество слов, например, употребительных глагольных форм (*uerēbāminī*), в которых одноморные слоги оказываются вне стопы, но латинский язык с этим прекрасно мирится; кроме того, если мы добавим к этому еще и наши данные [Белов 2009: 68] о том, что латинские двуморные и одноморные слоги распадаются по закону «золотого сечения» так, что двуморные слоги оказываются заметно более частотными, чем одноморные, то ситуация становится просто критической.

В самом деле, тогда мы получаем, что:

1. Большая часть стоп окажется односложными.
2. Одноморные слоги, оказавшиеся между этими «стопами», будут «потерянными».
3. Кроме того, мы знаем, что латинские двуморные слоги всегда силлабичны и представляют собой нечленимые последовательности. Отсюда следует, что в большей части «стоп» не будет проявляться трохеичность, в то время, как в «потерянных» одноморных слогах она не может проявляться по определению.
4. Наконец, если добавить к этому наивное суждение некоторых последователей Местера о том, что «потерянные» одноморные элементы в латинском языке – это тоже стопы, то тогда теория оказывается полностью дискредитированной потому, что одноморная стопа уж точно никак не может быть трохеической.

И здесь следует напомнить, что идея двуморных групп в латинском языке отнюдь не нова. Еще до появления генеративизма и метрической фонологии (даже до появле-

ния просто фонологии) рядом ученых (Бурже и др.) высказывалась идея о возможной склонности латинского языка к четному числу мор. На настоящий момент эта теория может считаться уже отвергнутой. Помимо приведенных выше соображений, заинтересованному читателю может быть рекомендована работа [Откупщиков 2001].

Из сказанного здесь вытекает и следующий любопытный факт: теория Парсонса, опирающаяся на идеи Местера, Стертеванта и Аллена одновременно, представляет собой удивительный синтез *сразу двух* отвергнутых ритмических теорий: акцентно-иктовой теории стиха и теории четности мор латинского слова. Уже это вызывает некоторое сомнение в ее правильности. Дальнейшее покажет, что ее положение еще более шатко.

Кроме того, удивляет и крайне некритичное отношение к теории Парсонса Дж. Клаксона и Дж. Хоррокса. Я уже приводил их мысли о ее «значительной предсказательной силе», но если это и может быть справедливо для теории, объясняющей метрические законы текста с относительно прозрачной ритмической структурой, то это чрезвычайно сложно представить себе для такого текста, как сатурнов стих: надо напомнить, что для многих из памятников, традиционно относимых к сатурновым, мы не можем быть уверены даже в том, представляют ли они собой в действительности стих⁸, не говоря уже о конкретных деталях его просодики. Это не означает, что их нельзя установить; но это требует чрезвычайной осторожности от теоретика. И действительно, хронология распространения сатурнова стиха не сильно расходится с хронологией стиха ранней комедии (III–II вв.), просодика которого достаточно хорошо изучена; а это делает крайне маловероятным распространение на сатурнов метр каких-то принципиально иных просодических правил. Даже если не брать довольно сложную проблему слов типа *fācilius*, можно считать вполне приемлемым, что если одноморных стоп (по крайней мере, в непоследнем слоге) не должно было бы быть в латинском языке никакой из древнейших или позднейших эпох, то очень странным и методологически совершенно неверным было бы надеяться найти их как раз в самых непонятных сатурновых стихах. Но даже если бы это было не так и мои мысли о неправомерности одноморных стоп оказались бы неверны, то слова типа *senex* (членимые по Парсонсу, видимо, как [se]-<nex>) могли бы иметь регулярное разбиение между стопами драматического стиха, тогда как мы знаем, что еще Е. Курилович [Курилович 2000/1948] говорил о том, что членение этих слов на слоги в драматическом стихе чрезвычайно ограничено. Тогда получается, что разбиение слов *ui-<rum>* (из первой строки «Одиссеи» Ливия [Parsons 1999: 125]) и тем более слова [fu]-<it> (из элогии Сципиона), легшего в схеме Парсонса [Clackson, Nock 2007: 137] точно посередине двух сатурновых «стоп», совершенно недопустимо.

Наконец, описываемая теория, особенно в том варианте, которого придерживаются Клаксон и Хоррокс, не выдерживает критики и в самой простейшей аргументации: если в языке действительно имеются метрические правила, строго определяющие место ударения из структуры слога, то это значит, что ударение является вторичным феноменом по сравнению с моровым ритмом и соответственно не может само по себе быть фактором ритмической организации стиха. Латинское ударение «освободилось» от этой метрической зависимости лишь в начале I в. до Р. Х. [Белов 2009: 117]. Соответственно никакие акцентные модели сатурнова метра, если его просодия не опиралась на законы принципиально иной природы, не могут быть приняты [Там же: 110], тогда как утверждение обратного -- т. е. постулирование иной просодической системы специально для неизвестного нам стиха, хотя и может быть допустимым, но в большинстве случаев выглядит не менее сомнительным. Это делает чисто квантитативную теорию А.Е. Кузнецова [Кузнецов 2006; 2009] гораздо более предпочтительной.

Но принятие чисто квантитативного ритма означает полный отказ от акцентно-иктовой теории, до сих пор довольно популярной на Западе (хотя отрицание иктов уже становится нормой для большинства компендиев по метрике). Отказ этот представляется

⁸ И надо сказать, новейшее исследование А.Е. Кузнецова [2009] показало, что многие из памятников на самом деле не являются стихами.

мне достаточно мотивированным и совершенно необходимым [Белов 2009: раздел 2.3]. В частности, в упомянутой работе явно показано на латинском материале, что ритм слогов был первичным по отношению к ритму ударений и потому для акцентно-иктовой теории в нашей системе просто не остается места. Такой отказ, однако, означает и опровержение ряда прежних утверждений, в частности того рода, что данные метрического стиха служат надежным свидетельством позиции латинского ударения в эпоху Плавта. Соответственно нет никаких оснований думать, что и слово *facilius* обязательно произносилось в римской комедии и даже в сатурновом стихе с ударением на первом слоге.

Однако сейчас нас интересует не позиция ударения, а вопрос о том, что такое упомянутые латинские стопы. Теория Местера – Парсонса в свете наших взглядов может быть истолкована только так, что «морные трохеи» не составляли (вопреки мыслям создателей теории и их последователей) никаких реальных просодических структур⁹. Значит ли это, что они не отражают никакой реальности?

Отнюдь нет, только реальность эта совсем не та, что хотел показать Местер. В действительности ученый, проведя весьма кропотливое исследование на довольно обширном материале, со всей ясностью доказал, что латинский язык на самом деле должен пониматься как моросчитающий и что он подчиняется сформулированным нами законам морного счета (= *правилам фонологической кратности* [Белов 2009: 84 и сл.]). Суть этих правил заключается в 1) доказательстве эквивалентности n одноморных слогов одному n -морному как в «парадигматике», так и в «синтагматике»¹⁰ и 2) в доказательстве просодической самостоятельности отдельного одноморного слога. Именно это и имеет место в действительности: двуморная последовательность в латинском языке может быть парадигматически и синтагматически тождественна одному двуморному слогу (это Местер, как и мы, показывает на материале глаголов III-IV спряжения и перфектных форм); одноморный элемент имеет явную просодическую самостоятельность – это доказывается указанием самого Местера на многочисленность исключений из правил построения рассмотренных им стоп. Наконец, потенциальная способность (почти) каждого слога в слове быть независимо ни от чего двуморным или одноморным и экстраметрическим (по типу анкепса) статус последнего слога (а соответственно фонологический статус остальных) показан Местером совершенно отчетливо.

Таким образом, то, что Местер называл стопами, в действительности есть прямое продолжение законов фонологической кратности, и это в значительной степени свидетельствует о расплывчатости в понимании такого важного феномена, как мора, даже в самых современных и популярных генеративных теориях. Но скажем еще раз, существование стопы как самостоятельной просодемы в латинском языке это не доказывает.

4. ТЕОРИЯ ФАББА И ХАЛЛЕ

Последним из рассматриваемых нами новейших теоретических трудов, так или иначе затрагивающих проблемы квантитавной метрики классических языков, будет сочинение Н. Фабба и М. Халле [Fabb, Halle 2008]. Сама эта книга претендует на роль общетеоретического сочинения по фундаментальным основам метрики, действительных для любого языка, и потому греческим и латинским стихам в ней уделено не центральное место. Материал античной поэзии имеет для авторов скорее служебную цель: показать, что разрабатываемая в книге оригинальная теория генеративной метрики вполне может быть применима и к античным стихам. Наконец, справедливости ради следует признать, что теория Фабба и Халле есть теория исключительно *метрическая*, и потому

⁹ За исключением минимального просодического слова, о проблеме которого см. [Белов 2009: 105 и сл.].

¹⁰ «В парадигматике» означает, что в самой системе языка имеются классифицирующие правила, приравнивающие группу из n одноморных слогов к одному n -морному; они могут проявляться и в распределении словоформ по грамматическим классам; «в синтагматике» означает, что описанные группы слогов в тексте могут вести себя (восприниматься) как ритмические эквиваленты.

затрагивающая (в отличие от систем Местера и Парсонса) проблемы фонологии лишь косвенным образом.

Тем не менее у нас, как кажется, все же имеются достаточные основания рассмотреть некоторые идеи Фабба и Халле в этой статье. Во-первых, перед нами фактически новейшая работа, в которой данные греческой и латинской метрики подробно рассматриваются с позиции некой оригинальной теории: в книге Фабба и Халле представлен достаточно большой раздел, касающийся различных древнегреческих метрических схем, сопоставимый с ним раздел о метрике древнеиндийских стихов и небольшое дополнение, излагающее принципиально новый подход к проблеме латинского сатурнова стиха. Во-вторых, исследование просодики (и шире фонологии) древних языков с неизбежностью гораздо более связано с проблемами метрики, чем в языках новых: данные метрики, по удачному выражению А.Е. Кузнецова, при определенном угле зрения, могут быть понимаемы как своего рода транскрипция уже недоступной нам звучащей речи; но точно так же и некий сугубо метрический анализ античных стихов должен в немалой степени отражать и систему представлений о латинской и греческой просодике его авторов. Наконец, (античную) метрику и теорию фонологии, как мы видели, объединяет центральная проблема моры, затронутая и в рассматриваемой работе. Поскольку подробная рецензия на сочинение Фабба и Халле уже публиковалась [Корчагин 2010], здесь мы ограничимся лишь самым кратким обзором их теории и затем перейдем к рассмотрению интересующих нас проблем.

Теория Фабба и Халле строится в генеративной традиции, продолжая лучшие традиции метрической фонологии. Но на этот раз вместо описания ритмических законов человеческих языков авторы предпринимают не менее смелую попытку создать общую теорию метрического стиха в целом, причем термин «метрический» понимается в широком смысле слова – не только как квантитативный стих греко-римского образца, но как любой стих, строки которого имеют внутреннюю ритмическую упорядоченность, выраженную в повторении относительно строго заданных групп слогов, т. е. фактически стоп, хотя авторы всячески стараются избегать этого, по их мнению, сильно нестрогого термина, сопровождаемого к тому же целой серией излишних и не относящихся к делу ассоциаций.

Ритмические группы выделяются Фаббом и Халле посредством такой важной для метрической фонологии (в варианте М. Халле) категории, как ритмическая схема (*сетка*, *gridline*). Каждый слог стихотворной строки, релевантный для построения ритма, дает абстрактную «проекцию», изображаемую авторами как подстрочная звездочка (с. 4); таким образом, всякая строка оказывается на абстрактном уровне цепочкой звездочек. Помимо звездочек бывают еще и скобки – открывающаяся и закрывающаяся: по мысли авторов, скобки отражают деление звездочек на группы и расставляются специальным итеративным правилом, которое уже может меняться от текста к тексту.

Правило формулируется примерно таким образом: 1) начинаем с левого края и, 2) двигаясь до конца строки, 3) ставим после каждой второй звездочки открывающуюся скобку. В результате мы получаем нечто наподобие $(**(**(**(**$. Это то же самое, что разбить цепочку из 8 слогов на группы так, чтобы доминантой каждой группы оказался первый слог.

Особый интерес представляет то, что порядок применения правил, как уже говорилось, должен быть итеративным: это означает, что при следующем цикле «обработки» доминанта каждой группы также дает проекцию, изображаемую звездочкой, которая будет лежать уже одним иерархическим уровнем выше. И так до тех пор, пока все имеющиеся звездочки не будут объединены до одной последней: на уровне абстрактной схемы это и дает «сетку», состоящую из известного числа линий (*gridlines*), а на уровне поэтики мы будем иметь последовательно возрастающее колометрическое членение текста – например, стопа > диподия > колон > стих. Ценность применения ритмической сетки, по мнению авторов, заключается в том, что она должна была бы объяснить явную зависимость числа строк от длины строки; но при этом скорее именно метрическая «сетка», а не стихотворная строка мыслится исходным пунктом построения текста.

Так, если изначально определены правила, согласно которым все звездочки были сгруппированы за четыре «цикла обработки», и требуется, чтобы число звездочек в группе не превышало двух (т. е. мы имеем дело с ямбом или трохеем), то максимальная длина такой строки автоматически получается равной восьми слогам ($8 = 2 \times 2 \times 2 \times 1 = 2^3$, где 3 – это число операций, для каждой из которых мы имеем больше одной звездочки). Для группы из трех элементов максимальной длиной окажется 12 ($= 3 \times 2 \times 2 \times 1$)¹¹. Строки, имеющие иное число элементов (например, 10), естественно, тоже сводимы к одному, но число операций потребуется иное; так, греческий гексаметрический стих обрабатывается за 5 циклов (с. 174–175). Этим объясняется, в частности, правило цезуры, вытекающее из явной двучленности гексаметрического стиха, которая сохраняется после четвертого цикла обработки. Позиция последней звездочки, оставшейся после прохождения всех циклов, есть позиция *вершины (доминанты) стиха (head of the verse)*: она оказывается наиболее сильно выделенной метрическими правилами и играет немаловажную роль в различных поэтических традициях. К примеру, в гексаметрическом стихе ею оказывается (по Фаббу и Халле) как раз позиция перед цезурой.

«Поэт отбирает правильно сформированные последовательности слогов и отвергает неправильные» [Fabb, Halle 2008: 9]. Это ко всему прочему предполагает и то, чтобы доминантой каждой группы оказывался слог, имеющий определенное доминантное положение в языке: ударный, тяжелый, долгий и т. п. При этом все перечисленные признаки должны были бы мыслиться (и это было бы правильно!) как неотъемлемые свойства слога, определенные уже в самой системе языка: к примеру, ударный слог – это не тот, на который что-то падает, но тот, который имеет некий значимый (с точки зрения языковой системы) признак «проминентности» (ср. с. 8). Но здесь мы увидим, что мысль Фабба и Халле оказывается несколько изощреннее, и хотя этот вопрос подробно в книге не обсуждается, они (насколько можно понять по этой и некоторым другим работам) предлагают видеть за ритмическими законами как стиха, так и языка проявление некой одной автономной ритмической системы, не тождественной, однако, ни одному из них. К примеру, утверждается (с. 8), что за различную степень выделенности (в терминах «stress») слогов в языке отвечают метрические схемы несколько подобные стихотворным¹².

В принципе подобная картина, рассмотренная в первом приближении, не вызывает сразу резких возражений и, казалось бы, вполне имеет право на жизнь. Силлабо-тоническая поэзия, скажем, английская, хотя и не без греха, с некоторым скрипом ложится в отведенные Фаббом и Халле прокрустовы рамки. Но когда речь заходит об анализе квантитативных текстов (мы рассмотрим здесь лишь классические и санскритские), то на поверхность всплывают сразу многочисленные странности и методологические несовершенства.

Важнейшей проблемой при таком анализе (что и не удивительно) окажется проблема моры. В самом деле, если говорить о том, что доминантой тактовой группы (или стопы) должен оказываться тот слог, который изначально как-то выделен в самой системе языка, то половина проблемы этим уже снимается. Можно, например, полагать, что каждый слог древнегреческого слова является или двойным или одинарным и это свойство у него (за особыми случаями) относительно постоянно во всяком тексте, на этом языке написанном¹³. В этом случае для получения относительно правдоподобной

¹¹ Важно отметить, что исконно тернарные группы в дальнейшем все равно трактуются бинарно – т. е. различие между дактилем и трохеем заметно лишь на самом поверхностном уровне, тогда как в следующих циклах оба типа размеров обрабатываются одинаково.

¹² См. также предшествующие работы [Prince 1983; Idsardi 1992].

¹³ Такая картина предлагается во многих современных работах по метрике и просодической теории, например [West 1982; Кузнецов 2006; Белов 2009]. В последней работе, в частности, показано, что постоянство фонологического признака «двусоставность» имеет и отражение в статистике встречаемости двуморных и одноморных слогов в текстах. Так, в древнегреческом языке (практически вне зависимости от жанра или типа текста) эти слоги соотносятся почти как 1:1, тогда как в латинском языке это отношение приближается к 1,6 : 1 в пользу двуморных (пропорция золотого сечения).

картины достаточно признать, что исконно выделенными слогами оказываются двуморные. Но если за выделением слога в языке мы хотим видеть проявление некой автономной системы, то нам придется нелегко.

В самом деле: в английском слове это выделение характеризуется тем, что мы называем ударением (*stress*); помимо главного ударения есть и второстепенные, ритмическое проявление которых общеизвестно. Более того, и главное ударение, и второстепенные до некоторой степени мобильны и способны менять свою позицию в зависимости от синтагматического окружения: ср. *an únknown árticle vs. a quite unknówn reviéw*. Если за последними случаями попытаться усмотреть некий общий закон (например, сохранение ямбического ритма), то, возможно, возникнет соблазн считать, что доминантные позиции в слове любого языка (или очень многих) вообще могут быть связаны с общечеловеческим ритмическим законом. Но в древнегреческом и латинском языках эти позиции определялись совсем не тем, что мы называем ударением, но тем, что античные грамматиканы называли «долгими» и «краткими» слогами. А может быть они ошибались и принимали за (фонологически значимую) «долготу слога» то, что в действительности было скорее ударением? Из этого постулата исходил Аллен, на нем же строится и ряд попыток описания древнегреческого и латинского ритма и ударения, сделанных в рамках метрической фонологии [Steriade 1988; Mester 1994].

Это, однако, не означает, что авторы полностью игнорируют идею моры. Совершенно напротив, идея эта вполне представлена у них, но проводится в жизнь совершенно причудливым образом. Так, в разделе о санскритской метрике [Fabb, Halle 2008: 232 sqq.] утверждается, что все санскритские стихи делятся на две группы: силлабические и морные; последние отличаются той особенностью, что ритмическая последовательность имеет четко заданное число мор, тогда как их распределение по слогам может быть сильно произвольным: «We might reanalyze them as loose meters in which only syllables project and there is no notion of mora. This approach is similar to that taken for Greek dactylic hexameter. While such an approach is possible here, it does not seem the best match for the data». И действительно, анализируя такие размеры, как *āryā*, авторы строят дополнительную («минус первую») линию сетки, на которую «проецируются» моры. Но сказанное выше, по-видимому, надо понимать так, что дактилический гексаметр следует рассматривать не как морный размер, а как (нестрогий) слоговой. В противном случае будет непонятно, почему Фабб и Халле даже не попытались увидеть в гексаметре моросчитающий ритм.

Посмотрим бегло на их разбор греческого гексаметра [Fabb, Halle 2008: 169 sqq.].

πλάγχη	ἐπεὶ	Τροίης //	ἱερόν	πτολίεθρον	ἔπερσε	
* *	* *	* *	** *	* * * *	* * *	
) * ο	*) (*	*) *	ο *) (*	ο *) (* ο	*) (* ο	(0)
(*	*	(*	*	(*	*((1)
*)		*		*)		(2)
)*		*)				(3)
		*)				(4)

(1) Каждый слог, составляющий гексаметрическую строку, «проецирует» одну звездочку на нулевую строку. Далее включается впечатляющее своей изощренностью правило расстановки скобок (2): «На строке 0 ставим левую скобку справа от звездочки, проецируемой легким слогом, если этот легкий слог стоит справа от легкого слога, т. е. после группы из двух легких слогов». (Здесь надо сразу отметить полную неудовлетворительность такой формулировки, потому что, имея перед собой одну лишь последовательность звездочек, я никаким образом не могу знать, каким слогом – тяжелым или легким – они «спроецированы»; соответственно: правила, работающие на уровне звездочек, должны формулироваться в терминах звездочек.) Далее (3) включается третье правило: «Стереть со строки 0 звездочку, которая “проецируется” первым из двух

подряд идущих легких слогов» (на схеме отмечено символом «o»). После этой операции схема (изрезанного) гексаметра начинает походить на трохеический сенарий. Но и это еще не все (4): «начав с левого края, ставим правую скобку после бинарной группы, оставляя доминантой группы левую позицию; при этом: последняя (самая правая группа) должна быть неполной, а не объединенные в группы звездочки не допускаются». Наконец (5), «Слог, проецируемый на строку 1 должен быть тяжелым». Казалось бы, этого достаточно; но нет: если не выдвинуть еще одного условия, может получиться так, что за гексаметр будет действительно принят трохеический сенарий, – поэтому необходимо оговорить, что легкие слоги могут встречаться только группами. Вот как это делается (6): «На строке 0 звездочка, “проецируемая” легким слогом, должна иметь справа от себя правую скобку, за которой в свою очередь должна стоять левая скобка».

После долгих мучений мы имеем, наконец, строку 0, правильно разбитую на трохеические псевдостопы, и строку 1, на которую каким-то образом «спроецированы» звездочки тяжелых слогов из строки 0. Теперь (7): «На строке 1», начиная сразу слева, ставим левую скобку и формируем бинарные группы с левой доминантой. (8) На строке 2, начиная сразу справа, ставим правую скобку и формируем бинарные группы с левой доминантой; последняя (самая левая) группа должна быть неполной. (9) На строке 3, начиная сразу справа, ставим правую скобку и формируем бинарные группы с правой доминантой. (10) Вершина стиха должна непосредственно сопровождаться словоразделом (цезурой). При этом для учета семиполовинной цезуры требуется еще одно специальное правило (11): Стереть на строке 1 звездочку под вершиной стиха. Это нужно для того, чтобы переместить обязательный словораздел правее и таким образом не разрезать слово на части.

В результате мы имеем одну звездочку на строке 4, лежащую точно перед цезурой, и две звездочки на строке 3, которые обе оказываются в левом полустишии; правое полустишие имеет одну звездочку (вершину) только на строке 2. Последнее, однако, авторов совершенно не заботит, и они считают проведенный разбор (а точнее, построенную ритмическую схему) вполне удовлетворительным результатом.

Путь, которым пошли Фабб и Халле, конечно, нельзя назвать легким. Но отдавая должное их дерзновенному помыслу описать при помощи звездочек все существующие стихотворные возможные размеры, ни коим образом не могу согласиться с их оптимизмом по поводу удовлетворительности полученных результатов.

В первую очередь, совершенно непонятно, почему авторы (безусловно, знакомые с традиционным анализом греческого стиха) даже не попытались рассмотреть гексаметр как моросчитающий размер. На с. 168 утверждается, что длина гомеровского гексаметра от 13 до 17 слогов. Но это неверно. Гомеровский стих минимально имеет 12 слогов, и у нас есть образцы стихов (например, Od. XV, 334), состоящих из одних только спондеев. Уже это могло бы навести авторов на ряд позитивных мыслей. С другой стороны, последний слог стиха – это анкепс, чье особое положение объясняется позицией перед важнейшим для организации ритма стиха словоразделом. Если условно принять количество последнего слога за 2 моры, то станет ясно, что длина нормального гексаметра – ровно 24 моры, которые в принципе могут быть сосредоточены в 12 слогах. Легко показать, что «проекция» каждой моры на строку 0 могла бы существенно упростить выделение ритмических групп и не пришлось бы применять чрезвычайно странных по своей природе правил удаления «лишних» элементов строки.

Что значит удаление элементов? Если понимать стих только как ряд звездочек, то, может быть, и правда ничего особенного. Но если отвлечься от абстрактной схемы, то картина усложнится. Речь будет идти уже об удалении из ритмической схемы слога. Но эти правила Фабба и Халле равноценны категорическому утверждению, что гексаметр на самом деле есть хорей: так фактически и утверждается авторами на с. 169: «The dactylic hexameter is therefore in effect a loose trochaic meter». Защитники наших авторов могли бы здесь возразить, что речь идет о *метрической*, а не *ритмической* схеме и соответственно правила Фабба и Халле нацелены всего лишь на то, чтобы представить схему конкретной строки как вариацию того или иного метра без какого-либо

внимания к его просодике и ритмике. Но в том-то все и дело, что одна и та же последовательность (метрически) сильных и слабых слогов способна давать принципиально разные ритмические эффекты, порой сводимые друг к другу, а порой нет, – причем иной раз настолько, что можно усомниться и в том, действительно ли мы имеем дело с одной и той же метрической последовательностью.

Так, в новоевропейской силлабо-тонике, видящей различие между сильными и слабыми слогами в привативной оппозиции «ударности / безударности», дактилический метр, возможно, и допустимо (хотя тоже не безусловно) рассматривать как вариант трохея. Но стоит только нам взглянуть на те же схемы с позиции действовавшего в древнегреческом и латинском языке противопоставления «двусоставности / односоставности» слога, то различие будет гораздо серьезнее: греческий и латинский гексаметр четырехдолен всегда, тогда как ритм трохея (преимущественно) трехдолен. Эти соображения, надо полагать, оставляют крайне сомнительной попытку выведения *греческого* гексаметра из трохея (скорее уж наоборот); не делали этого и теоретики прошлых эпох. Читатель, вероятно, понимает, что принятие или неприятие метрической теории Фабба и Халле в целом во многом зависит от решения фундаментального вопроса о том, что такое стих: это текст, подчиненный определенному ритму или определенному метру? И вообще: что первичней – ритм или метр? Не пытаюсь решить эту сложную проблему здесь, скажем только, что решение этого вопроса в пользу ритма (во многом более «интуитивной» категории, нежели метр) будет серьезным препятствием к тому, чтобы признать существование общих для всех культур сугубо метрических законов.

Генеративизм (в традиционном понимании) всегда отличался вполне разумным стремлением описать большое многообразие языковых явлений в терминах набора простых правил. Ценой этого часто бывало упрощение и даже искажение предмета описания. Но если такое искажение действительности является результатом приложения большого набора весьма сложных операций (так, для тривиального разбора гексаметра требуется 11, как видно, весьма изощренных команд, действующих как справа, так и слева), то целесообразность происходящего вызывает серьезные сомнения. Наконец, стоило бы отметить и то, что и генеративная модель, приложенная к материалу стиха, выглядит у Фабба и Халле превратно: мы все привыкли видеть в генеративизме теорию *развертывания*, но у Фабба и Халле наблюдается лишь *членение*; но то, что это явно не одно и то же, видно уже из тех правил удаления звездочек, которые еще мыслимы при *анализе*, но совершенно невозможны при *синтезе*.

Если строгий морный характер гексаметра был для большинства теоретиков данностью, то квантитативность эолийских размеров вызвала сомнения уже у Мейе [Meillet 1923], предлагавшего видеть в последних реликты индоевропейского слогового стиха. Фабб и Халле идут дальше [Fabb, Halle 2008: 178 sqq.] и применяют свой бинарно-прокрустовый метод к гликонию, ферекратию и другим эолийским колонам. Но дело здесь в том, что вся античная традиция самым принципиальным образом противопоставляла стихи, основанные на чередовании *метров* внутри строки (они назывались *κατὰ μέτρων*), и стихи без такового (*οὐ κατὰ μέτρων*): последние представляли собой соединение уже готовых колонов, имеющих порой весьма изощренное строение. Разбор эолийской мелики, проведенный Фаббом и Халле, полностью игнорирует это фундаментальное разделение, фактически навязывая мелическим колонам метрическую структуру; но самое печальное здесь даже не в том, что понимание эолийской колометрии у авторов недостаточно, а то, что оно Фабба и Халле не особенно и беспокоит: они как будто просто не могут поверить, что (в поэзии) возможен какой-то принципиально другой ритмический строй, чем тот, который навязывается им избранным методом.

Еще раз отмечу, что мое несогласие вызывают не неточности, допущенные авторами в разборе античной метрики, а серьезное несоответствие предлагаемой теории и известными мне принципами организации античного метрического стиха. Но следует сказать, что в их разборах имеются и неточности, которые при ближайшем рассмотрении оказываются достаточно грубыми ошибками. Вот лишь несколько из них.

На с. 176 дается метрическая схема знаменитого спартанского марша, классифицируемого как анапест. Последняя из приведенных строк (οὐ γὰρ πατριὸν τῆ Σπάρτῃ) классифицируется авторами как последовательность из семи тяжелых слогов (_ _ _ _ _). Но, во-первых, слогов в этой строке как минимум восемь, а во-вторых, слово πατριὸν, как кажется, следовало бы трактовать как полноценный анапест с двумя легкими первыми слогами. В этом случае вторая хора стиха будет в точности соответствовать схеме на приведенной той же с. 176 абзацем выше. Но тогда это означает, что неточность схемы не может быть объяснена опечаткой – пропуском одного легкого слога (ибо таковых на самом деле два): видимо, авторы просто неверно поделили стих на слоги. Есть ошибки и в других метрических разборах.

Чрезвычайно странно выглядят и правила Фабба и Халле, обрабатывающие многие эолийские колонны: гликоний (с. 180), гиппонактий, ферекратий (с. 182): почему-то авторам кажется, что слоги, создающие так называемую эолийскую базу, не должны в большинстве случаев «проецироваться» на строку 0 и, соответственно, подлежат удалению из метрической схемы. Авторы не приводят никаких внятных аргументов этому, кроме того, что эти слоги «uncontrolled in their weight, while all the other syllables are fixed either as heavy or as light» [Fabb, Halle 2008: 180]. По Фаббу и Халле, лучший способ навести порядок в стихе – исключить их из метра. К слову сказать, эолийская база – одна из наиболее колоритных особенностей эолийского стиха, поэтому желание авторов видеть в ней простое недоразумение едва ли следует считать правильным.

Но особенно впечатляет в книге Фабба и Халле разбор латинского сатурнова стиха, помещенный почему-то в раздел о южнороманской (!) поэзии [Fabb, Halle 2008: 130 sqq.]. Видимо, предвосхищая наше недоумение, авторы указывают на очевидное для них сходство сатурновой метрики с романскими *cantigas* и *arte mayor*, добавляя при этом для ясности, что непосредственное влияние сатурновой метрики на испанскую сильно сомнительно («highly unlikely» (!)). Но у них есть основания предполагать и независимое возникновение этих систем, обязанное, однако, открытым ими общечеловеческим поэтическим законам.

Суть анализа очень проста: сначала «проецируются» все слоги сатурнова стиха за исключением элидированных, а потом на строку (1) идут уже проекции ударных (!) слогов текста, причем место ударения определяется на основе известных классических правил. Сатурнов стих, по мнению всех трех перечисленных ученых, – это всего лишь нестрогий силлабо-тонический стих, обрабатываемый так же, как и другие стихи подобного рода.

Что можно сказать о глубине такого анализа? Кажется, что Фабб и Халле, даже не подозревая, до какой степени дилетантским оказывается их решение. Уже со времени поздней античности размер сатурновых стихов казался загадочным, античные грамматики (весьма ясно представлявшие себе, какими бывают стихи и куда в их языке ставится ударение) нередко не могли отличить его от прозы, а проникнутые гиперкритизмом XIX в. ученые спорили о том, квантитативный он или тонический, но никому из великих и в голову не приходило, что ответ на этот вопрос настолько тривиален. Оказывается надо просто читать сатурнов стих как и всякий другой текст, и из ударений сами собой получатся стихи! Пусть нестрогие, пусть хромые, – но это стихи, точно подчиняющиеся Вселенскому Закону о звездочках и скобочках! Авторов как будто не смущает, что для столь раннего времени (III–II в. до Р. Х.) не известно ни одного явного примера латинского акцентного стиха, что акцентный ритм не использовался в литературном языке до самых поздних времен, да и тогда не выдержал конкуренции чистой силлабики (ср. стихи Пруденция). Наконец, чтение сатурнова стиха таким образом невозможно и по тем же причинам, что и теория Парсонса: в столь раннюю эпоху латинское ударение на втором / третьем слоге от конца было совершенно вторичным явлением, однозначно определявшимся из структуры конечных слогов слова. Поэтому, если принимать последнее, то сатурнов метр должен трактоваться как квантитативный и ему точно нет места среди *arte mayor* (так как в испанском языке нет мор); если же ударение на вто-

ром / третьем слоге ставилось априорно, то это требует переписывания всей латинской исторической фонологии, с чем едва ли просто так согласятся специалисты.

Таким образом, речь идет не об отдельных ошибках Фабба и Халле в разборе отдельных латинских и греческих стихов. Речь идет, скорее, о неадекватном отношении авторов к реальности, восстанавливаемой из тысяч самых разных источников. Зададимся вопросом: а в чем собственно объяснительная сила описываемой теории? В том, что последовательность звездочек можно универсально почленить скобками? В том, что всякую последовательность всяких слогов в стихе можно поделить на «двойки» и «тройки»? Но в этом как раз нет ничего удивительного. Авторы говорят о том, что все стихи таковы, потому что «the nature of metrical poetry arises from our being human» (с. 214), но то же самое говорил и Аристотель, рассуждая об общечеловеческих – в самом разном смысле – свойствах ритма (например, *Probl.* 882b). Может быть, в том, что на абстрактном уровне всякая метрическая схема есть чередование сильных и слабых долей, тогда как в реальных текстах за ними скрываются самые разнообразные явления? Но и здесь авторы уже не пионеры; более того, эта мысль – без всякой претензии на открытие – уже стала достоянием даже школьных учебников [Белов 2007: 282].

Впрочем, общая критика предложенной нашими авторами теории стиха есть удел стиховедов. Мы же подытожим вывод по интересующей нас теме. Теория Фабба и Халле (в силу описанных обстоятельств) не опровергает существования квантитативного ритма в классическом стихе; совершенно напротив – факт его существования опровергает теорию Фабба и Халле.

5. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Итак, мы рассмотрели несколько сравнительно новых теорий латинской и греческой ритмики. Все они сходны тем, что стремятся или полностью отказаться от идеи квантитативного ритма как такового, или подчинить его каким-то другим, более очевидным на вид явлениям, таким, как ударения или пики интенсивности. Однако мы видим, что эти попытки большого успеха не имеют: либо теория оказывается повязанной цепью внутренних противоречий, либо выгода, предоставляемая ею, оказывается сомнительной, либо и то и другое. Это позволяет умозаключить, что построение теории, в которой квантитативное чередование имеет центральное, а не подчиненное положение, выглядит намного более перспективным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Белов 2007 - *А.М. Белов. Ars Grammatica. Книга о латинском языке. 2-е изд. М., 2007.*
Белов 2008 - *А.М. Белов. Вопрос о морях (оппозиция арифметической кратности в греческом и латинском языках) // Discipuli magistro (к 80-летию Н.А. Федорова). М., 2008.*
Белов 2009 - *А.М. Белов. Латинское ударение (проблемы реконструкции). М., 2009.*
Зайцев 1994 - *А.И. Зайцев. Формирование древнегреческого гексаметра. СПб., 1994.*
Корчагин 2010 - *К.М. Корчагин. [рец. на:] N. Fabb, M. Halle. Meter in poetry. A new theory // ВЯ. 2010. № 1.*
Кузнецов 2006 - *А.Е. Кузнецов. Ars brevis. Латинская метрика. Тула, 2006.*
Кузнецов 2009 - *А.Е. Кузнецов. Сатурнов стих как метрическая форма ранней латинской поэзии: Дис. ... докт. филол. наук. М., 2009.*
Курилович 2000 - *Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 2000.*
Курилович 2000/1948 - *Е. Курилович. Вопросы теории слога // Е. Курилович. Очерки по лингвистике. М., 2000.*
Николаева 1993 - *Т.М. Николаева. Просодическая схема слова и ударение: ударение как факт фонологизации // ВЯ. 1993. № 2.*
Николаева 1996 - *Т.М. Николаева. Просодия Балкан. М., 1996.*
Откупщиков 2001 - *Ю.В. Откупщиков. О склонности латинского языка к четному числу мор // Opera philologica minora. СПб., 2001.*
Allen 1964 - *W.S. Allen. On quantity and quantitative verse // In honour of Daniel Johnes. London, 1964.*

- Allen 1965 – *W.S. Allen*. *Vox Latina*. A guide to the pronunciation of classical Latin. Cambridge, 1965.
- Allen 1968 – *W.S. Allen*. *Vox Graeca*. A guide to the pronunciation of classical Greek. Cambridge, 1968.
- Allen 1969 – *W.S. Allen*. The Latin accent: a restatement // *Journal of linguistics*. 1969. № 5.
- Allen 1973 – *W.S. Allen*. *Accent and rhythm*. Cambridge, 1973.
- Chomsky, Halle 1968 – *N. Chomsky, M. Halle*. *The sound pattern of English*. New York, 1968.
- Clackson, Horrocks 2007 – *J. Clackson, G. Horrocks*. *The Blackwell history of the Latin language*. Oxford, 2007.
- Devine, Stephece 1985 – *A.M. Devine, L.D. Stephece*. Stress in Greek? // *Transactions of the American philological association*. 1985. № 115.
- Devine, Stephece 1994 – *A.M. Devine, L.D. Stephece*. *The prosody of Greek speech*. Oxford, 1994.
- Drexler 1964 – *H. Drexler*. Prokleusmatische Wörter bei Plautus und Terenz // *Bollettino del Comitato per la preparazione della edizione nazionale dei classici greci e latini*. Fasc XII. 1964.
- Eliason, Davies 1939 – *N.E. Eliason, R.C. Davis*. The effect of stress upon quantity in dissyllables: An experimental and historical study // *Indiana University. Science Ser. V*. № 8. 1939.
- Fabb, Halle 2008 – *N. Fabb, M. Halle*. *Meter in poetry. A new theory*. Cambridge, 2008.
- Fitzhugh 1923 – *T. Fitzhugh*. The pyrrhic accent and rhythm of Latin and Keltic // *Virginia alumni bulletin*. April, 1923.
- Goldsmith 1990 – *J. Goldsmith*. *Autosegmental and metrical phonology*. Oxford, 1990.
- Gordon 2006 – *M.K. Gordon*. *Syllable weight: Phonetics, phonology, typology*. New York; London, 2006.
- Halle, Vergnaud 1987 – *M. Halle, J.-R. Vergnaud*. *An essay on stress*. Cambridge (Mass.), 1987.
- Hayes 1981 – *B.A. Hayes*. *Metrical theory of stress rules*. Bloomington, 1981.
- Hayes 1984 – *B.A. Hayes*. The phonology of rhythm in English // *Linguistic inquiry*. 15. 1984. № 1.
- Hermann 1816 – *G. Hermann*. *Elementa doctrinae metricae*. Lipsiae, 1816.
- Hoshiko 1960 – *M.S. Hoshiko*. Sequence of action of breathing muscles during speech // *Journal of speech and hearing research*. 1960. № 3.
- Idsardi 1992 – *W. Idsardi*. *The computation of prosody*. PhD Dissertation. Cambridge (Mass.), 1992.
- Kurylowicz 1958 – *J. Kurylowicz*. *L'accentuation des langues indoeuropéennes*. Krakow, 1958.
- Ladefoged et al. 1958 – *P. Ladefoged, M.H. Draper, D. Whitteridge*. Syllables and stress // *Miscellanea phonetica*. 1958. № 3.
- Leo 1905 – *F. Leo*. *Der Saturnische Vers*. Berlin, 1905.
- Luick 1898 – *K. Luick*. Die quantitätsveränderungen im Laufe der Englischen Sprachentwicklung // *Anglia*. 1898. № 20.
- McCarthy, Prince 1998 – *J. McCarthy, A.S. Prince*. *Prosodic morphology* // *Handbook of morphology*. Oxford, 1998.
- Meillet 1923 – *A. Meillet*. *Les origines indoeuropéennes des mètres grecs*. Paris, 1923.
- Mester 1994 – *R.A. Mester*. The quantitative trochee in Latin // *Natural language and linguistic theory*. 1994. № 12.
- Parsons 1999 – *J. Parsons*. A new approach to the saturnian verse and its relation to Latin prosody // *Transactions of the American philological association*. 1999. № 129.
- Prince 1983 – *A.S. Prince*. Relating to the grid // *Linguistic inquiry*. 14. 1983.
- Sievers 1901 – *E. Sievers*. *Grundzüge der Phonetik*. Leipzig, 1901.
- Sommer 1914 – *F. Sommer*. *Latcinische Laut- und Formenlehre*. Heideilberg, 1914.
- Steriade 1988 – *D. Steriade*. Greek accent: a case for preserving structure // *Linguistic inquiry*. 19. 1988. № 2.
- Stetson 1951 – *R.H. Stetson*. *Motor phonetics*. Amsterdam (USA), 1951.
- Sturtevant 1919 – *E.H. Sturtevant*. The coincidence of accent and ictus in plautus and terence // *Classical philology*. 1919. № 14.
- West 1982 – *M.L. West*. *Greek metre*. Oxford, 1982.

© 2010 г. Н.Р. СУМБАТОВА

СВЯЗКИ В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ: ОППОЗИЦИИ И УПОТРЕБЛЕНИЕ

Основное содержание статьи составляет описание сходства и различий функций двух типов связок – характеризующих и экзистенциальных – в двух диалектах. Показано, что в ицаринском диалекте экзистенциальные связки употребляются тогда, когда для этого есть семантические причины (а именно, в именных предложениях с экзистенциальным значением), а характеризующая связка представляет собой сильно грамматикализованный служебный элемент. В тантынском диалекте, напротив, употребление характеризующей связки возможно только при наличии определенных семантических или прагматических условий (расчлененной коммуникативной структуры), а употребление экзистенциальных связок гораздо более грамматикализовано, чем в ицаринском.

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

На даргинском языке (нахско-дагестанская семья) говорит около полумиллиона человек, проживающих в основном в центральных районах Республики Дагестан. Особенностью даргинского языка является диалектная раздробленность – выделяется не менее 15–20 диалектов, некоторые из которых очень сильно отличаются друг от друга; взаимопонимание, как правило, затруднено даже между носителями сравнительно близких диалектов. По предварительным подсчетам (Т.А. Майсак и Ю.Б. Коряков), даргинские диалекты разошлись примерно в III–IV вв. до н. э.

Диалекты изучены в разной степени, сравнительно последовательные описания существуют только для шести вариантов даргинского языка – литературного языка (на основе акушинского диалекта [Абдуллаев 1954; van den Berg 2001] и др.); урахинского [Услар 1892], кубачинского [Магомедов 1963], мегебского [Магомедов 1982]; ицаринского [Sumbatova, Mutalov 2003] и кайтагского [Темирбулатова 2004]. Наша работа в основном строится на данных двух диалектов – ицаринского (с. Ицари, Дахадаевский район; по классификации Ю.Б. Корякова, ицаринский относится к юго-западной группе диалектов) и тантынского (с. Танты, Акушинский район; диалект, видимо, близок к цудахарскому; см. [Коряков 2006]). Диалект, которому принадлежит пример, обозначен буквой И или Т возле его номера.

Как и другие языки нахско-дагестанской семьи, даргинский – язык эргативного строя. Его особенность – наличие, кроме эргативной, других конструкций предложения (антипассивной, биабсолютивной, партитивной). Даргинский имеет хорошо развитое согласование по именному классу, что также типично для нахско-дагестанской семьи. Согласовываться по классу могут глаголы, связки, формы эссива у имен и локативных наречий, некоторые прилагательные и местоимения. Контролером классного согласования в большинстве случаев является абсолютивная именная группа (см., однако, п. 5 ниже). В отличие от большинства нахско-дагестанских языков, даргинский также обладает развитым согласованием по лицу (см., например, [Сумбатова 2008]). Имя в даргинском имеет разветвленную падежную систему с несколькими (как правило, четыремя-пятью) сериями локативных форм. Система глагола также довольно сложна и включает в большинстве диалектов несколько десятков синтетических и ана-

литических парадигм вида / времени / модальности и большое количество нефинитных форм (причастия, деепричастия, отглагольные имена, в большинстве диалектов также инфинитив).

Важная морфологическая особенность даргинского глагола – видовые оппозиции корней и жесткая структура глагольного корня. Почти все глагольные корни имеют структуру VC, VLC и LVC, где C – любая согласная, V – любая гласная, L – согласная из небольшого набора, включающего сонорные и, возможно, еще одну-две согласные, в зависимости от диалекта (для ицаринского, например, этот набор включает согласные l, r, m, b, š). Словарной характеристикой глагольного корня является наличие перед ним показателя согласования по именному классу, что обозначается у нас знаком «=» перед корнем (классный показатель невозможен перед корнями вида LVC). В ряде диалектов имеется также крайне небольшое количество корней, состоящих из одной согласной (без классного показателя), например, корень совершенного вида глагола k:-/č:- ‘давать’ в тантынском диалекте.

Все даргинские глагольные корни выражают вид (совершенный ~ несовершенный), причем большинство корней образует видовые пары. С формальной точки зрения оппозиция совершенного и несовершенного вида нерегулярна, так что информация о видовой характеристике корня и объединении корней в видовые пары является словарной. Корни одной видовой пары всегда имеют один и тот же согласный C и могут отличаться наличием / присутствием или позицией согласного L, выбором гласной и наличием / отсутствием классного показателя, ср.: =at- (CB) ~ =alt- (HCB) ‘оставлять’; as:- (CB) ~ is:- (HCB) ‘покупать’; =ik:- (CB) ~ ik:- (HCB) ‘зажигать’ (примеры из тантынского диалекта).

В данной работе речь пойдет об употреблении глагольных связок. Класс элементов, которые мы будем считать связками, удобнее всего задать простым перечислением.

В ицаринском диалекте это, во-первых, «характеризующая» связка sa=b¹ (знаком «=» отделен изменяющийся показатель классного согласования: sa=w ~ sa=r ~ sa=b ~ sa=d) и, во-вторых, группа «экзистенциальных» связок, противопоставленных по выражаемой ими локализации: lc=b ‘существовать (близко к слушающему или в неопределенном месте)’ ~ že=b ‘существовать (близко к говорящему)’ ~ te=b ‘существовать (далеко, в стороне от говорящего)’ ~ č’e=b ‘существовать (выше говорящего)’ ~ he=b ‘существовать (ниже говорящего)’.

В тантынском диалекте это «характеризующая» связка sa=b=i/sa=b² (sa=j ~ sa=r=i/sa=r ~ sa=d=i/sa=d) и группа «экзистенциальных» связок le=b ‘существовать (близко к говорящему или в неопределенном месте)’ ~ te=b ‘существовать (далеко, в стороне от говорящего)’ ~ č’e=b ‘существовать (выше говорящего)’ ~ χe=b ‘существовать (ниже говорящего)’.

По своей функции в предложении связки близки к финитным глаголам, поскольку они выступают в качестве вершинных элементов независимых клауз. С точки зрения семантики и, как мы увидим ниже, функций особенно близки глаголам экзистенциальные связки. Однако с морфологической точки зрения связки не могут быть отнесены к классу глаголов. Во-первых, как уже говорилось, даргинские глагольные корни имеют очень четкую структуру: =V(L)C, V(L)C, LVC, крайне редко C. Легко видеть, что структура связок не соответствует этим образцам. Во-вторых, даргинский глагол имеет очень богатую систему финитных и нефинитных форм, в то время как набор форм, образуемых связочными элементами, гораздо менее богат, а структура образуемых ими форм отличается от глагольной.

Характеризующая связка в ицаринском имеет только форму, используемую в третьем лице настоящего времени, и изменяется только по классам: sa=b ~ sa=w ~ sa=r ~ sa=d. В тантынском диалекте характеризующая связка может сочетаться с клитиками первого и второго лица -da (первое лицо и множественное число второго лица), -de (един-

¹ Глаголы и связки, как правило, цитируются в форме неличного класса с показателем =b.

² Наклонной чертой (/) отделены свободные варианты связок.

ственное число второго лица): sa=j-da, sa=j-de и т. д.; с клиткой прошедшего времени -de: sa=j-de; имеются также нефинитные дериваты – масдар sa=j-ni, причастие sa=j-se (формы процитированы с показателем мужского класса).

Экзистенциальные связки в обоих диалектах имеют формы лица (в мужском классе le=w-da и le=w-di/le=w-de³), прошедшего времени (le=w-di/le=w-de), причастия (le=w-ci/le=w-sc) и и деепричастия (le=w-li/le=w-le).

Перечисленные выше связочные лексемы имеют соответствующие им отрицательные связки: в ицаринском это «характеризующая» связка ak:u (цитируется в форме третьего лица) и «экзистенциальная» связка b=a:k:u, в тантынском «характеризующая» связка ak:ага и «экзистенциальная» связка b=a¹k:u. Отрицательные связки имеют гораздо более богатый набор форм, чем их положительные корреляты. Структура их парадигм гораздо больше похожа на парадигму глагола. Кроме того, как легко видеть, структура корня отрицательных связок укладывается в набор глагольных моделей. В данной работе свойства отрицательных связок не рассматриваются, поэтому и вопрос о их частеречной характеристике обсуждаться не будет⁴.

Мы будем исследовать только положительные связки, и преимущественно их финитные формы, то есть формы связок без дополнительных показателей и в сочетании с клитками лица или прошедшего времени. Мы отметим некоторые синтаксические особенности связок, однако подробно обсуждать вопрос о синтаксической структуре связочных предложений также не будем.

Наша задача – попытаться описать условия употребления перечисленных выше связок и правила выбора между ними. В разделе 2 рассматривается функционирование связок в именных предложениях ицаринского и тантынского диалектов. В разделе 3 кратко анализируются возможности употребления связок в глагольных предложениях ицаринского диалекта и формулируются общие правила употребления связок в ицаринском диалекте. Употребление связок в тантынском диалекте анализируется в разделе 4. В разделе 5 рассматриваются особенности классного согласования связок и, наконец, в заключительном разделе формулируются общие заключения относительно значений и функций связок в обоих рассматриваемых диалектах.

2. СВЯЗКИ В ИМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Правила употребления связок в именных предложениях в ицаринском и тантынском диалектах весьма сходны⁵.

«Характеризующая» связка sa=b/sa=b(=i) употребляется в именных предложениях характеристики, идентификации и таксономии⁶. При этом связка стоит строго после

³ Слева от наклонной черты дана форма ицаринского диалекта, справа – тантынского.

⁴ С синтаксической точки зрения и положительные и отрицательные связки входят в небольшой закрытый класс лексических единиц, которые мы называем «предикативными показателями». Основная и почти единственная синтаксическая функция этих элементов – позиция вершины независимых клауз. Морфологически элементы этого класса не вполне однородны – в него входят и неизменяемые частицы, и сравнительно богатые по набору форм отрицательные связки.

⁵ Судя по имеющимся публикациям и полевым данным диалектов (селения Худуц и Кунки, 2007–2009 гг.), правила распределения «характеризующей» и «экзистенциальных» связок очень близки во всех диалектах, кроме мегебского, который в течение длительного времени находится под сильным влиянием аварского и лакского языков. В мегебском диалекте единственная широко употребительная связка – le=b (противопоставление связок по локализации утрачено), которая используется как в именных, так и в глагольных клаузах [Магомедов 1982].

⁶ Мы используем классификацию именных (точнее, неглагольных) предложений, представленную в работе [Калинина 1999], которая в свою очередь в значительной степени опирается на работу [Hengeveld 1992].

предикативной части клаузы, хотя в остальном порядок слов в даргинских диалектах, в том числе в именных предложениях, довольно свободный.

Предложения характеристики выражают принадлежность объекта какому-либо классу, сообщают о его свойствах, количественных характеристиках или местонахождении. Предикатом предложений характеристики могут быть синтаксические группы разных типов: возглавляемые существительными в абсолютиве (помещение в класс, примеры 1, 6), в генитиве (принадлежность, примеры 2, 8), в одном из локативных падежей (местонахождение, 3, 9); возглавляемые прилагательными (4, 7) или числительными (5). К этому же типу могут быть отнесены безличные предложения, сообщающие о свойствах ситуации или какого-либо места – в них связка присоединяется к качественному наречию (10).

(1.И) murad x:un-gi b=ič:-aq-an admī sa=w
 Мурад женщина-PL NPL-любить-CAUS-POT человек COP-M
 ‘Мурад любит женщин’ [букв. ‘Мурад есть человек, любящий женщин’].

(2.И) išt:i wajaḥ di-la sa=d
 эти вещи я-GEN COP-NPL
 ‘Эти вещи мои’.

(3.И) hana murad iḡvaʼbaj-i=w sa=w
 сейчас Мурад Кубачи-SUPER-M(ESS) COP-M
 ‘Мурад сейчас в Кубачах’.

(4.И) di-la k:uɟab č:ak: a-ci sa=g
 я-GEN невеста красивый-ATR COP-F
 ‘Моя невеста красивая’.

(5.И) x:unul ʔa:ʼb sa=b
 женщина три COP-NPL
 ‘Женщин трое’.

(6.Т) di-la duʳḡaʳ duχ:u-se duʳḡaʳ sa=j
 я-GEN мальчик умный-ATR мальчик COP-M
 ‘Мой сын умный мальчик’.

(7.Т) di-la duʳḡaʳ dewgale duχ:u-s:a=j
 я-GEN мальчик очень умный-ATR+COP-M
 ‘Мой сын очень умный’.

(8.Т) hiž mašina di-la sa=b
 этот машина я-GEN COP-N
 ‘Эта машина моя’.

(9.Т) rasul hana aquš:a=w sa=j
 Расул сейчас Акуша-M(SUPESS) COP-M
 ‘Расул сейчас в Акуше’.

(10.Т) t:ura=b cʼab-le sa=b
 снаружи-N(ESS) темный-ADV COP-N
 ‘На улице темно’.

Предложения идентификации сообщают о том, что двум номинациям соответствует один и тот же референт (или, что то же самое, что референты двух именных групп идентичны). В них связка клитизируется к группе, возглавляемой именем в абсолютиве.

(11.И) it di-la uc:i ca=w
 этот я-GEN брат COP-M
 'Это мой брат'.

(12.Т) hiž di-la t:at:i sa=j
 этот я-GEN отец COP-M
 'Это мой отец'.

Наконец, предложения таксономии содержат определения каких-либо понятий. Топикальная именная группа употреблена в них автономно, а предикатом, как и в предложениях, обозначающих включение в класс и идентификацию, является другая именная группа в абсолютиве.

(13.И) q'ariš dukluš:-il dič:i b=iq:-an dirx:a ca=b
 посох пастух-ERG на.пастбище N-НОСИТЬ:IPF-POT палка COP-N
 '«Кариш» – это посох, который пастухи носят на пастбище'.

(14.Т) – se sa=b-e k'alt'a ? – k'alt'a šin d=iq:-u-se
 что COP-N-COP+PQ кувшин кувшин вода NPL-НОСИТЬ:IPF-PRS-ATR
 se-k'al sa=b-i
 что-INDEF COP-N-COP
 'Что такое «квалта»? – «Квалта» – это то, в чем носят воду'.

Связки, которые мы назвали экзистенциальными, употребляются в экзистенциальных предложениях, сообщающих о существовании или наличии чего-либо. Связка стоит непосредственно после именной группы, о существовании референта которой сообщается в предложении.

(15.Т) allah č'e=w
 Аллах EXST-M
 'Аллах есть' (наверху).

Разновидностью экзистенциальных предложений являются предложения, в которых сообщается о существовании чего-либо в определенном месте или у некоторого владельца, то есть экзистенциальные предложения с локативным и посессивным значением.

(16.Т) š:ajt'un-te χe=d
 черт-PL EXST-NPL
 'Черти есть' (внизу).

(17.Т) di-la mašina le=b
 я-GEN машина EXST-N
 'У меня есть машина' (неизвестно / неважно где).

(18.И) iž t:urzam-la dukluš: le=w
 этот стадо-GEN пастух EXST-M
 'У этого стада есть пастух'.

(19.И) le=w niš:a-la š:a=w sa palluq'a:
 EXST-M мы-GEN селение:OBL-M(ESS) один предсказатель
 'В нашем селении есть один предсказатель'.

Семантическому противопоставлению, которое мы упрощенно опишем как противопоставление предложений характеризующих vs. экзистенциальных, соответству-

ет различие валентной структуры двух типов связок: характеризующие связки двухвалентны, в то время как экзистенциальные одновалентны.

Предложения характеристики, таксономии и идентификации содержат топик в абсолютиве – семантически это либо именная группа, значение которой определяется в предложении (предложение таксономии), либо именная группа, референт которой определенным образом характеризуется (предложения характеристики), либо, наконец, более топикальный из двух идентифицируемых объектов (предложения идентификации). Главный предикат такого предложения может быть выражен именной группой (в абсолютиве, в генитиве, в одном из локативных падежей, в комитативе), прилагательным, числительным или наречием.

Выбор классного показателя в составе характеризующей связки контролирует абсолютивная именная группа. Если такая именная группа одна, проблема выбора контролера не стоит. Если же в клаузе два абсолютива, то контролером является линейно ближайший абсолютив, то есть предикативная именная группа.

(20.T) hišt:i q'alam-te patiška-ž di-la sajvat sa=b/*sa=d
этот-PL карандаш-PL Патишка-ДАТ я-GEN подарок COP-N/*COP-NPL
'Эти карандаши – мой подарок Патишке' (связка согласуется с именной группой sajvat 'подарок').

(21.T) patiškaž di-la sajvat rang-la q'alam-te sa=d/*sa=b
Патишка-ДАТ я-GEN подарок цвет-GEN карандаш-PL COP-NPL/*COP-N
'Мой подарок Патишке – цветные карандаши' (связка согласуется с именной группой множественного числа q'alamte 'карандаши').

Экзистенциальные предложения содержат одну именную группу в абсолютиве, которая и является единственно возможным контролером классного согласования связки (примеры см. выше)⁷.

Экзистенциальные именные предложения отличаются от прочих характерной для них коммуникативной структурой: если в предложениях характеристики, идентификации и таксономии четко выделяется топикальная именная группа в абсолютиве, а та группа, к которой присоединяется связка, является частью ремы (как в примере 22), то в экзистенциальных предложениях единственная абсолютивная именная группа входит в рематическую часть высказывания (23)⁸.

(22.T) hiž mašina di-la sa=b
этот машина я-GEN COP-N
'Эта машина моя'.

(23.T) di-la mašina le=b
я-GEN машина EXST-N
'У меня есть машина'.

⁷Мы ничего не сказали о личном согласовании, поскольку показатели лица, присоединяемые к связкам, являются клитиками, которые мы рассматриваем не как часть связки, а как синтаксически самостоятельный элемент. В экзистенциальных предложениях лицо контролируется единственным абсолютивным аргументом. Характеризующая связка в ицаринском диалекте с показателями лица не сочетается. В тантынском в именных предложениях с двумя абсолютивными группами и характеризующей связкой ситуация следующая: если один из аргументов первого или второго лица, а другой третьего, то присутствует клитика соответственно первого или второго лица; в тех семантически нескольких странных предложениях, где оба аргумента первого или второго лица, выбор клитики определяет топикальный элемент, ср. du ŷu sa=j-da 'Я это ты' (присутствует клитика первого лица) и ŷu du sa=j-de 'Ты это я' (клитика второго лица).

⁸Если предложение относится к верификативному типу, то есть в фокусе находится только истинностная оценка утверждения о существовании (в таких предложениях, как 'Аллах СУЩЕСТВУЕТ'), то скорее будет употреблена конструкция с причастием, образованным от экзистенциальной связки, и характеризующей связкой: allah le=w-ci sa=w 'Аллах сущий есть'. В таких предложениях о топике утверждается, что он принадлежит классу существующих объектов; тем самым такое предложение и формально, и содержательно попадает в класс предложений характеристики.

Экзистенциальные высказывания часто бывают тавтологическими или же содержат в качестве тематического компонента только обстоятельства, описывающие сцену действия (scene-setting adverbials; [Lambrecht 1994]; ср. также понятие сцены в работе [Andréasson 2007]): это обстоятельства, обозначающие место, посессора, время и другие. Единственный актант связки в абсолютиве темой такого предложения быть не может.

(24.Т) ʔaʔjaʔ.qʔaqʔa-le-ʔe ka-d=av-ib-le, (...)

Гая-Кака-OBL-IN PV-1/2PL-достичь:PF-PRET-CONV

bac-ra le=b-de, ajaz b=iχ-ub-le

луна-ADD EXST-N-PST ясный N-становиться:PF-PRET-CONV

'Когда дошли до Гаякака, (...) была луна, прояснилось'.

(25.Т) dam-c:ele le=w-se-de di-la umra ʔaʔli.ʔaʔsaʔb-ra

я:OBL-COMIT EXST-M-ATR-PST я-GEN сосед Али-Асхаб-ADD

'Со мной вместе еще был мой сосед Али-Асхаб'.

Отличия ицаринского и тантынского диалекта в том, что касается употребления связки в именных предложениях, обусловлены скорее формальными запретами, чем собственно семантическими противопоставлениями, выражаемыми характеризующими и экзистенциальными связками.

В ицаринском диалекте характеризующая связка возможна только в предложениях, где оба ядерных актанта третьего лица; если хотя бы один из актантов первого или второго лица, то в позиции связки употребляется клитический показатель лица *-da* (в первом лице и во множественном числе второго лица; пример 26) или *-di* (во втором лице единственного числа); связка не сочетается также с клитикой прошедшего времени *-di* (пример 27).

(26.И) du s:uq:ur-ci-da / *du s:uq:ur-ci ca=w-da

я слепой-ATR-1 я слепой-ATR COP-M-1

'Я слепой'.

(27.И) du tuxtur-di / *du tuxtur ca=w-di

я врач-PST я врач COP-M-PST

'Я был врачом'.

В тантынском предложении первого/второго лица также, как правило, содержат только личную клитику, однако здесь употребление связки (в комбинации с личной клитикой) возможно:

(28.Т) du sa=j-da! / du-da

я COP-M-1 / я-1

'Это я!'

В ицаринском диалекте связка выступает только в декларативных предложениях. В вопросительных ее место занимает вопросительная клитика:

(29.И) ča-n ištu=w-ci? – ištu=w-ci du-da

кто-Q здесь-M(ESS)-ATR здесь-M(ESS)-ATR я-1

'Кто здесь? – Здесь я'.

(30.И) ila uc:i hejt-u: ?

ты:GEN брат этот-PQ

'Этот (человек) твой брат?'

В тантынском вопросительная клитика возможна в сочетании со связкой:

(31.Т) hit se se=b-e? – mašina sa=b le-b=q'-un-se

там что COP-N-COP+Q машина COP-N PV-N-идти:IPF-PRS-ATR

'Что там виднеется? – Это машина едет'.

В обоих диалектах характеризующие связки невозможны в побудительных и оптативных предложениях (где в качестве вершины выступают соответственно императивные и оптативные формы глагола) и, как правило, не употребляются в восклицательных (см. раздел 4). Впрочем, эти ограничения и различия касаются всех (а не только именных) предложений.

3. ИЦАРИНСКИЙ ДИАЛЕКТ: СВЯЗКА В ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ СВЯЗОК

В ицаринском диалекте в глагольных предложениях зафиксирована только характеризующая связка $ca=b$ (и соответствующая ей отрицательная связка $ak:u$), которая в сочетании с одной из нефинитных репрезентаций глагола или одной из глагольных основ образует многочисленные формы, выражающие различные видо-временные и модальные значения.

Характеризующая связка присутствует в большинстве глагольных форм, выступающих в финитных клаузах. Практически любая комбинация одной из нефинитных репрезентаций глагола или одной из глагольных основ со связкой дает грамматичную форму (в качестве примеров даются формы глагола $b=arq'$ -/ $b=iqr'$ - 'делать'):

основа прогрессива или прогрессивное деепричастие в сочетании со связкой образуют форму настоящего времени: $b=iqr'$ -a $ca=b$ / $b=iqr'$ -a-t:i $ca=b$;

основа претерита в сочетании со связкой образует перфект (от основы совершенного вида) или эвиденциальную форму настоящего времени (от основы несовершенного вида): $b=arq'$ -ib $ca=b$ (СВ) и $b=iqr'$ -ib $ca=b$ (НСВ);

деепричастие от основы претерита в комбинации со связкой дает форму с результирующим значением: $b=arq'$ -ib-li $ca=b$ и $b=iqr'$ -ib-li $ca=b$;

образованное от той же основы причастие – форму экспериентива: $b=arq'$ -ib-ci $ca=b$ и $b=iqr'$ -ib-ci $ca=b$;

потенциальная основа (совпадающая с потенциальным причастием)⁹ в сочетании со связкой образует формы со значением долженствования: $b=iqr'$ -an $ca=b$.

Все эти комбинации сохраняют свойства аналитических форм – в частности, в конструкциях с узким (аргументным) фокусом связки в глагольных конструкциях отрываются от глагола и перемещаются к той группе, которая находится в фокусе (см. пример 55 ниже); падежи актантов и правила согласования при этом не меняются (фокусные конструкции в ицаринском диалекте описаны в работе [Сумбатова 2004] и др., поэтому здесь мы на них не останавливаемся). Приводимые ниже примеры иллюстрируют употребление аналитических форм презенса (32) и перфекта (33).

(32.И) nuš:a helt:i q:il d=uc-ib-li t:i-d=ax-a-t:a
мы эти след 1/2PL-ловить:PF-PRET-CONV PV-1/2PL-идти:IPF-PRG-1
helt:ur ca zamana tug=d=al čar.k:i.d=i:r-a
оттуда один время внизу-NPL-внизу PV-PV-NPL-поворачивать:IPF-PRG
ca=d helt:i q:il
COP-NPL эти след

'Мы идем по этому следу, и тут следы поворачивают оттуда вниз'.

(33.И) na: či-b=aʹʷ-ib ca=b d=ik'-ul-da
теперь PV-N-попасть:PF-PRET COP-N 1/2PL-говорить:IPF-CONV-1
či-b=aʹʷ-ib ca=b ca či-b=aʹʷ-ib ca=b
PV-N-попасть:PF-PRET COP-N один PV-N-попасть:PF-PRET COP-N

'(Охотники, преследовавшие медведя, увидели на снегу следы крови.) Ну, мы попали в него, – говорим мы, – и вправду мы в него попали, уже один раз попали!'

⁹ Потенциальная основа бывает только несовершенного вида.

Характеризующая связка в ицаринском невозможна ни в каких видах зависимых клауз, за единственным исключением: это предложения, передающие содержание чужой речи / мысли, с цитативными показателями, образованными от глаголов речи. В структурном отношении эти предложения отличаются от независимых только присутствием одного из цитативных маркеров¹⁰:

(34.И) du-l gabdan-ni-ci: i ʔaʔli duχ:u-ci sa=w r=ikʔil b=urs-ib-da
 я-ERG Рабдан-OBL-ILLAT Али умный-ATR COP-M F=CIT N-сказать:PF-PRET-I
 'Я сказала Рабдану, что Али умный'.

Общие ограничения на употребления характеризующей связки в ицаринском диалекте можно задать при помощи списка довольно простых и при этом весьма жестких правил:

- (1) связка возможна только в независимых клаузах;
- (2) связка возможна только в декларативных предложениях;
- (3) связка присоединяется к следующим видам составляющих:
 - a. именные группы в абсолютиве, генитиве и в локативных падежах;
 - b. группы, возглавляемые полными прилагательными¹¹;
 - c. группы, возглавляемые числительными;
 - d. группы, возглавляемые глагольными основами и нефинитными отглагольными дериватами: краткими и полными причастиями и простыми деепричастиями;
 - e. наречные группы (в безличных конструкциях);
- (4) характеризующая связка не сочетается с некоторыми другими единицами, занимающими, очевидно, ту же синтаксическую позицию в предложении, что и связка (выше мы назвали их «предикативными показателями»). В частности, она несовместима с маркерами вопроса, прошедшего времени (-di), первого / второго лица (-da, -di) и «актуализации» (-q'al)¹²;
- (5) связка обязательна везде, где возможна.

Таким образом, связка присутствует только в вершинных клаузах декларативных предложений не прошедшего времени, третьего лица, не имеющих клитики актуализации. Связка употребляется во всех таких предложениях, за исключением предложений, возглавляемых финитными формами глагола, употребляемыми в декларативных

¹⁰ В прочих видах зависимых клауз возможны две стратегии: либо комплементаризатор, вводящий данный тип зависимого, прикрепляется прямо к предикативной группе (если свойства данного комплементаризатора это допускают, как в примере (a) ниже), либо вместо именного предложения используется глагольное, как в примере (b) (в даргинском диалекте имеются полноценные глаголы со значением, близким к значению связок; в ицаринском это глаголы *u:-* 'быть', *=ih-* 'становиться', *ag-/arg-* 'уходить; становиться'), ср.:

- a. gasul-ci b=uχ:-a-t:a
 Расул-ATR N-знать:IPF-PRG-CONV+I
 b. gasul w=iχ-ni b=uχ:-a-t:a
 Расул M-стать-MSD N-знать:IPF-PRG-CONV+I
 'Я знаю, что это Расул' [или: 'что ты Расул'].

¹¹ По своим синтаксическим свойствам полные прилагательные близки к существительным и, возможно, должны трактоваться как подкласс существительных; для наших целей, однако, выбор того или иного способа описания неважен.

¹² Клитика *-q'al* маркирует содержание клаузы как известное обоим собеседникам:

r'iq' it-i-j k'i-ib-ci-li-j-ra – k'i'-na igχ-an-q'al,
 щелк ЭТОТ-OBL-SUPLAT два-ORD-ATR-OBL-SUPLAT-ADD два-REP стрелять:IPF-POT-же
 k'i-ib-ci-ra piq'-b=ik'-ar...
 два-ORD-ATR-ADD щелк-N-сказать:IPF-PRS
 'Я нажал другой курок – двустволка же (была у меня) – и во второй раз произошла осечка...' (досл. '(ружье) второй раз сказало «щелк»').

предложениях без связок. Таких форм в ицаринском сравнительно немного (настоящее общее; хабикулярное прошедшее; гипотетическое наклонение; ирреалис; претерит третьего лица); более подробный анализ их употребления см. в работе [Sumbatova in print].

Финитные формы экзистенциальной связки в ицаринском также встречаются только в независимых предложениях, однако сочетаются только с именными группами в абсолютиве – иначе говоря, экзистенциальные связки в ицаринском возможны только в именных предложениях. Однако экзистенциальные связки более свободны в том отношении, что могут встречаться в сочетании с показателями лица, прошедшего времени, вопросительными и актуализующими частицами, как в примерах (35–37):

- (35.И) a. ila du le=w-da
 ты:GEN я EXST-M-1
 ‘У тебя есть я’.
 b. di-la u le=r-di
 я-GEN ты EXST-F-2SG
 ‘У меня есть ты’.

- (36.И) ila mašin le=b-u:
 ты:GEN машина EXST-N-PQ
 ‘У тебя есть машина?’

- (37.И) mašin hi-la le=b-ni?
 машина кто-GEN EXST-N-Q
 ‘У кого есть машина?’

По своим синтаксическим и семантическим свойствам экзистенциальные связки ближе к глаголам, чем характеризующие. Подобно глаголам, они присоединяют клитики лица, прошедшего времени, вопроса и актуализации. Они последовательно выражают экзистенциальное значение и не имеют десемантизированных употреблений. По-видимому, тот факт, что экзистенциальные связки не встречаются в глагольных предложениях, в достаточной степени объясняется их лексическим значением.

4. ТАНТЫНСКИЙ ДИАЛЕКТ: СВЯЗКИ В ГЛАГОЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

В отличие от ицаринского, в глагольных предложениях тантынского диалекта употребляются и характеризующие, и экзистенциальные связки. При этом они могут занимать одну и ту же линейную позицию:

- (38.Т) a. uc:i-li sun-na telefon dam b=at-ur-le sa=j
 брат-ERG сам-GEN телефон я:DAT N-оставить:PF-PRET-CONV COP-M
 ‘Брат оставил мне свой телефон’.
 b. uc:i-li sun-na telefon dam b=at-ur-le le=b
 брат-ERG сам-GEN телефон я:DAT N-оставить:PF-PRET-CONV EXST-N
 ‘Брат оставил мне свой телефон’ (и поэтому у меня есть телефон).

Напомним некоторые особенности употребления экзистенциальных связок в именных предложениях, обсуждавшиеся в разделе 2. Во-первых, они используются только в предложениях, где делается утверждение или задается вопрос о существовании чего-либо. Во-вторых, экзистенциальные связки способны ориентировать объект относительно говорящего и слушающего и тем самым выражать, одновременно с экзистенциальным, дейктическое значение (примеры 15–19). В-третьих, экзистенциальные предложения обладают определенными коммуникативными свойствами. Объект,

о существовании которого делается утверждение, как правило, оказывается новым для слушающего и попадает в рематическую часть предложения. Предикат существования также в норме является частью ремы. Таким образом, утверждения о существовании часто оказываются либо тетическими, то есть не имеющими темы (как в примерах 15 и 16), либо имеют в качестве темы одно или несколько обстоятельств, описывающих сцену действия (примеры 17–19).

Экзистенциальное значение

Часть глагольных конструкций с экзистенциальными связками сохраняет характерное для этих связок экзистенциальное значение, ср.:

- (39.T) a. neš-li dam t'ulek:a č:-ib-le sa=g
 мать-ERG я:DAT кольцо давать:PF-PRET-CONV COP-F
 'Мама мне подарила кольцо'.
 b. neš-li dam t'ulek:a č:-ib-le le=b
 мать-ERG я:DAT кольцо давать:PF-PRET-CONV EXST-N
 'Мама мне подарила кольцо' (и оно у меня есть).

В таких предложениях как будто сохраняется основное значение экзистенциальной связки – речь идет о наличии предмета. Одновременно несколько смещается видо-временное значение конструкции. Для многих предикатов сохранение результата действия семантически близко к сохранению его объекта (пациенса); таким образом, если в глагольной экзистенциальной конструкции, как в примере 39, употреблен глагол совершенного вида в претерите, то конструкция приобретает значение, близкое к перфектному.

Один из частых вариантов реализации экзистенциального значения – значение близкого прошедшего. Присутствие пациенса в описываемой ситуации коррелирует с ощущением непосредственной близости завершеного действия, в результате возникает эффект действия, завершеного «только что», непосредственно в той же ситуации, в которой находятся собеседники. В таких предложениях выбирается связка *le=b*, дейктическое значение которой – близость к собеседникам.

- (40.T) a. niš:a-la q' al b=it.aq-ib-le hat'i b=arš:-ib
 мы-GEN корова N-терять:PF-PRET-CONV потом N-найти:PF-PRET
 'Наша корова потерялась, а потом нашлась'.
 b. niš:a-la b=it.aq-ib-se q' al b=arč:-ib-le le=b
 мы-GEN N-терять:PF-PRET-ATR корова N-найти:PF-PRET-CONV EXST-N
 'Наша потерявшаяся корова только что нашлась'.

В несовершенном виде экзистенциальное значение интерпретируется как утверждение о присутствии объекта в описываемой ситуации.

- (41.T) hat'i ha'ži.q'urban-ra ha-js:-un-ne-de-q'ale hit-ha'le
 потом Гаджи-Курбан-ADD PV-лежать:IPF-PRS-CONV-PST-когда тот-когда
 ha:ži.q'urban ha-js:-un-ne le=w-le-x:ar hil
 Гаджи.Курбан PV-лежать:IPF-PRS-CONV EXST=M-CONV-хотя тот
 ha-jc:-e ible r=ik'-u-le ha-t'-?elc:-un-ne-de
 PV-вставить-IMP CIT F-говорить:IPF-PRS-CONV PV-IF-NEG+вставить:IPF-PRS-CONV-PST
 'Потом, (там) ведь и Гаджи-Курбан был, хотя (там) лежал Гаджи-Курбан, он – хотя я и говорила ему «Вставай!» – не вставал'¹³.

¹³ Пример из текста, переведенного Ю.А. Ландером.

Ср. с именными предложениями:

- (42.Т) haχ gu.r.hale le=w-de niš:a-la birgadir q'urban b-ik'-u-se
оттуда снизу EXST-M-PST мы-GEN бригадир Курбан N-говорить:IPF-PRS-ATR
w=eħ.ik' -ar, w=a^hw.w=ik' -ar niš:ib w=aq'-aq-iž
м-кричать:IPF-TH м-орать:IPF-TH мы:DAT м-слышать:PF-CAUS-INF
'Оттуда снизу – (там) был наш бригадир по имени Курбан – он кричал, орал,
чтобы мы услышали'.

Одна из частых разновидностей этого значения в НСВ – презентативное предложение, в котором говорящий указывает либо на объект непосредственно, либо на совершающуюся на глазах собеседников ситуацию с его участием и ориентирует объект относительно участников коммуникативной ситуации:

- (43.Т) hit dubur-li-ja=b či.la.sa=b.enne qali č'e=b
вон гора-OBL-SUPER-N(ESS) чей-то(N) дом EXST-N
'Вон на горе стоит чей-то домик'.

- (44.Т) x:un-ne-ħe-r-se ru:ci le-r=q'-un-ne le=r
дорога-OBL-IN-EL-HITHER сестра PV-F-идти:IPF-PRS-CONV EXST-F
'Вон по дороге идет моя сестра'.

В таких предложениях реализуются все три компонента значения связки:
экзистенциальное значение = что-то существует, точнее, присутствует в рассматриваемой ситуации;

информационная структура = утверждение о существовании объекта попадает в рему;
в теме могут быть лишь обстоятельства;

дейктическое локативное значение = объект, существование которого утверждается,
ориентируется относительно говорящего и слушающего.

Дейктическая ориентация в таких предложениях выражается за счет выбора той или иной экзистенциальной связки:

- (45.Т) a. hit murad le-w=q'-un-ne te=w
вон Мурад PV-M-идти:IPF-PRS-CONV EXST-M
'Вон идет Мурад'.
b. hiž murad le-w=q'-un-ne le=w
вот Мурад PV-M-идти:IPF-PRS-CONV EXST-M
'Вот идет Мурад' (от меня к тебе).

Экзистенциальная связка маловероятна в тех формах вида-времени-модальности, которые несовместимы с подобными дейктическими интерпретациями, например, в формах с эвиденциальным значением:

- (46.Т) a. murad-li tupang q:uš-le-ħe=b b=alt-un-ne sa=j
Мурад-ERG ружье кошара-OBL-IN-N(ESS) N-оставлять:IPF-PRS-CONV COP-M
'Мурад (видимо) оставлял ружье в кошаре' [ружье поломали или с ним еще что-то случилось – наверное, потому, что Мурад оставлял ружье в кошаре].
b. *murad-li tupang q:ušleħe=b b=alt-un-ne le=b

Выражение информационной структуры

Как отмечено в разделе 2, предложения с экзистенциальным значением склонны иметь определенную информационную структуру: либо это тематические предложения, либо предложения с тематическими «сценическими» обстоятельствами (которые в этом случае занимают начальное положение в предложении). Несложно заметить, что

в ряде предложений значение экзистенциальных связок сводится к выражению такой информационной структуры.

- (47.Т) t:ura=b b=us-u-le te=b
 снаружи-N(ESS) N-идти(дождь):IPF-PRS-CONV EXST-N
 'На улице дождь'.
- (48.Т) mašina b=al-ʔaʔ-b=irk-u-le le=b-de
 машина N-работать-NEG-N-оказаться:IPF-PRS-CONV EXST-N-PST
 ʔaʔr.ʔaʔr-d=ik'-u-le q:ač-ne-ra le=t:c
 кричать-NPL-говорить:IPF-PRS-CONV теленок-PL-ADD EXST-NPL+PST
 'Сепаратор не работал, телята кричали'¹⁴.
- (49.Т) hil-t:-a-lla šiniš-se awlaq-ra le=b-de se-k'al
 тот-PL-OBL-GEN зеленый-ATR поле-ADD EXST-N-PST что-INDEF
 če-ʔaʔ-b-uq-un-se
 PV-NEG-N-идти:PF-PRET-ATR
 'У них были зеленые поля, которые никто не топтал' (= на которых не пасли скот).

Противопоставление предложений с различной информационной структурой хорошо заметно на примере высказываний о погоде, сравните:

- (50.Т) q:alaballe gur-r=ic:-e! beri ha-b=ulq-un-ne sa=b !
 быстро PV-F-стоять:PF-IMP солнце PV-N-идти:IPF-PRS-CONV COP-N
 'Вставай скорее! Солнце уже выходит!'
- (51.Т) beri ha-b=ulq-un-ne te=b!
 солнце PV-N-идти:IPF-PRS-CONV EXST-N
 [Говоришь, находясь в комнате:] 'Солнце уже выходит!'
- (52.Т) hajda š:it:i-r arɣ ʔaʔχ-se te=b ber-ra
 айда гулять-EL погода хороший-ATR EXST-N солнце-ADD
 ha-b=ulq-un-ne
 PV-N-идти:IPF-PRS-CONV
 'Пойди погуляй, погода стала хорошая, и солнце выходит'.

Экзистенциальная связка в восклицаниях

Неожиданным образом экзистенциальная связка появляется в восклицательных предложениях, и в глагольных и в именных, в том числе в тех, где экзистенциального значения не прослеживается.

- (53.Т) a. hiž dewgale q'ува-s:a=r
 этот очень красивый-ATR+COP-F
 'Она очень красивая' (выражение мнения).
 b. hiž dewgale q'ува-se le=r
 этот очень красивый-ATR EXST-F
 'Какая она красивая!' (восклицание)
- (54.Т) ʔaʔbra: r=ams:-ur-le le=r-da !
 INTERJ F-устать:PF-PRET-CONV EXST-F-1
 'Ох как я устала!'

¹⁴Пример из текста, переведенного Ю.А. Ландером.

Экскламатывы, как известно, описывают ситуацию, которая в норме известна обоим собеседникам¹⁵. Таким образом, их объединяет с тетическими декларативными предложениями отсутствие членения на тему и рему.

5. СОГЛАСОВАНИЕ СВЯЗКИ И КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Во многих работах отмечалось, что для дагестанских языков характерно использование синтаксических средств для выражения различных элементов коммуникативной структуры предложения. В частности, хорошо известно, что многие языки нахско-дагестанской семьи, не исключая и даргинского, используют морфосинтаксические средства для кодирования предложений с узким фокусом (см. [Казенин 1997; Kazenin 2002; Сумбатова 2004] и др.): в таких предложениях связка (характеризующая связка) ставится непосредственно после фокусной группы, а глагол принимает форму причастия:

(55.И) it-il ca=b s:ulehi b=elq'-un-ci
 он-ERG COP-N стекло N-разбить:PF-PRET-ATR
 'Это он окно разбил'.

Еще один синтаксический механизм выражения коммуникативной структуры предложения, широко используемый в различных даргинских диалектах, – выбор одной из нескольких конструкций предложения, для каждой из которых характерен определенный набор коммуникативных значений.

Например, в антипассивной конструкции два ядерных аргумента переходного глагола как бы меняются местами: А-аргумент кодируется абсолютивом, О-аргумент – эргативом. Антипассивная конструкция используется в ситуациях, когда А-аргумент обладает высокой степенью топикальности, а О-аргумент незначим для говорящего (как правило, он является неопределенным, нереферентным, множественным и т. п.). Помимо прагматической функции, антипассивная конструкция, как правило, имеет также определенные семантические особенности: глагол в антипассивной конструкции всегда несовершенного вида и при этом чаще получает хабитуальную интерпретацию.

(56.Т) a. murad-li t'ant'i=b qali b=irq'-u-le sa=j
 Мурад-ERG Танты-N(ESS) дом N-делать:IPF-PRS-CONV COP-M
 'Мурад строит дом в Тантах'.
 b. murad t'ant'i-w qul-r-a-li w=irq'-u-le sa=j
 Мурад(ABS) Танты-M(ESS) дом-PL-OBL-ERG M-делать:IPF-PRS-CONV COP-M
 'Мурад строит дома в Тантах (занимается строительством домов в Тантах)'.

Близкими свойствами обладает биабсолютивная конструкция, которая достаточно активно используется в мегебском диалекте, но, видимо, представлена и в других диалектах, хотя и не во всех видо-временных формах (в частности, зафиксирована в ицаринском).

Еще один механизм выражения коммуникативных значений – выбор контролера классного согласования связки. В ицаринском, кункинском, мегебском и некоторых других диалектах классное согласование всегда контролируется абсолютивной группой. В литературном даргинском, кубачинском, хуцуцком и тантынском (возможно, и

¹⁵С точки зрения Л. Михаэлис, пропозиция, выражаемая экскламативным предложением, обязательно содержит некоторый градуальный признак, так что предложение выражает эмоциональное отношение говорящего к степени проявления этого признака, «expression of affective stance towards the scalar effect...» [Michaelis 2001: 1041].

в других диалектах) характеризующая связка при переходных глаголах может согласовываться по классу как с абсолютивной (57b), так и с эргативной (57a) группой.

- (57.T) a. murad-li t'ant'i=b qali b=irq'-u-le sa=j
 Мурад-ERG Танты-N(ESS) дом N-делать:IPF-PRS-CONV COP-M
 b. murad-li t'ant'i=b qali b=irq'-u-le sa=b
 Мурад-ERG Танты-N(ESS) дом N-делать:IPF-PRS-CONV COP-M
 'Мурад строит дом в Тантах'.

Рассмотрим ситуацию в тантынском диалекте. Поскольку классное согласование в даргинском в целом ориентировано на абсолютивный аргумент, сама по себе возможность согласования с эргативом требует объяснений. При этом именно согласование связки с эргативом является в тантынском диалекте более частотным и наиболее нейтральным с точки зрения носителей языка.

В работе [van den Berg 2001: 42] говорится (об акушинском диалекте), что в конструкциях, где связка согласуется с абсолютивом, подчеркивается топиальность абсолютивной именной группы. По-видимому, для тантынского верно даже более общее утверждение: контроль классного согласования связки здесь осуществляет тот из ядерных аргументов глагола, который обладает большей степенью топиальности. У переходного глагола это в большинстве случаев агенс, отсюда и преобладание конструкций с эргативным контролем связки. Однако в тех ситуациях, когда высокой степенью топиальности обладает пациенс, он может перехватывать контроль согласования:

- (58.T) a. se-li-ž ʔaʼ-li ʔe-la χe it-u-se-de ?
 что-OBL-DAT ты-ERG ты-GEN собака бить-PRS-ATR-2
 hit-i-li di-la uc:i uc-ib-le sa=b/*sa=j
 тот-OBL-ERG я-GEN брат ловить:PF-PRET-CONV COP-N/*COP-M
 'Почему ты бьешь свою собаку? – Она укусила моего брата' (контролер согласования в ответе – именная группа-агенс 'собака').
 b. ʔe-la uc:i-li-ž se b=it-arg-ur-se ?
 ты-GEN брат-OBL-DAT что N-PV-идти:PF-PRET-ATR
 hit χe-li uc-ib sa=j/*sa=b
 тот собака-ERG ловить:PF-PRET COP-M/*COP=N
 'Что случилось с твоим братом? – Его укусила собака' (контролер согласования в ответе – именная группа-пациенс – указательное местоимение, антецедентом которого является именная группа 'твой брат').

В примере (58a) более топиальным является А-аргумент (эргатив), поэтому единственно возможной оказывается конструкция с расщепленным контролем согласования (согласование связки контролируется эргативом); в предложении (58b) высокой степенью топиальности обладает абсолютив, который и становится единственно возможным или по крайней мере предпочитаемым контролером согласования связки.

Другой пример – из записанного нами в селении Танты устного текста (рассказчик – Али Курбанов). Приведем начало рассказа в переводе:

Три человека отправились в хадж, два муллы и один вор. Шли-шли, дошли до одного селения, стемнело. Не знали, где переночевать. Два муллы и раньше ходили в хадж, (в селении) они отделились и пошли к своим знакомым, богатым людям.

Примеры (59–63) содержат продолжение рассказа.

- (59.T) dawla.če=b-t-a-li qulki q'abul-ʔaʼrq-ib-le sa=j
 богач-N-PL-OBL-ERG вор прием.NEG+делать:PF-PRET-CONV COP-M
 hiž miskin-se sa=j ible
 этот бедный-ATR COP-M CIT
 'Вора богачи не приняли, потому что он был бедный'.

Таким образом, оба типа даргинских связок могут контролироваться как эргативной, так и абсолютивной именной группой, однако идентифицирующая связка чаще получает эргативный контроль, а экзистенциальные связки почти всегда контролируются абсолютивом. Мы считаем, что это различие обусловлено семантическими свойствами двух типов связок: контролер согласования характеризующей связки – топикальная именная группа, контролер согласования экзистенциальной связки – та именная группа, существование референта которой утверждается в предложении. Естественно, что если топиком при переходном глаголе гораздо чаще является эргатив, то утверждение о существовании гораздо более характерно для пациентивных, а следовательно – абсолютивных именных групп.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ СВЯЗОК

Ядерная часть значения связок, видимо, совпадает в обоих диалектах. Экзистенциальные связки выражают идею существования. Значение характеризующих связок еще более абстрактно: они превращают в предикат ту группу, к которой относятся. Так возникают предикаты со значением свойства, вхождения в класс, местонахождения, идентичности и т. п. (см. примеры в разделе 2).

Однако границы употребления связок в ицаринском и тантынском устроены по-разному.

Ицаринский

Экзистенциальные связки имеют четкую семантику и по дистрибутивным свойствам близки к глаголам (хотя отличаются от них морфологической структурой и не образуют видовых пар). В частности, они сочетаются с другими предикативными показателями, а их нефинитные репрезентации образуют аналитические конструкции той же структуры, что и глаголы (хотя у связочных элементов таких конструкций меньше, чем у глаголов). Употребление экзистенциальных связок не ограничено декларативными предложениями – они возможны также и в вопросах.

Характеризующая связка не имеет нефинитных форм и не образует глагольных конструкций. Она допустима только в декларативных предложениях, причем возможность ее употребления в них задается четкими формальными правилами (см. раздел 3).

Есть большой соблазн считать, что характеризующая связка в ицаринском является носителем значения утверждения (декларативности): во всяком случае, там, где значение утверждения отсутствует, характеризующая связка невозможна. Такой подход может объяснить отсутствие связки в вопросительных предложениях и предложениях с актуализующими частицами. Однако, как мы знаем, связка невозможна также в присутствии клитических показателей лица или клитики прошедшего времени. Можно либо считать, что выражение значения утверждения блокируется в присутствии этих клитик, либо приписать связке также выражение значений третьего лица и/или настоящего времени (например, в работе [Sumbatova, Mutalov 2003] мы считали связку носителем значения презенса).

В ицаринском, однако, имеется несколько глагольных форм, которые, по крайней мере на первый взгляд, характерны для декларативных предложений и при этом не могут употребляться с характеризующей связкой (подробнее в работе [Sumbatova in print]). Таким образом, между употреблением связки и выражением декларативности имеется жесткая, но односторонняя зависимость.

Тантынский

Употребление связок в тантынском в меньшей степени определяется формальными запретами и в большей степени – семантикой, чем в ицаринском.

Характеризующая связка употребляется в декларативных и вопросительных предложениях расчлененной структуры, то есть в предложениях, в которых выделяется тема

и рема (топик и фокус). Похоже, что наиболее удачным определением функции характеризующей связки в тантынском будет примерно такое: связка выражает наличие суждения о некотором субъекте – в классическом, логическом понимании обоих этих терминов. Она используется там, где делается утверждение или задается вопрос о свойствах, состоянии, действиях и т. п. некоторого субъекта.

Характеризующая связка не используется, в частности, в императивных и оптативных высказываниях – здесь употребляются финитные глагольные формы, не допускающие присоединения связок; в восклицательных – характеризующую связку в них заменяет экзистенциальная. Связки также несовместимы с некоторыми глагольными формами – это формы будущего времени и формы с хабитуальным значением. Характеризующие связки, как мы знаем, нехарактерны для тех декларативных предложений, где ядерные аргументы главного предиката являются частью ремы, в том числе для предложений нерасчлененной структуры (тетических).

Экзистенциальные связки в тантынском имеют более широкую область применения по сравнению с ицаринским диалектом – они замещают характеризующую связку в тех предложениях, где связка необходима синтаксически (в именных предложениях и в глагольных предложениях с аналитическими формами глагола), однако нет семантических оснований для употребления характеризующей связки.

Таким образом, несмотря на близость значения и совпадение ядерной части функций характеризующих и экзистенциальных связок в обоих рассмотренных диалектах, между ними наблюдаются довольно существенные различия в употреблении, которые в общих чертах сводятся к следующему.

В обоих диалектах есть типы клауз, которые формально требуют присутствия связки. Это именные предложения (за некоторыми небольшими исключениями, которые мы здесь не обсуждаем) и глагольные предложения с аналитическими формами (которые составляют абсолютное большинство финитных форм в обоих диалектах).

В ицаринском диалекте экзистенциальные связки употребляются тогда и только тогда, когда для этого есть семантические причины, то есть в именных предложениях с экзистенциальным значением. В этом отношении экзистенциальные связки в ицаринском подобны глаголам. Характеризующая связка в этом диалекте представляет собой сильно грамматикализованный служебный элемент, принадлежащий классу предикативных маркеров. Именно она употребляется во всех тех случаях, когда присутствие связки требуется формально, а семантических оснований для употребления экзистенциальных связок нет.

В тантынском диалекте картина почти противоположная: характеризующая связка употребляется тогда, когда для этого есть семантические (точнее, прагматические) основания – определенный тип предложения и расчлененная коммуникативная структура. В тех же случаях, когда связка формально необходима, а условий для употребления характеризующей связки нет, ее место занимает одна из экзистенциальных связок. Именно с этим связано то обстоятельство, что значение экзистенциальных связок в тантынском гораздо более размыто, чем в ицаринском.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абдуллаев 1954 - С.Н. Абдуллаев. Грамматика даргинского языка (фонетика и морфология). Махачкала, 1954.
- Казенин 1997 – К.И. Казенин. Синтаксические ограничения и пути их объяснения: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.
- Калинина 1999 – Е.Ю. Калинина. Предложения с именным сказуемым // Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М., 1999.
- Коряков 2006 – Ю.Б. Коряков. Атлас кавказских языков. М., 2006.
- Магомедов 1963 – А.А. Магомедов. Кубачинский язык. Тбилиси, 1963.
- Магомедов 1982 - А.А. Магомедов. Мегебский диалект даргинского языка. Тбилиси, 1982.

- Сумбатова 2004 – *Н.Р. Сумбатова*. Коммуникативные категории и система глагола (о некоторых типологических особенностях дагестанского глагола) // В.С. Храковский, А.Л. Мальчуков, С.Ю. Дмитренко (ред.). 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе. М., 2004.
- Сумбатова 2008 – *Н.Р. Сумбатова*. Личное согласование и личные иерархии в нахско-дагестанских языках // Труды Института лингвистических исследований. СПб., 2008. Т. IV. Ч. 2.
- Темирбулатова 2004 – *С.М. Темирбулатова*. Хайдакский диалект даргинского языка. Махачкала, 2004.
- Услар 1892 – *П.К. Услар*. Этнография Кавказа. Языкознание. V. Хюркилинский язык. Тифлис, 1892.
- Andréasson 2007 – *M. Andréasson*. The architecture of I-structure // Butt, Miriam and Tracy Holloway King (eds.). Proceedings of the LFG07 conference. CSLI publications. Chicago, 2007.
- van den Berg 2001 – *H. van den Berg*. Dargi folktales. Oral stories from the Caucasus and an introduction to Dargi grammar. Leiden, 2001.
- Hengeveld 1992 – *K. Hengeveld*. Non-verbal predication: theory, typology, diachrony (Functional grammar series 15). Berlin, 1992.
- Kazenin 2002 – *K.I. Kazenin*. Focus in Daghestanian and word order typology // Linguistic typology. 6. 2002. № 3.
- Lambrecht 1994 – *K.P. Lambrecht*. Information structure and sentence form (Cambridge studies in linguistics 71). Cambridge, 1994.
- Michaelis 2001 – *L.A. Michaelis*. Exclamative constructions // M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, W. Raible (eds.). Language typology and language universals. An international handbook. V.2. Berlin; New York, 2001.
- Sumbatova in print – *N.R. Sumbatova*. Person hierarchies and the problem of person marker origin in Dargwa: facts and diachronic problems. In print.
- Sumbatova, Mutalov 2003 – *N.R. Sumbatova, R.O. Mutalov*. A grammar of Içari Dargwa. (Languages of the Worlds/Materials 92.) München, 2003.

СОКРАЩЕНИЯ

I, 2	– показатели лица	НИТНЕР	– движение по направлению к говорящему
1/2PL	– согласовательный класс 1–2 лица множественного числа	IN	– локализация ‘внутри’
ABS	– абсолютив	INF	– инфинитив
ADD	– аддитивная частица	INTERJ	– междометие
ADV	– показатель наречия	IPF	– несовершенный вид
ATR	– атрибутивная (причастная) форма, показатель полных прилагательных и причастий	IQ	– показатель косвенного вопроса
CAUS	– каузатив	M	– мужской согласовательный класс
CIT	– цитативный показатель	N	– неличный согласовательный класс
COMIT	– комитатив	NEG	– отрицание
CONV	– деепричастие	NPL	– неличный множественный класс
COP	– характеризующая связка	OBL	– косвенная основа
DAT	– датив	PF	– совершенный вид
EL	– элатив	PL	– множественное число
ERG	– эргатив	POT	– основа потенциалиса
ESS	– эссив	PQ	– показатель общего вопроса
EXST	– экзистенциальная связка (различия по локализации в глоссах не отражены)	PRS	– презенс
F	– женский согласовательный класс	PRET	– претерит
GEN	– генитив;	PRG	– основа прогрессива
NPL	– личный множественный согласовательный класс	PST	– прошедшее время
		PV	– преверб
		Q	– показатель частного вопроса
		SG	– единственное число
		SUPER	– локализация ‘на’ (‘супер’)
		TH	– показатель «тематической» основы

Знак «=» отделяет классный показатель от морфемы, требующей его присутствия.
И – ицаринский диалект, Т – тантынский диалект.

© 2010 г. В.Ф. ВЫДРИН

«НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВИД» В ДАН-ГУЭТА И АКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ*

В статье рассматривается семантика дефолтной аспектуальной конструкции в языке дан-гуэта (< южные манде < манде < нигер-конго). В этом языке значения вида, времени, модальности и полярности выражаются совокупно местоименным предикативным показателем и формой глагола. Конструкция «нейтрального вида», в зависимости от лексической семантики глагола, от наличия дополнений и сирконстантов, от прагматического статуса актантов, может выражать богатый спектр аспектуальных значений: хабитуалис, статив, контрфактив, прогрессив, имперфект, результатив / перфект и комплетив, при том что в языке имеются и специализированные конструкции для большинства из этих значений. Обсуждаются возможные трактовки ядерной семантики нейтрального вида и его происхождение.

1. ВВЕДЕНИЕ: ВИДО-ВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДАН-ГУЭТА

В дан-гуэта¹ имеется аспекто-темпоральная конструкция, которая оказывается «дефолтной» в отношении своей видовой семантики. В отношении формы эта конструкция не является немаркированной: ее показателями служат, во-первых, экзистенциальная серия местоименных предикативных показателей² (которые употребляются также в неглагольных предложениях, дуративе и результативе); во-вторых, мена тона глагольной основы на ультранизкий (например, *sɔ* 'распространяться' → *sɛ* 'распространять-

* Данное исследование проведено в рамках проекта «Интегральное описание южных языков манде: словари, грамматики, корпуса глоссированных текстов». Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственный контракт № 02.740.11.0595). Я хочу выразить благодарность моему основному информанту по дан-гуэта Кесегбы Моньяну (Альфону), чье терпение и преданность делу сделали возможным осуществление данного исследования. Я также признателен сотруднице Летнего лингвистического института Маргрит Боли и профессору Цюрихского университета Томасу Беарту за их поддержку, без которой ежегодные экспедиции российских лингвистов в Кот-д'Ивуар вряд ли были бы возможны. В написании этой статьи мне помогли ценные замечания, высказанные моими товарищами по лингвистическим экспедициям в Гвинею и Кот-д'Ивуар и по семинару по языкам манде (Н.В. Макеевой, Е.В. Перехвальской, М.Б. Коношенко и другими), участниками типологического семинара в отделе типологии Института лингвистических исследований в Петербурге (В.С. Храковским, С.С. Сасм, Д.В. Герасимовым и другими), московскими коллегами-типологами (Н.Р. Сумбатовой, В.А. Плунгяном), а также анонимным рецензентом. Разумеется, ответственность за все недостатки этой работы лежит на авторе.

¹ Язык дан (< южные манде < манде < нигер-конго) распространен на западе Кот-д'Ивуара и на севере Либерии, на нем говорит более одного миллиона человек.

² Местоименные предикативные показатели (МПП) в дан представляют собой класс служебных слов, занимающих позицию перед прямым дополнением (если глагол переходный) или непосредственно перед глаголом (если он непереходный) и являющихся вершиной глагольной группы. В МПП выражается лицо и число подлежащего, а также различные грамматические значения, традиционно считающиеся глагольными (вид, наклонение, полярность). Позиция подлежащего – перед МПП, однако очень часто подлежащее оказывается нулевым.

ся\NTR')³. Впрочем, в сравнении с другими видовыми и модальными конструкциями этого языка она вполне может считаться «минимально маркированной», поскольку экзистенциальные предикативные показатели оказываются, с точки зрения их формы, первичными по отношению ко всем остальным сериям, в их составе не выделяется никакого сегментного или супрасегментного элемента, который можно было бы считать носителем грамматической семантики этой серии. В дальнейшем я буду называть «дефолтную» аспектно-темпоральную конструкцию в дан «конструкцией нейтрального вида» или просто «нейтральным видом»⁴.

Прежде чем перейти к рассмотрению употребления и грамматической семантики нейтрального вида, ознакомимся с другими глагольными категориями, составляющими видо-временную систему в дан-гуэта:

– перфект, образуется при помощи перфектной серии местоименных предикативных показателей, глагол сохраняет лексический тон:

(1a) *Yà nɔ zũ.*
3SG.PRF ребенок мыть
'Она вымыла ребенка'.

– дуратив, образуется экзистенциальной серией местоименных предикативных показателей и суффиксом *-sĩl̄*, присоединяемым к основе глагола (с лексическим тоном):

(1б) *Yũ nɔ zũ-sĩl̄.*
3SG.EXI ребенок мыть-DUR
'Она моет ребенка (сейчас)'.

– результатив, образуется экзистенциальной серией местоименных предикативных показателей и герундием смыслового глагола (основа глагола с клитикой *sũ*), за которым следует комитативно-инструментальный послелог *ká*:

(1в) *Yũ nɔ zũ-sũ ka.*
3SG.EXI ребенок мыть-GER с
≈ 'У нее ребенок вымыт'.

– проспектив, образуется проспективной серией местоименных предикативных показателей, глагол сохраняет лексический тон:

(1г) *Yũũ nɔ zũ.*
3SG.PROS ребенок мыть
'Она собирается мыть ребенка', 'Она будет сейчас мыть ребенка'.

– будущее время, образуется формой вспомогательного глагола *dõ* (исходное значение которого – 'идти') нейтрального вида (экзистенциальный местоименный предикативный показатель + *dõ*) и инфинитивом смыслового глагола (показателем инфинитива является ультранизкотоновый суффикс, в данной работе маркируемый как апостроф после соответствующего слова):

(1д) *Yũ dõ nɔ zũ-'*
3SG.EXI идти\NTR ребенок мыть-INF
'Она вымоет ребенка'.

³ Для записи примеров на дан-гуэта в статье используется орфография, близкая к «африканскому варианту» МФА, в котором палатальный сонант обозначается графемой *y*. Тоны обозначаются также в соответствии с МФА (на примере гласной *a*): *ā* сверхвысокий, *a* высокий, *ǎ* средний, *à* низкий, *ã* ультранизкий, *â* высоко-падающий, *á* средне-падающий.

⁴ Таким образом, употребляя термин «нейтральный вид», я не имею в виду, что эта конструкция «не имеет грамматического значения»; можно сказать, что значение нейтрального вида оказывается совокупностью различных аспектуальных значений, которые могут выразиться конструкцией нейтрального вида.

– ретроспективная конструкция, образуется введением в конструкцию нейтрально-го вида показателя *kā* (в позицию после местоименного предикативного показателя):

(1e) *Yŕ kā nā zū.*
3SG.EXI RETR ребенок мыть\NTR
'Она мыла ребенка' (когда-то).

Изучение грамматической семантики этой конструкции требует дополнительных усилий. Следует лишь отметить, что фактически значение этой конструкции не всегда ретроспективное или отмененного результата; нередко она выражает и «недавнее прошедшее», обозначая действие, сохраняющее в какой-то мере свою актуальность в момент речи:

(2) *Yŕ kā nāllā mū kēē yíí kṙā ā bā.*
3SG.EXI RETR гулять\NTR там но 3SG.PRF.NEG видеть 3SG.NSBJ на
'Он там гулял, но его не видел' (и этот факт сохраняет актуальность).

Следует упомянуть также «сопряженную конструкцию», образуемую особой серией местоименных предикативных показателей («сопряженных») и морфемой-операцией – изменением тона глагола (в сторону понижения) по особой схеме. Значение этой конструкции не видовое, а скорее синтаксическое: она маркирует синтаксически связанный статус предикации (релятивная клауза; вторая и последующая предикация в нарративе; предикация при вынесенной влево фокализованной ИГ и др.) и является в какой-то степени аналогом нейтрально-видовой конструкции в соответствующих контекстах (см. исследование, посвященное семантике «сопряженных конструкций» в близкородственном языке *кла-дан* в работе [Максева, в печати]).

Отметим также, что в данной работе речь идет лишь об аффирмативной части аспекто-темпоральной системы *дан-гуэа*. Ее негативная часть, особенно в центральном секторе системы, оказывается устроенной асимметрично аффирмативной, и распределение негативных конструкций подчиняется иной логике.

2. СЕМАНТИКА НЕЙТРАЛЬНОВИДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Нейтрально-видовая конструкция может передавать следующие грамматические значения (которые будут проиллюстрированы ниже):

- *хабитуалис*⁵;
- *статив*;
- *иррелятивное условие* в контрфактивной конструкции;
- *прогрессив*;
- *имперфект* («действие совершалось в прошлом и не было закончено – во всяком случае, о его окончании неизвестно»);
- *результатив / перфект*;
- *комплетив* («действие совершено за указанный промежуток времени»).

Таким образом, получается, что, во-первых, нейтральный вид совмещает весьма различные (если не сказать, полярные) грамматические семемы, а во-вторых, во многих своих значениях (*прогрессив*, *результатив / перфект*, в определенной мере *комплетив*) он оказывается в зоне конкуренции с другими, «специализированными» конструкциями.

⁵ В данном исследовании не проводится различия между разновидностями *хабитуального* значения, например, такими, как «генерический вид – *хабитуалис*» (*generic – habitual*), о которых идет речь у Э. Даля [Dahl 1995: 420–424], т. е. между потенциальным или итеративным *хабитуалисом*; как представляется, для выявления важных для видовой системы *дан-гуэа* противопоставлений эти семантические различия оказываются нерелевантными.

Какие факторы влияют на выбор значения нейтрального вида в конкретных случаях? Для их выявления я проверил все глаголы из дан-французского словаря [Vydrine, Mongnan 2008] (а также некоторое количество глаголов, в опубликованную версию словаря не попавших) в каждом из их лексических значений на возможность их употребления в нейтрально-видовой конструкции в каждом из перечисленных выше значений⁶. Проверка проводилась способом элицитации с моим основным информантом, Кесе Моньяном, причем осуществлялась она рекурсивно: при выявлении новых типичных контекстов для того или иного аспектуального значения мы возвращались к началу списка. Таким образом мы прошли по всему глагольному списку не менее трех раз, и можно надеяться, что, при всех неизбежных пропусках, главные тенденции выявить все же удалось⁷.

Как выяснилось, основными факторами можно считать следующие.

Во-первых, это лексическая семантика глагола, точнее, его акциональное значение.

Во-вторых, это наличие не прямых и косвенных дополнений, обстоятельств, синтаксических константов.

В-третьих, на аспектуальную семантику нейтрального вида может влиять прагматический статус актантов глагола, в первую очередь прямого дополнения – наличие при нем определенного артикля, дейктика или фокусирующей частицы. Ср., в частности, следующие предложения:

(3a) *Ỵṣ dũ pē gbēñ.*
3SG.EXI дерево пилить\NTR ночь
'Он пилит дерево по ночам' (хабитуалис).

(3b) *Ỵṣ dũ bā ā pē gbēñ.*
3SG.EXI дерево ART 3SG.NSBJ пилить\NTR ночь
'Он распилил дерево ночью' (комплетив).

(4a) *Wō sō dōō ā gā kṣ wó ā dō.*
3PL.EXI ткань ART 3SG.NSBJ смотреть\NTR чтобы 3SG.OPT 3SG.NSBJ покупать
'Они смотрят ткань (о которой шла речь), чтобы купить ее' (прогрессив).

(4b) *Wō sō yā nā ā gā kṣ wó ā*
3PL.EXI ткань этот FOC 3SG.NSBJ смотреть\NTR чтобы 3SG.JNT 3SG.NSBJ
dō.
покупать.JNT

'Именно эту ткань они посмотрели, чтобы купить ее' (результатив / перфект; отметим, что предложения (4a) и (4b) различаются и глагольной конструкцией второй клаузы – оптативной в первом случае, сопряженной во втором).

(5a) *Ỵṣ mlũ bā ā klōō yāā dīṣ.*
3SG.EXI рис ART 3SG.NSBJ молотить вчера
'Она обмолотила рис вчера' (комплетив).

⁶ Следует оговориться, что в качестве базовой единицы при этом исследовании берется не глагол, а отдельное лексическое значение глагола, поскольку у полисемичного глагола каждое значение имеет свой индивидуальный набор интересующих нас характеристик и может отличаться от остальных значений этого же глагола не в меньшей степени, чем от значений другого глагола. Такое отдельное значение глагола в Московской семантической школе принято называть «лексема» [Анресян 2005: 4]. Всего в мосм списке оказалось таких 305 «лексем». Далее в тексте «омонимичные лексемы» (т.е. разные значения полисемичного глагола) будут различаться арабскими цифрами, например: б5-2 'быть похожим', б5-3 'протекать, течь'.

⁷ Я не думаю, что в данном случае привлечение к работе других информантов дало бы качественно иной результат, даже исходя из практических соображений: проверка глагольного списка только с одним высококвалифицированным информантом заняла у меня примерно два с половиной месяца экспедиционного времени (при 7-часовом рабочем дне). Ясно, что работа с менее квалифицированным информантом шла бы существенно медленнее, а ее результаты были бы не более надежными.

Альтернативой подобной рекурсивной элицитации могла бы быть проверка по представительному электронному корпусу текстов, но в настоящее время такой корпус слишком мал, чтобы можно было надеяться на какие-то удовлетворительные результаты.

- (56) *Yǝ mlũ klõd̃ yāq̃d̃ĩǝ.*
 3SG.EXI рис молотить вчера
 ‘Она молотила рис вчера’ (и, по-видимому, работа не была доведена до конца – имперфект).
 Наконец, совсем нередкой оказывается ситуация, когда одна и та же нейтрально-видовая конструкция допускает двойную интерпретацию, например:

- (6) *Yǝ bāā bā ā wõ yāq̃d̃ĩǝ.*
 3SG.EXI маниока ART 3SG.NSBJ извлекать\NTR вчера
 1) ‘Вчера он копал маниоку’ (имперфект).
 2) ‘Вчера он выкопал маниоку’ (комплетив).
- (7) *Yǝ slãã ǝ guí kótã sããdũ yī guí.*
 3SG.EXI поворачивать\NTR REFL.SG в раз пять сон в
 1) ‘Он повернулся пять раз во время сна’ (перфект).
 2) ‘Он, пока спит, поворачивается по пять раз’ (хабитуалис).

3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НЕЙТРАЛЬНОВИДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

Рассмотрим более внимательно условия, в которых реализуется каждое из перечисленных выше значений нейтрального вида.

Сразу оговоримся, что некоторые глаголы, по-видимому, не способны употребляться в нейтрально-видовой конструкции. Они весьма немногочисленны и распадаются на две группы. Это, во-первых, примерно половина глаголов второй степени редупликации: *gblāãgblāã* ‘орать’, *wĩũwĩũ* ‘переломаться (во многих местах)’, *yēũyēũ* ‘переломаться (о многих объектах)’⁸; во-вторых, это несколько превербных глаголов: *yãã-bõ* ‘мстить за’, *zõ-bǝ* ‘вспоминать’, *tã-sēẽ* ‘чувствовать тошноту’. Мой информант не смог образовать нейтральный вид также от глагольных лексем *sõ* ‘стремительно распространяться’ и *flēẽ* ‘щипать’ (грудь при кормлении – о младенце).

3.1. Хабитуалис

Хабитуалис можно считать базовым значением нейтрально-видовой конструкции. Именно хабитуальное прочтение принимается, как правило, при минимизации контекста (в отсутствие сирконстантов; в отсутствие детерминативов при пациенсе):

- (8) *Yǝ bõ bǝ.*
 3SG.EXI свинья есть\NTR
 ‘Он ест свинину’ (т. е. свинья не является его тотемным животным; он не мусульманин).

Ср. фразу, в которой пациенс фокализован:

- (9) *Yǝ máŋglõõ krõ nɔ ā bǝ.*
 3SG.EXI манго незрелый FOC 3SG.NSBJ есть\NTR
 ‘Он съел незрелый манго’ (результатив: «...и теперь у него расстройство желудка» и т. п.).

Нередко хабитуальное прочтение оказывается альтернативным какому-то иному, ср. пример (7).

⁸ В то же время глаголы-редупликации второй степени *rēẽrēẽ* ‘трескаться повсюду’, *kāãakāã* ‘пилить на куски’, *kwāãkwāã* ‘выскрести начисто’ в нейтральном виде употребляются. Редупликация характерна для очень небольшого числа глаголов дан-гуэста, она выражает интенсивно-мультипликативное значение и имеет две ступени. Редупликации первой ступени образуются удвоением корневой гласной и меной тона, редупликации второй ступени – полным повтором формы редупликата первой ступени: *rē* ‘трескаться’ → I. *rēẽ* ‘трескаться во многих местах’ → II. *rēẽrēẽ* ‘трескаться повсюду’.

В то же время нейтрально-видовая конструкция у подавляющего большинства глаголов, наряду с хабитуальным, может выражать и другие аспектуальные значения – исключений (т. е. глаголов, нейтральный вид которых может выражать только хабитуалис) оказывается меньше 10% от всего списка: *bū* ‘растить’, *bā* ‘плодоносить’, *bā-2* ‘быть похожим’, *bā-3* ‘протекать, течь’, *dī* ‘давать хороший урожай’, *kǎ* ‘быть ловким’, *krǎ* ‘прокисать’, *kplā* ‘слушаться кого-л.’, *gú-sǔ* ‘жевать’, *mǎ* ‘наводнять’, *rēē* ‘сильно трескаться’; ‘прокалывать многократно’, *pī* ‘болеть у кого-л.’, *pǎ* ‘булькать’, *tā-1* ‘ходить’, *tā-2* ‘топтать’, *tǎ* ‘устраиваться, располагаться’, *wlǎ* ‘отправляться’, *yǎ-2* ‘оказываться’, *yǎ-3* ‘находить’, *yǎ-4* ‘начинать’, *yǎ-5* ‘достигать, добиваться’, *zǎgú-kā* ‘сортировать’, *zī* ‘ехать, ездить’, *zǎ* ‘заикаться’, *zū-2* ‘начинать’.

Как легко убедиться, по своей лексической семантике эти глаголы не образуют какой-либо гомогенной группы: в этом небольшом списке оказываются как динамические, так и стативные глаголы, как предельные, так и неопредельные.

3.2. Стативное значение

Стативное значение нейтрального вида реализуется только на небольшой группе лексически-стативных глаголов: *sì* ‘быть достаточным’, *mǎ* ‘мочь’, *kǎ* ‘удивляться’, *bā-2* ‘течь, протекать (о сосуде)’. В этой же группе оказываются некоторые глаголы, описывающие положение тела в пространстве: *gblǎ* ‘лежать ничком’, *dǎ* ‘стоять’, *tǎ* ‘опираться’ и т. п. Для последних стативное прочтение может быть альтернативным результативному:

- (10) *Pǎāgbǎ* *yǎ* *tǎ* *kǎ-bǎ* *gú* *kǎ* *ǎ*
 Пиагбы 3SG.EXI опираться\NTR дом-стена в чтобы.3SG.JNT REFL.SG
ǎ-nǎ *bǎ* *pǎ*.
 воздух-ДИМ другой наполнить
 1) ‘Пиагбы опирается о стену дома, чтобы немного отдохнуть’.
 2) ‘Пиагбы оперся о стену дома, чтобы немного отдохнуть’.

Хабитуальное и стативное значения в совокупности оказываются возможными почти для всех глаголов; мне удалось обнаружить только одно исключение: *tǎ* ‘трясти’ (при том что этот глагол употребляется в нейтральном виде в прогрессивном и имперфектном значениях).

3.3. Ирреальное условие в контрфактивной конструкции

Для реализации ирреального значения в предложении обязательно должна присутствовать частица нереального условия *nǎ* (в других контекстах выражающая значение ‘уже’):

- (11) *Yǎ* *bédē* *bǎ* *ǎ* *mǎ* *nǎ* *yǎ* *gǎ*
 3SG.EXI лекарство ART 3SG.NSBJ пить\NTR уже 3SG.NEG.IPFV БЫТЬ.PST
yǎ *gǎ*.
 3SG.PROS умирать
 ‘Если бы он выпил это лекарство, он бы не умер’.
- (12) *Yǎ* *bǎ* *yǎ* *ǎ* *dǎ* *krǎ-* *ǎ* *bǎ* *nǎ*.
 3SG.EXI проходить\NTR здесь 1SG.EXI идти\NTR видеть-INF 3SG.NSBJ на уже
 ‘Если бы он прошел здесь, я бы его увидел’.

Это значение отмечено почти для всех глаголов – информант признал его невозможным лишь для 16 лексем, т. е. для 5% от моей выборки.

3.4. Прогрессив

Прогрессив нередко оказывается альтернативным прочтением наряду с хаби-туалисом или результативом / перфектом:

- (13) *Yǝ̄ ǝ̄ zlǝ̄ǝ̄ ǝ̄ dǝ̄ yǝ̄ǝ̄.*
 3SG.EXI REFL.SG двигаться.медленно\NTR REFL.SG. сам глаза.COM
 1) 'Он нарочно сдет медленно' (прогрессив).
 2) 'Он нарочно ездит медленно' (хаби-туалис).
- (14) *Yǝ̄ yǝ̄ǝ̄ yā ā zlǝ̄ǝ̄ ǝ̄ zǝ̄ǝ̄ dǝ̄.*
 3SG.EXI хлопок этот 3SG.NSBJ прясть\NTR REFL.SG дед для
 1) 'Она прядет этот хлопок для своего деда' (прогрессив).
 2) 'Она спряла этот хлопок для своего деда' (результатив / перфект).

Один из наиболее характерных контекстов, в котором реализуется прогрессивное значение нейтрального вида, без всякой возможности альтернативного прочтения, - наличие зависимой клаузы с целевым значением, вводимой союзом *kǝ̄* 'чтобы', при этом клауза, включающая нейтрально-видовую конструкцию, чаще всего заканчивается наречием *dǝ̄ǝ̄* 'так'⁹:

- (15) *Yǝ̄ sǝ̄ǝ̄ dǝ̄uū dǝ̄ kǝ̄ fǝ̄ǝ̄ yá dǝ̄ dǝ̄-'*
 3SG.EXI огонь гасить\NTR так чтобы ветер 3SG.PRN идти идти-INF
ā kláǝ̄-nū ká.
 3SG.NSBJ искра-PL с
 'Он тушит (в данный момент) огонь, чтобы ветер не разнес искры'.

В этом контексте могут употребляться только глаголы, обозначающие намеренные действия. Вероятно, намеренность действия вообще является важной предпосылкой для того, чтобы в нейтральном виде могло реализоваться прогрессивное значение, - впрочем, из этого правила можно найти и исключения:

- (16) *Yǝ̄-gā yā yǝ̄ bǝ̄ǝ̄ ñ gú vǝ̄ǝ̄dǝ̄.*
 вода-кость этот 3SG.EXI сохнуть\NTR 1SG.NSBJ в быстро
 'По-моему, эта река быстро пересыхает'.

Второй важнейшей предпосылкой реализации прогрессивного значения оказывается акциональная семантика глагола: оно не сочетается (или очень плохо сочетается) с сильно предельными и моментальными значениями. У большинства глаголов этих акциональных классов нейтральный вид не может выражать прогрессивного значения (*zǝ̄ǝ̄* 'ударять', *zǝ̄* 'достигать', *zǝ̄* 'убивать' и т. д.), в крайнем случае, значение оказывается скорее мультипликативным:

- (17) *Wǝ̄ wǝ̄ kó blǝ̄ kǝ̄ wǝ̄ wǝ̄ kó gǝ̄.*
 3PL.EXI REFL.PL RCPR толкать\NTR чтобы 3PL.OPT REFL.PL RCPR ранить
 'Они толкают друг друга (сейчас), чтобы ранить друг друга'.

Референтный статус прямого дополнения на возможность реализации прогрессивного значения, по-видимому, влияет слабо.

Пересечение этих условий в целом задает рамки прогрессивного значения нейтрального вида. Впрочем, эти факторы следует рассматривать скорее как тенденции, чем как жесткие правила, поскольку имеются глагольные лексемы, которые, казалось бы, вышесреченным условиям вполне соответствуют, однако прогрессивного значения в нейтральном виде не реализуют - по-видимому, в таких случаях речь идет об ограничениях лексического характера.

Представляется, что во всех случаях нейтральный вид в прогрессивном значении может быть заменен на дуративную конструкцию (с глагольным суффиксом *sǝ̄l*), при этом

⁹ Впрочем, в некоторых случаях альтернативные прочтения оказываются возможны и в таком контексте.

никакого изменения грамматической семантики обнаружить не удастся, если отвлечься от снятия грамматической омонимии, нередко характерной для нейтрального вида. Дуратив на *sīl̄*, по-видимому, возможен для всех глаголов, в отличие от «нейтрально-видового прогрессива», который удалось образовать лишь от 133 глагольных лексем (из 305).

Следует отметить также, что даже для тех глагольных лексем, у которых нейтрально-видовой прогрессив оказался возможен, информант часто порождает соответствующие фразовые примеры с большим трудом, отмечая при этом, что естественно звучащие примеры такого рода требуют достаточно специального контекста, тогда как для дуратива на *sīl̄* подобных ограничений нет.

3.5. Имперфектное значение

Это значение проверялось мной главным образом в пердуративном контексте («действие совершается в течение заданного временного промежутка»). В соответствии с исходной гипотезой, пердуративное и комплетивное (вместе с перфектно-результативным) значения нейтрального вида при наличии обстоятельства временного промежутка должны были быть распределены дополнительно: первое должно быть свойственно глаголам с процессуальной, мультипликативной, а также моментальной лексической семантикой (при условии, что моментальные глаголы выступают в значении мультипликатива), второе – предельным глаголам. Главный вопрос касался глаголов с процессуально-ингрессивной семантикой.

В целом исходная гипотеза подтвердилась, а для процессуально-ингрессивных глаголов в указанном контексте оказались возможными и комплетивная (иногда даже результативно-перфектная), и имперфектная интерпретации:

- (18) *Gōnō* *yǔ* *Zā* *dē-kā* *dēdē* *plé* *ká.*
 Гоно 3SG.EXI Жан лист-делать\NTR час два с
 1) 'Гоно лечил Жана два часа' (с неизвестным результатом).
 2) 'Гоно вылечил Жана за два часа'.

Эти две интерпретации могут формально различаться через указание прагматического статуса прямого дополнения. Это возможно (или даже необходимо) в тех случаях, когда прямое дополнение выражено не относительным именем и не именем собственным, особенно если речь идет о привычных действиях с наиболее типичными объектами. При неопределенном статусе прямого дополнения реализуется имперфектная трактовка, при определенном – комплетивная:

- (19a) *Yǔ* *glōō* *bō* *dēdē* *plé* *ká.*
 3SG.EXI бананы есть\NTR час два с
 'Он сл бананы два часа'.
 (19б) *Yǔ* *glōō* *bā-* *bō* *dēdē* *plé* *ká.*
 3SG.EXI бананы ART-1SG.NSBJ есть\NTR час два с
 'Он съел бананы за два часа'.

Имперфектное значение реализуется и в иных контекстах:

- (20) *Mé-nū* *bā* *wō* *kpā* *n̄* *kéñ* *dē* *yā* *ná*
 человек\EMPH-PL ART 3PL.EXI гнать\NTR 1SG.NSBJ за место этот FOC
ā *gú.*
 3SG.NSBJ в
 'Эти люди гнались / гонялись за мной в этом месте'.
 (21) *Yǔ* *trúú* *pǐǔ* *n̄* *tā* *kǔ* *yī* *trōō* *tā.*
 3SG.EXI труба дуть\NTR 1SG.NSBJ на что 1PL.EXCL праздник на
 'Когда мы были на празднике, он играл на трубе в мою честь'.

Надо признать, что имперфектная интерпретация здесь не бесспорна; в примере (20) возможно и пунктивное прочтение, а в (21) – пердуративное и лимитативное.

3.6. Перфектно-результативное значение

Перфектно-результативное значение нейтрального вида, как уже было отмечено, иногда проявляется как альтернативное прочтение наряду с другими значениями, чаще всего с прогрессивным или хабитуальным. Однако в большинстве случаев видовая интерпретация оказывается все же однозначной, определяясь совокупностью факторов, среди которых можно перечислить следующие:

– акциональное значение глагола. Перфектно-результативное значение невозможно у нейтрального вида процессуальных глаголов (*tēē* ‘кипеть’, *vī* ‘шевелиться; шуметь’, *wéj* ‘литься, сыпаться’ и др.);

– наличие и характер обстоятельств¹⁰: для многих глаголов информант допускает реализацию данного значения нейтрального вида только при наличии обстоятельства причины, способа действия, места или времени:

- (22) *λ bā nλ yš dēñ tã pĩš.*
 3SG POSS ребенок 3SG.EXI теряться\NTR танец у
 ‘Его ребенок потерялся на танцах’ (пошел на танцы и не вернулся).

Обстоятельственное значение может быть выражено и сентенциальным сирконстантом:

- (23) *Gbātō yš nób slōō kš á tũ*
 Гбато 3SG.EXI богатство получать\NTR что 1SG.JNT быть.JNT
kwī plšš.
 белый.человек деревня
 ‘Гбато разбогател, когда я был в городе’.

– прагматический статус пациенса или пациенсоподобного актанта. Если этот актант имеет при себе определенный артикль (*bā*, *dōō*) или указательное местоимение, то перфектно-результативная интерпретация глагола в нейтральном виде оказывается или единственно возможной, или, по крайней мере, наиболее вероятной:

- (24) *Tō-nλ-nũ bā wō pē ñ yãã.*
 курица-ребенок-PL ART 3SG.EXI рассеиваться\NTR 1SG.NSBJ перед
 ‘Цыплята разбежались передо мной’.
- (25) *Yš kλλ yā ã gbã š gđ gú š dλ dē.*
 3SG.EXI мотыга этот 3SG.NSBJ втыкать REFL.SG голова в REFL.SG отец для
 ‘Он насадил эту мотыгу на ручку для своего отца’.

При пониженном референциальном статусе такого актанта более вероятна хабитуальная или прогрессивная интерпретация. Интересно отметить, что, по крайней мере, в некоторых случаях перфектный нейтральный вид отличается от перфекта тем, что в последнем не допускается определение прямого дополнения указательным местоимением: **Yá kλλ yā ã gbã š gđ gú...*, при допустимости *Yá kλλ gbã š gđ gú...* ‘Он насадил мотыгу на ручку...’ (с прямым дополнением в неопределенном статусе, при этом подразумевается, что мотыга не находится в сфере видимости собеседников).

В целом, перфектная конструкция воспринимается как «более сильный» перфект, а его связь с моментом речи – как более непосредственная. Сравним примеры (26а) и (26б):

- (26а) *Yš dā š kāã ká.*
 3SG.EXI спасаться\NTR REFL.SG шерсть с
 ‘Он спасся чудом’.
- (26б) *Yá dā š kāã ká.*
 3SG.PRF спасаться REFL.SG шерсть с
 ‘Он спасся чудом’.

¹⁰ См. у В.А. Плунгяна [Плунгян 2010]: «в аспектологических работах давно было показано, что добавление соответствующего аргумента в глагольную синтагму (например, объекта или обстоятельства цели) почти автоматически сообщает ей предельную интерпретацию».

Оба предложения имеют перфектное значение (результат действия актуален в момент речи), однако (26б) подразумевает, что названное действие произошло только что и, скорее всего, на глазах у собеседников¹¹.

Аналогичным образом различаются значения результативной конструкции и нейтрального вида в результативном значении:

- (27a) *Kǎffěē* *bā* *yǝ* *gǎ* *dǝdǝ* *plé* *ká.*
 кофе ART 3SG.EXI сохнуть\NTR час два с
 'Кофе высох за два часа' (и сейчас он сухой).
- (27б) *Tóógā* *bā* *yǝ* *gǎ-sũ* *ká,* *kǎ* *ǎ* *zǝ.*
 рубленая.маниока ART 3SG.EXI сохнуть-GER с 2PL.IMP 3SG.NSBJ толочь
 'Рубленая маниока (уже) сухая, толките ее'.

В предложении (27б) состояние, являющееся результатом действия, обозначено глаголом, характеризуется повышенной степенью актуализованности; в (27а) степень актуальности ниже.

Если вернуться к условиям реализации перфектно-результативного значения, то следует иметь в виду, что все перечисленные факторы имеют скорее характер тенденций, чем строгих правил. Так, в следующем примере, несмотря на отсутствие артикля и указательных местоимений при прямом дополнении, возможны оказываются и результативная, и прогрессивная трактовки:

- (28) *Tǎ* *yǝ* *kwěē* *iǎ* *kwámě* *ná* *ǎ* *gǝ.*
 Тиа 3SG.EXI дверь закрывать\NTR вор FOC 3SG.NSBJ от
 1) 'Тиа закрыл дверь от воров'.
 2) 'Тиа закрывает дверь от воров'.

С другой стороны, для довольно значительного числа глаголов перфектно-результативное значение нейтрального вида оказывается невозможным, при том что их семантика, казалось бы, этому не противоречит: *kú* 'ловить', *mǎŋ* 'глотать', *mũ* 'пить', *rǎǎ* 'жарить' и многие другие. Остается предположить, что здесь ограничения носят лексический характер.

3.7. Комплетивное (пунктивное) значение

Я систематически проверял возможность появления комплетивного значения у глагола в нейтральном виде в следующих трех контекстах:

1) «действие совершилось / было совершено за промежуток времени X»:

- (29) *Yǝ* *kǎǎ* *bā* *gbǎ* *ǝ* *gǝ* *guí* *dǝdǝ* *plé* *ká.*
 3SG.EXI мотыга ART-3SG.NSBJ втыкать REFL.SG голова в час два с
 'Он насадил мотыгу на ручку за два часа'.

2) «действие совершилось / было совершено во время X»:

- (30) *Yǝ* *kǎǎ* *gbǎ* *ǝ* *gǝ* *guí* *dǝé.*
 3SG.EXI мотыга втыкать REFL.SG голова в сегодня
 'Сегодня он насадил мотыгу на ручку'.

3) «действие совершилось / было совершено в то время, как...» (сирконстант выражен зависимой клаузой с временным значением):

- (31) *Yǝ* *gblǎ* *n̄* *iǎ* *kǝ* *ǎ* *ǎ* *gǝ* *kóódfǝ.*
 3SG.EXI орать\NTR 1SG.NSBJ на что 1SG.EXI 3SG.NSBJ POSS.LOC дом.LOC
 'Он наорал на меня, когда я был у него дома'.

¹¹ Впрочем, для (26а) возможно и «историческое» прочтение – 'он чудом спасся' (в некоей давней ситуации).

Первый из этих контекстов рассматривался как диагностический для разграничения между комплетивным и пердуративным значениями; второй и третий – как прототипические комплетивные контексты.

Оказалось, что перфектное, результативное и комплетивное значения нейтрального вида оказываются разграничены в дан-гуэта довольно нечетко, по сути дела, они составляют некий перфективный континуум, подобно совершенному виду прошедшего времени в русском языке, и это при том, что в этом языке имеются особые перфектная и результативная конструкции. Здесь наличие обстоятельства со значением временной точки в прошлом не является достаточным для отклонения перфектно-результативной интерпретации нейтрального вида – можно предполагать, что решающим оказывается экстралингвистический фактор знания о наиболее типичном способе протекания событий:

- (32) *N̄* *gẽ* *ɣ* *yā* *yɔ̃* *blā* *dɛ̀* *gbēñ*.
 1SG.NSBJ нога REL этот 3SG.EXI вздуться\NTR сегодня ночью
 ‘Эта моя нога вздулась сегодня ночью’ (и опухоль еще не прошла).
- (33) *Yɔ̃* *pàñ* *bā* *ã* *bõ* *yāq̄dĩɔ̃*.
 3SG.EXI штаны ART 3SG убирать\NTR вчера
 ‘Он надел эти штаны вчера’ (и носит до сих пор).

Как показывает имеющийся материал, непредельная семантика глагола не препятствует его комплетивному употреблению в нейтральном виде – при этом реализуется его лимитативное прочтение:

- (34) *Yáñ* *yɔ̃* *biñ* *yāq̄dĩɔ̃* *dēdewō* *sɔ̃* *ká*.
 солнце 3SG.EXI светить\NTR вчера очень хороший с
 ‘Вчера солнце посветило хорошенько’ (а долгое время до этого оно не выглядывало).
- (35) *Ná* *bā* *yɔ̃* *dĩɔ̃* *dɛ̀* *gbēñ* *sɔ̃bɛ̀* *ká* *yũã* *bā*
 ребенок ART 3SG.EXI стонать\NTR сегодня ночь сильно с болезнь ART
ã *gɔ̃*.
 3SG.NSBJ от
 ‘Из-за этой болезни сегодня ночью ребенок много стонал’.

4. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВИД И АКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ГЛАГОЛОВ

В соответствии с популярной в настоящее время в российской лингвистике методикой типологически-ориентированного выделения акциональных классов глаголов, предполагающей учет тех грамматических показателей, которые представляют универсальные категориальные типы¹², предлагается, во-первых, применять критерии не к глаголу в целом, а к конкретным грамматическим формам глагола; во-вторых, брать для сравнения в каждом из сравниваемых языков глаголы только с двумя грамматическими показателями: перфективом / прошедшим и прогрессивом / имперфективом / настоящим [Татевосов 2005: 119–121]. Второе положение является логическим следствием первого: богатство видо-временных систем языков мира делает выявление акциональных характеристик каждого глагола в каждой видо-временной форме задачей несобъятной, а разнообразие этих систем сделало бы результаты частноязыковых исследований несопоставимыми. Отбор двух, наиболее фундаментальных и общераспространенных грамматических форм делает задачу типолога решаемой.

Однако попытка применить эту методику, ориентированную на аспекто-темпоральные системы с доминирующей бинарностью, к материалу дан-гуэта ставит исследователя в тупик. Здесь есть и перфект, и результатив, и прогрессив (точнее, близкий к нему дуратив, но этим различием можно пренебречь), однако наличие нейтрального вида с его «всепроникающей» семантикой категорически не позволяет рассматривать систему как бинарную. Ведущим здесь оказывается не привычное противопоставление

¹² Ср. критику такого подхода в [Плунгян 2010].

равновеликих перфектива и имперфектива или претерита и презенса, а оппозиция нейтрального вида¹³, занимающего центр системы, и всех остальных видовых категорий, расположившихся на периферии.

И все же мне кажется, что положение не безнадежное. Если несколько переформулировать методологическое требование, выдвигаемое С.Г. Татевосовым, то речь идет об анализе акциональных характеристик у тех глагольных форм, которые образуют центр видо-временной системы. В таком случае в дан-гуэта можно ограничиться рассмотрением акциональных характеристик глаголов в нейтральном виде.



Рис. 1.

Все видовые значения нейтральновидовой конструкции, рассмотренные в разделе 4, можно укрупнить до трех групп: 1) хабитуалис, статив; 2) прогрессив и имперфект, 3) перфект, результив и комплетив. Первая группа – это «дефолтные значения презенса», отличающиеся друг от друга только семантикой глагола [Вубее et al. 1994: 152]; они могут быть объединены со второй группой в единый «презентно-имперфективный» блок. Значения третьей группы представляют собой «претеритно-перфективный» блок. Таким образом, противопоставление двух базовых форм, характерно для «бинарных» систем, соответствует в дан-гуэта противопоставлению внутри нейтрального вида, различаемому контекстом (а в каких-то случаях и неразличаемому, см. примеры (6), (7)).

В целом можно представить аспектуальную систему дан-гуэта как две сферы, вложенные друг в друга (Рис. 1). Внутренняя сфера – нейтральный вид; внешняя – все остальные видовые конструкции, имеющие специфическую морфологическую маркировку. Значения хабитуалиса и статива выражаются только конструкцией ней-

¹³ Особенно если объединять его с «сопряженной конструкцией», которая, как было сказано в начале статьи, является, по сути, его синтаксически обусловленным вариантом.

трального вида; значения будущего времени и проспектива – только соответствующими специальными конструкциями. Все остальные видовые значения могут выражаться как нейтральным видом, так и специальными конструкциями. Но при их нейтрально-видовом выражении аспектуальная семантика оказывается несколько размытой, нечетко отделенной от остальных значений – можно сравнить эту картину с противопоставлением гласных по продвинутости / отодвинутости корня языка: при последнем типе артикуляции все гласные сдвигаются к центру, а их произнесение становится менее четким.

5. НЕЙТРАЛЬНЫЙ ВИД ИЛИ ХАБИТУАЛИС?

Еще один важный вопрос, который встает в связи с обсуждаемой конструкцией, можно сформулировать так: поскольку хабитуалис является в некотором смысле базовым ее значением (во всяком случае, только хабитуальное значение оказывается возможным практически для всех глаголов в нейтрально-видовой конструкции), не следует ли считать эту конструкцию хабитуальной, а все остальные аспектуальные значения, которые она также может выражать, – «отклонениями», обусловленными контекстными условиями? В таком случае «центральными» в видовой системе дан-гуэта можно было бы признать «специализированные» перфектную и дуративную конструкции¹⁴. При всей привлекательности такой трактовки, она наталкивается на несколько серьезных возражений.

Во-первых, объяснение нехабитуальных значений нейтрального вида влиянием контекста не согласуется с тем фактом, что хабитуальное и нехабитуальное прочтения нередко оказываются возможными в одном и том же контексте, см. пример (7).

Во-вторых, хабитуалис довольно часто выражается в языках мира особой формой, однако, насколько мне известно, такие систематические колебания в аспектуальном значении этой формы, как в дан-гуэта, и такой разброс этих значений для хабитуалиса скорее необычны. Иначе говоря, если мы решим называть «нейтральный вид» в дан-гуэта «хабитуалисом», нам придется признать, что этот хабитуалис достаточно нетипичный, и ввести пространные пояснения, касающиеся «нехабитуальных значений хабитуалиса». На мой взгляд, в такой ситуации термин «нейтральный вид» имеет большую объяснительную силу, чем термин «хабитуалис».

В-третьих, как отмечает Э. Даль, «существует ограниченный набор точек в семантическом пространстве, в которых возникают и из которых распространяются видо-временные показатели. <...> получается так, что генерический вид (этот термин, в рамках данного исследования, можно считать эквивалентным хабитуалису. – В. В.) занимает такую зону в семантическом пространстве, которая удалена от любой точки возникновения видо-временных граммем» [Dahl 1995: 416]. Иначе говоря, с точки зрения типологии эволюции грамматической семантики, хабитуалис – скорее конечная точка эволюционного маршрута, чем начальная. Если же мы признаем, что в диахронии хабитуальное значение не является первичным, то неестественно считать его исходным и в ситуации синхронной полисемии.

Как представляется, допустимость хабитуального значения в нейтральном виде практически для всех глаголов дан-гуэта (кроме стативных), при существенных ограничениях на другие аспектуальные значения, объясняется пониженной зависимостью хабитуального значения от акционального значения глагола; очевидно, именно поэтому оно и оказывается доминирующим в такой контекстно-чувствительной форме, каковой является нейтральный вид.

¹⁴ Такая трактовка была предложена В.С. Храковским во время обсуждения на заседании семинара в отделе типологии Института лингвистических исследований в октябре 2009 года.

6. О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕЙТРАЛЬНОГО ВИДА

Тот факт, что в образовании интересующей нас конструкции участвуют экзистенциальные местоименные предикативные показатели, говорит о том, что по происхождению она является, очевидно, неглагольной. Можно предполагать, что ультранизкий тон на глаголе восходит к какому-то суффиксу, образовывавшему нефинитную форму глагола и утратившему свою сегментную основу; к сожалению, ни дан-гуэта, ни другие описанные к настоящему моменту варианты дан не дают ключа к идентификации этой формы в диахронии, а богатая аспектуальная полисемия нейтральновидовой конструкции, выходящая за пределы всех описанных в типологических работах аспектуальных кластеров (см., в частности [Плунгян 2010]) не позволяет выдвигать гипотезы по аналогии с глагольными конструкциями в других языках манде.

Развитие могло идти по хорошо известной в лингвистической типологии [Bybee et al. 1994: 275–279; Haspelmath 1998] и в мандеистике [Tröbs 2009] модели «прогрессив (образованный от локативно-бытийной конструкции с именем действия) → дуратив → имперфектив / хабитуалис» (в таком случае уже не существующий ныне глагольный суффикс мог бы восходить к послелогу с локативным значением); эта модель хорошо объясняет аспектуальные значения имперфективной части спектра (прогрессив, статив, хабитуалис; в какой-то мере и имперфектив), но не его перфективного сегмента.

Вместе с тем речь может идти и о грамматикализации какой-то причастной (герундиальной?) конструкции (результатив → статив; результатив → перфект); эта модель плохо объясняет развитие прогрессивного и хабитуального значений.

По-видимому, разумное объяснение такой грамматической полисемии намечает следующее рассуждение Э. Даля об омонимии / полисемии генерического вида, прогрессива и нарратива в африкаанс и, с другой стороны, генерического вида, прошедшего времени и нарратива в тайском языке: «Генерические контексты имеют тенденцию к немаркированному выражению, как и любые другие виды предложений, немаркированных в системе. <...> это не следует считать признаком тесной семантической связи между генерическим значением и нарративом – скорее, отсутствие маркирования следует объяснять отдельно для каждого из них» [Dahl 1995: 416]. Если считать нейтральновидовую конструкцию в дан-гуэта «минимально маркированной» (при отсутствии в системе формально немаркированной конструкции), то совмещение у этой конструкции разнородных видовых значений (при этом, нередко, с «ослабленным» видовым значением) вполне может считаться результатом более или менее случайного «совпадения». Для хабитуального значения, как наименее маркированного семантически, нейтральновидовая конструкция оказывается основной (если не единственно возможной), другие же видовые значения кодируются ею или при наличии сильного контекста, или при пониженной обязательности своего эксплицитного выражения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ART – определенный артикль; COM – комитативный падеж; DIM – диминутив; DUR – дуратив; EMPH – эмфатическая форма существительного; EXCL – эксклюзивное местоимение; EXI – местоименный предикативный показатель экзистенциальной серии; FOC – фокализатор; GER – герундив; IMP – местоименный предикативный показатель императивной серии; INF – инфинитив; IPFV – имперфектив; JNT – местоименный предикативный показатель сопряженной конструкции; сопряженная форма глагола; LOC – локативный падеж; NEG – отрицание; NSBJ – несубъектная серия личных местоимений; NTR – нейтральный вид; OPT – местоименный предикативный показатель оптативной серии; PL – множественное число; POSS – possessивная связка; PRF – перфект; PRH – местоименный предикативный показатель прохибитивной серии; PROS – проспектив; PST – прошедшее время; RCPR – взаимное местоимение; REFL – рефлексив; RETR – ретроспективный сдвиг; SG – единственное число.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян 2005 – Ю.Д. *Апресян*. О Московской семантической школе // ВЯ. 2005. № 1.
- Макеева, в печати – Н.В. *Макеева*. Сопряженные конструкции в языке кла-дан // Основы африканского языкознания: Синтаксис. В печати.
- Плунгян 2010 – В.А. *Плунгян*. Введение в грамматическую семантику. М., 2010.
- Татевосов 2005 – С.Г. *Татевосов*. Акциональность: типология и теория // ВЯ. 2005. № 1.
- Bybee et al. 1994 – J.L. *Bybee*, R. *Perkins*, W. *Pagliuca*. The evolution of grammar. Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago; London, 1994.
- Dahl 1995 – Ö. *Dahl*. The marking of the episodic / generic distinction in tense-aspect systems // G.N. Carlson, F.J. Pelletier (eds.). The generic book. Chicago, 1995.
- Haspelmath 1998 – M. *Haspelmath*. The semantic development of old presents: New futures and subjunctives without grammaticalization // Diachronica. XV. 1. 1998.
- Tröbs 2009 – H. *Tröbs*. Sprachtypologie, TAM-Systeme und historische Syntax im Manding (West-Mande). Köln, 2009.
- Vydrine, Mongnan 2008 – V. *Vydrine*, A.K. *Mongnan*. Dictionnaire dan – français (dan de l'Est) avec une esquisse de grammaire du dan de l'Est et un index français-dan. St. Pétersbourg, 2008.

© 2010 г. М.В. ЗЕЛИКОВ

АЛЛОКУТИВ КАК ВЫРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БАСКСКОМ ЯЗЫКЕ

*Посвящается светлой памяти
первого отечественного басколога –
Юрия Владимировича Зыцаря*

Статья посвящена обзору работ, в которых исследуются синтетические аллокутивные формы баскского глагола. Как показывает анализ содержащегося в них материала, образование некоторых моделей аллокутивного спряжения связано с ключевыми особенностями феноменологии субъектно-объектных отношений баскского, а также иберо-романского предложения.

Многочисленные вопросы, связанные с происхождением, статусом и функционированием вербальных единиц, несмотря на достаточно долгую традицию их изучения, в баскологии нельзя считать хоть сколько-нибудь исчерпанными. Так, например, до сих пор дискуссионным является положение об отношении друг к другу двух серий спряжения корневого глагола *izan* 'быть' и, в частности, *da* 'он(а) есть' и *du* 'он(а) имеет'. Это же касается и проблемы аналитических аллокутивных форм, оказавшейся объектом внимания Ю.В. Адаскиной [Адаскина 2008], которая в самом начале статьи несколько поспешно утверждает, что в работах на русском языке баскский аллокутив не анализировался никогда [Адаскина 2008: 85]. Действительно, о том, что аллокутив, рассматриваемый автором как «экзотическая категория», есть явление согласования глагола с «неаргументом», на русском языке не писал еще никто. Однако к анализу морфем *-k* и *-n* в синтетических формах аллокутива (*dakark* 'ты его приносишь, мужчина' и *dakarn* 'ты его приносишь, женщина') еще в 1945 г. обратился Л.И. Жирков. Аллокутивные формы составляют одну из особенностей категории баскского глагола и, в частности, в системе его спряжения, смысл которой в «объединении человека с тем, к кому он обращается в стиле интимной речи» [Жирков 1945].

Говоря о специфике аллокутива, Ю.В. Адаскина использует термин «доверительный» регистр общения, заимствуя его из подготовленной к печати работы деютирующих басковедов А.В. Архипова и Г.А. Нуждина, долженствующей появиться, как сообщается, в серии «Языки мира». Учитывая вышеупомянутую «экзотичность» баскского и связанную с ней неосведомленность в сфере баскологических изысканий вообще, не лишне было бы сказать, как это сделал в комментарии к одной из специальных статей Р. Лафона [Lafon 1959] Ю.В. Зыцарь, что термин «аллокутив» (баск. *Alokutiboa*) происходит от латинского *allocutor* 'собеседник', поскольку весь смысл этих форм, их *raison d'être* состоит «в призывании собеседника в свидетели» [Зыцарь 1984: 146]. Э. Леви в своей знаменитой монографии называет эти формы «вокативными» [Lewy 1964: 30]. Еще ранее, в статье «Введение в баскскую современность», Зыцарь, рассматривая некоторые особенности «апеллятивно-аллокутивного ряда в баскском спряжении», писал о его утрате в американском варианте баскского [Зыцарь 1980: 204–205]. Комментируя другую статью Лафона [Lafon 1960] и скромно называя себя переводчиком, Зыцарь обращает внимание читателей на то, что деление показателей на маркеры мужского и женского рода имеется только во 2-м л. ед. ч., с которым наиболее связаны обращения

к собеседнику (а обращение у басков пронизывает все устное общение), является свидетельством позднего (по сравнению с другими показателями) прихода суффиксов *-g*, *-k*, *-n* в данное лицо (в спряжение вообще) из сферы имен-обращений при глаголе. Элемент *-n* здесь был раньше просто словом женщина, ср. баск. *ne-ska* 'девушка', а элемент **-g* словом 'мужчина', ср., возможно, баск. *giz-on* [Зыцарь 1984: 202].

Знакомство с этой гипотезой (которую, как это зачастую оказывается в баскологии, трудно как доказать, так и опровергнуть) и вообще с русским изданием основных статей Лафона, посвященных морфологическим и синтаксическим аспектам системы баскского глагола (в дальнейшем – БГ), могло бы, несомненно, оказаться полезным для басковедов новой волны, анализирующих БГ преимущественно в рамках типологического и генеративного подходов. На наш взгляд, мнение Ю.В. Зыцаря о том, что «современная баскология остается прежде всего баскологией Р. Лафона» [Зыцарь 1984: 4–5], справедливо и сегодня. Тем не менее, обращаясь к феномену аллокутива, «обсуждая анализ, при котором аллокутив встраивается в аргументную структуру глагола, так как при доверительном диалоге адресат речевого сообщения становится дискурсивным топиком» [Адаскина 2008: 85], Ю.В. Адаскина упоминает только две работы французского ученого, в которых исследуется эта особенность баскского спряжения [Lafon 1957; 1959], из имеющихся, как минимум, шести (см. также [Lafon 1954; 1955; 1960; 1967]), но при этом совершенно их не рассматривает. Как представляется, недостаточное внимание к научному наследию Лафона, равно как и к материалу, содержащемуся в трудах других «традиционных» баскологов (ср., например [Echaide 1944; Ygizar 1947; 1948]), в которых исследуются ключевые особенности выражения баскской процессуальности, явилось причиной некоторых искажений, которые можно отметить в безусловно важной для развития типологического языкознания статье Ю.В. Адаскиной. Кроме того, экспликация важных фактов, впервые приводящихся в отечественной баскологии, безусловно, могла бы оказаться более стройной и понятной, если бы автор осуществил их рассмотрение в контексте главенствующего критерия субъектно-объектных отношений, играющих «центральную роль в лингвистической теории в целом» [Климов 1983: 18]. Одним из ярких феноменов, выражающих специфику этой универсальной категории в баскском (а шире – в иберо-романских языках) и являются, собственно, формы синтетического и аналитического аллокутива.

Вышеизложенное предопределяет структуру двух первых разделов нашей статьи, в которых говорится о ключевых особенностях выражения процессуальности в баскском языке (далес – БЯ), а также выявляется специфика субъектно-объектных отношений, выражаемая, в частности, формами аллокутива. В разделе 3 исследуется возможность баскского влияния на формирование феноменологии субъектно-объектных отношений иберо-романского предложения. Ближайшие типологические параллели баскского аллокутива рассматриваются в разделе 4.

1. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ В БЯ

Рассматривая вспомогательный глагол **edun* 'иметь', Ю.В. Адаскина в сноске указывает, что это «несуществующая в современном языке форма инфинитива» (выделение наше. – М. З.) [Адаскина 2008: 87]. Между тем хорошо известно¹, что традиционно в БЯ глаголы называются по своей причастной форме. Ср. например, толкование *edun*, данное в словаре [Elhuyar 1996: 153]: «Гипотетическое причастие, которому соответствуют спрягаемые формы *du*, *zuen*, *nau*, *ninduen* и т. д.». Таким образом, *edun* 'иметь', *izan* 'быть', *esan* 'сказать', *eraman* 'приносить', *il* 'убивать, умирать' и др. лишь условно соответствуют, например, русским и испанским инфинитивам *иметь / tener*, *быть / ser*, *сказать / decir*, *приносить / llevar*, *умирать, убивать / morir*, и перево-

¹ Собственно, и автор упомянутой статьи глоссирует *-n*, *-i* как PVF «перфектив» (а не INF) и в основном тексте статьи пишет, что аналитические формы состоят из причастия и спрягаемого вспомогательного глагола [Адаскина 2008].

дить их, безусловно, следует² как *имевший / tenido, бывший / sido, сказавший / dicho, принесенный / llevado, умерший, убитый / muerto*³. Что касается «инфинитива», то настоящий термин в баскском может использоваться только в кавычках: в БЯ не существует (и никогда не существовало!) форм, аналогичных, например, инфинитиву и.-е. языков. Традиционное и общеизвестное представление о БГ сводится к оперированию четырьмя формами: причастной или адъективно-глагольной (*etorri* 'пришедший'), корневой (*etorr*), герундиальной или наречно-вербальной (*etortzen* 'приходящий') и футуральной (*etorriko*). По мнению некоторых грамматистов, «настоящим баскским инфинитивом» является корневая форма. «Еще сегодня, как представляется, в некоторых зонах Наварры, при вопросе, как выражается в баскском 'видеть', 'иметь' и т. д., отвечают "ikus, har и т. д."» [Villasante 1980: 189]. Тем не менее, эти формы, представляющие основу, которая напрямую не относится к глаголу, могут употребляться без вспомогательного глагола также со значением императива, инфинитива или «повествовательного инфинитива» (как и в испанском) [Lafon, 1967; Зеликов 1990: 112–113; 2005: 392] и, думается, являются предшественниками инфинитивных образований, соответствуя синкретичным глагольно-именным (*Verbalnomina / Nomenverba*) или «безотносительным» (по А.А. Потебне) корням, хорошо известным в древних языках Малой Азии. Ближе всего функционально к инфинитивам и.-е. типа в БЯ форма отглагольного имени *etor-tze* 'прихождение', составляющая основу третьей, герундиальной формы (*etor-tze-n*), образующейся, собственно, как отглагольное имя, стоящее в местном падеже: 'в приходе'. Она аналогична функционирующей вместо также несуществующего инфинитива форме отглагольного имени в кельтских языках и локативным образованиям «бриттского» типа в английских моделях *V + pr + N* (*They will be in answer* 'Они ответят', букв. 'Они будут в ответе').

Об «инфинитивных» характеристиках отглагольного имени в баскском (в частности, о способности к субстантивации и употреблении со всеми предлогами) см. [Zélikov 1988; Зеликов 1990: 108–109]. Ср. например, диалектное функционирование последнего в генитивных конструкциях в «чистом виде»: *Nik txakurraren hiltze* 'Я убиваю собаку', букв. 'Мною / мес (= Я-эрг.) собаки убивание' [Heath 1972; Зеликов 1990: 113].

Обычным способом функционирования отглагольных имен, которым принадлежит ведущая роль в выражении процессуальности в БЯ, является присоединение к ним различных маркеров: артикля, мн. ч. и всех падежей (аналогично функционированию инфинитива со всеми предлогами в иберо-романских языках). Ср.: *Ez du merezi joate-a* 'Не стоит ходить', букв. 'Не имеет заслуги хождение'. Маркер *-a* (в *joate-a*) является обычным постпозитивным артиклем. В связи с этим вызывает недоумение интерпретация *-a* в субстантивированном отглагольном имени *esa-te-a* 'сказание' как абсолютива (сказать-NM-ABS [Адаскина 2008: 95]), что в данном случае совершенно недостаточно для объяснения реального статуса интерпретируемой формы. Об «абсолютивной» функции можно говорить только в отношении склонения существительных. Ср. например: *gizona – gizonak* (абсолютив) ≠ *gizonak – gizonek* (эргатив) 'человек – люди'. Что касается примеров с *-a* с отглагольным именем, то их следует трактовать как один из многочисленных способов номинализации. Так, например, *Egite-a dauka* (русск. «Сделать и точка!») точно соответствует испанской фразе с субстантивированным инфинитивом: *Tiene el hacerlo* (букв. *Hacer-el lo tiene. – М. 3.*) [Villasante 1980: 194]. Л. Вильясанте при этом трактует настоящий модизм как компрессивное образование, сопоставляя его с семантически полным испанским соответствием: *Tiene un expediente muy sencillo: (hay que. – М. 3.) hacerlo, y (puedes dar el. – М. 3.) asunto (por. – М. 3.) concluido* 'Способ очень прост: (надо) сделать это, и вопрос исчерпан'. Факт отсутствия в БЯ «классических» субъектно-(предикатно)-объектных отношений при выражении обычной и.-е.

² Однако далее при указании значения баскского глагола будет употребляться русский инфинитив, традиционно используемый как словарная форма.

³ О неуместности номинации этих причастных форм инфинитивами см. например [Villasante 1980: 189]: «el participio... aunque impropriamente se llama a veces infinitivo».

процессуальности, исторически связанный с бессубъектным, безличным (безличным-эргативным) характером БГ, следствием чего является невозможность образования активно-пассивной диатезы, хорошо известен в баскологии. См. [Wagner 1978: 37, 52, 55–57]. О возможности представления процесса в БЯ «самого по себе» без ориентации по отношению к его участникам писал еще А. Мартине [Martinet 1958: 391]. О феномене «базового» предложения здесь говорит Г. Бретшнайдер [Bretschneider 1981: 232]. Ср.: *Urak irakiten duenean gatsa botatzen zaio* 'Когда кипит вода, следует бросить соль', букв. 'Вода (эрг.) в-кипании есть-когда соль в-бросании ей-есть'. При этом *ura-k* 'вода' здесь, как справедливо замечает Л. Мичелена, и субъект, и объект одновременно [Mitxelena 1977: 262].

Как показывает материал, глагольно-именная синкретичность, эксплицируемая именными формами при выражении процессуальности, проявляется следующим образом.

1. В аналитических глагольных образованиях. В их числе – модели отглагольного имени, также использующегося со всеми падежами, о котором речь шла выше. В свою очередь, отглагольное имя в локативе используется для выражения «настоящего» времени (*ikus-te-n dut* 'в-видении я-это-имею'), в то время как «прошедшее» время образуется комбинацией с участием «причастной» формы, а «будущее» – в основном добавлением к последней маркера *-ko / -go* (*ikusi dut* 'увиденным я-это-имею' и *ikusiko dut* 'увиденным я-это-буду-иметь' соответственно). Ср. также *Joan naiz* (спряжение в серии *izan*) 'Я ушел', верно трактуемое Мичеленой как 'От-ушедшего я-есть' (= исп. *Soy de ido*) [Mitxelena 1977: 252]⁴.

Кроме того, «причастная» форма также легко субстантивируется: *Nik hiri erran-a* 'То, что я тебе сказал' буквально трактуется Х. Вагнером как 'Я (эрг.) тебе сказанное' [Wagner 1978: 47].

2. В именных образованиях, корпус которых составляют аналитические конструкции *N + Vpers* (Ср.: *Irakasle bat behar da* 'Требуется учитель', букв. 'Учитель один необходимость есть'; *Lotan dago* 'Он спит', букв. 'Во сне он находится'), а также предикативные конструкции с субстантивными / атрибутивными (наречными и адъективными) единицами. Так, например, *laster* в строке из старинной сулетинской «Песни о Беретеррече» (рыцаре из группировки сеньора Граммона) *Marisantzen lasterra / Bostmendietan behera!*, безусловно, выражает процесс: 'Как бежит Марисантц / вниз из Пятигорья', букв. '(Какой быстрый) бег⁵ Марисантц' (= исп. *¡Qué carrera la de Marisantz!*) [EGIPV 1969: 76]. Ср. также «именную» трактовку Ю.В. Зыцарем синтетических форм аллокутива: *na-kar-k* (от *ekarri* 'приносить') 'ты меня несешь (мужчина)', букв. 'Я в-несении у тебя / тобой есть' [Zytzar 1994: 390].

Отмечая следы синкретичного состояния глагола и имени, Г.А. Климов, в частности, указал на то, что их «тесная связь... находит выражение в том факте, что они обслуживаются в значительной степени этимологически общими морфологическими средствами» [Климов 1972: 7]. Глагольно-именной синкретизм, которому обычно сопутствует нейтральность «глагольных» форм в отношении залога, отмечается в шумерском [Дьяконов 1979: 24; Wagner 1978: 56], этрусском [Паллотино 1976: 369], во многих кавказских языках [Шмальштиг 1988: 271–272], в тибетском [Wagner 1978: 52], дравидийских [Fawkes 1991: 29] и др. То же состояние постулируется и для древних и.-е.

⁴Трактовка предикативного ядра баскского предложения как *S-Vpers-(O)* всегда воспринималась в баскологии как условная. Эволюция взглядов на именной характер вербального составляющего (не 'ушел', а 'хождение', 'ушедший') шла в направлении отхода от «пассивной концепции "переходного" БГ», которой придерживались пионеры баскологии (Г. Шухардт, А. Тромбетти, Х. Гавель, Ж. Лякомб, а также, в своих первых работах, Р. Лафон). Возобладовавшая, начиная с исследования о принципиальной невозможности пассивной и вообще залоговой трансформации (см. [Lafon 1971; Zytzar 1978] и др.), точка зрения в настоящее время является определяющей. Подробнее см. [Зеликов 1990].

⁵*Laster*, помимо субстантивного значения 'бег, ход, курс', также имеет адвербиальное ('вскоре, затем, тотчас') и адъективное ('быстрый') [Elhuyar 1996: 404; DEV VII: 318].

языков [Шмальштиг 1988: 263–275]. Об этимологическом «неразличении» глагольных корней, которые могут использоваться как существительные или прилагательные в широком «средиземноморском» контексте (баскский, иберский, лигурийский, язык гуанчей, кавказские, дравидийские), в середине XX века писал Н. Лаговари [Lahovary 1954: 21]. Большую роль в разработке важнейших категорий, сконструированных сознанием прелогического человека, и, в частности, слитности субъекта и объекта и неразличении пассива и актива сыграли исследования представителей Санкт-Петербургской (Ленинградской) филологической школы А.Н. Веселовского. Здесь, в одном ряду с Н.Я. Марром и О.М. Фрейденберг, можно назвать имя С.Л. Быховской, которой Г.А. Климов отводил новаторскую роль в исследовании ранних этапов эволюции категории залога [Климов 1981: 55] и которой, среди прочего, удалось обнаружить существенные особенности баскского глагольного сказуемого [Быховская 1931: 5; Климов 1983: 175].

2. КОНФИГУРАЦИЯ СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВЫРАЖАЕМАЯ ФОРМАМИ АЛЛОКУТИВА

Описывая глагольные формы БЯ, содержащие аллокутив, Ю.В. Адаскина отмечает лишь то, что они «практически маркированы, что выражается дополнительной морфемой... в составе вспомогательного глагола» [Адаскина 2008: 84]. Существенное отличие вспомогательных глаголов «нейтрального» (*Ekaitz Ordiziara joan da*) и двух аллокутивных предложений (*Ekaitz Ordiziara joan duk/dun*) при этом не фиксируется. Ни верный приблизительный, но грамматический перевод, оказывающийся одинаковым для всех трех предложений («Экайц уехал в Ордисию»), ни глоссирование [Там же] сути исследуемого феномена не отражают. А она состоит в том, что вспомогательный глагол в аллокутивных предложениях (*du-k* и *du-n*), в отличие от вспомогательного глагола *da* (3-е л. ед. ч. от *izan* «быть»), представляет собой 3-е л. ед. ч. гипотетического причастия **edun* и, как уже давно определено в баскологии, «является не чем иным, как формой глагола “иметь” с агенсом 2-го л. ед. ч., означающим “ты-его-имеешь” (мужчина – *duk*, женщина – *dun*. – М. 3.)» [Lafon 1959: 108]. Впервые об этом в конце XIX в. написал Г. Шухардт [Schuchardt 1893: 10]. Таким образом, учитывая все вышесказанное об именном статусе баскской процессуальности, аллокутивные предложения, которые буквально следует переводить как «Экайца в-Ордисию уехавшим ты-имеешь (мужчина) / (женщина)», имеют синтаксическую конфигурацию, отличную от высказывания в нейтральном регистре – «Экайц в-Ордисию уехавший-есть». Аналогично должны трактоваться и многие другие примеры, приводимые Ю.В. Адаскиной.

Как пишет Р. Лафон, «употребление форм глагола ‘иметь’ с агенсом 2-го л. ед. ч. на месте форм глагола ‘быть’ (указывающее на глубокое структурное отличие БЯ при выражении конфигурации субъектно-объектных отношений, предполагающее использование «субъектно-объектных» моделей вместо «субъектных». – М. 3.) является особым случаем более широкой практики, не имеющей отношения к аллокутивному спряжению»: *nor zaitut? / nor zaitugu?* «кто Вы?» (букв. «кем Вас имею?» / «кем Вас имеем?»), *hor dut / hor dugu* «он там», (букв. «я его имею там» / «мы его имеем там»), *semea nun duzu?* «где Ваш сын?» (букв. «где Вы имеете сына?»); *semea apheza dute* «их сын священник» (букв. «они имеют сына священником»). В поэме Августа Эчеверри из Сары (XIX в.) «Отступник» читаем: *Non zaituztet, mendi urdin, chirripa, ithurriak?*⁶ «Где вы, мои горы синие, родники и ручьи?» (букв. «Где вас-имею-я горы синие...?»).

Идея бытия, существования таким образом заменяется идеей обладания (синкретичность ‘иметь’ как ‘быть у кого-то’, хорошо исследованная во многих языках), что имеет свои истоки в сфере общения, в сфере субъектно-объектных отношений. Первая выражается по-баскски с помощью глагола, имеющего при себе подлежащее в имени-

⁶ Приведем более древний пример с **edun* из сулетинской «Песни о Беретеррече»: *Hik bahiena semerik / Bereterretxez besterik? / Ezpeldoï altian dūn hilik* [EGIPV: 76] «У тебя (есть) какой-нибудь сын / кроме Беретеррече? / Рядом с Эшпельдой он находится (букв. ‘его-ты(женщина)-имеешь мертвым’).

тельном падеже, т. е. субъектно. Вторая – с помощью глагола, при котором имеется пациенс и агенс, т. е. субъектно-объектно (см. [Lafon 1959: 108–109])⁷.

Следовательно, при образовании высказываний, в которых используются формы с **edun*, в том числе и аллокутивны, происходит синтаксическая трансформация субъектно-(предикатно)-объектных отношений, эксплицируемая моделями с реальным (тип 'ты его утопленным имешь' = 'ты его утопил') или фиктивным агенсом (тип 'я его там имею' = 'он находится там'; аллокутивный тип 'ты (мужчина / женщина) его утопленным имешь' = 'он утопился'), а не просто, как это часто утверждается (и, в частности, Ю.В. Адаскиной) происходит процесс смены корневого гласного глагола (т. е. *a > u*) [Адаскина 2008: 90], являющийся, таким образом, не причиной, а следствием.

Примечательно, что от трактовки **edun* как 'иметь' при объяснении специфики баскских предикативных конструкций не отказываются даже современные баскологично-генеративисты. Ср.: *Miren eta Mikel lagunak ditut*, которое переводится двояко 'Miren and Mikel are my friends / I have Miren and Mikel (as) friends', а сама модель с *ditut* ('Я-их-имею') называется «типичной для баскского» [Ortiz de Urbina, Uribe-Etxebarria 1991: 1002], являясь при этом, безусловно, совершенно нетипичной, в свою очередь, для языка перевода – английского⁸. В этой связи трудно признать состоятельной точку зрения Т. Вилбура, который, безоговорочно принимая положения популярной в 70-е гг. «Грамматики падежей» Ч. Филлмора, отвергает интерпретацию Шухардта форм *duk, dun, duzu* как 'ты-имеешь-это'. Основываясь на, безусловно, верном факте отсутствия деления БГ по принципу «переходности / непереходности», а также на сходстве конкретных парадигм *izan* и **edun*, говорящем об их возможном морфологическом неразличении, которое отстаивал еще аббат Инчауспе [Inchauspé 1858] (см. также [Зеликов 1979: 46–48]), калифорнийский грамматист при этом упускает из виду, что реальным структурно-синтаксическим соответствием баск. *Oihanean galdu du* в английском является не *He lost it in the woods* 'Он потерял это в лесу' [Wilbur 1970: 60–62], а *He has lost it in the woods* 'Он имеет это потерянным в лесу'.

О трансформации «обычных» субъектно-объектных отношений в баскском свидетельствуют и особенности синтетических форм типа *nakark* 'ты меня несешь', букв. 'я (есть) в несении тобой (мужчиной)', о которых говорилось выше в связи с феноменом глагольно-именного синкретизма как основе выражения процессуальности в БЯ.

3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ С ГЛАГОЛОМ ОБЛАДАНИЯ В ИБЕРО-РОМАНСКОМ АРЕАЛЕ

Как свидетельствует конкретный эмпирический материал, глагол с семантикой обладания составляет в языках Европы особую изоглоссу, противопоставленную конструкциям с экзистенциальным глаголом. Лучше всего она представлена в иберо-романском ареале и **наибольшим** свособразием отличается в испанском, в котором образования с *haber* и *tener* отмечены уже в самых ранних памятниках.

⁷ То же – в примерах с омонимией, на которую указывает Р. Лафон в [Lafon 1959]: если присоединить *duk* к причастию прошедшего времени *itho* 'утопленный', то полученное *itho duk* будет, следовательно, означать, смотря по обстоятельствам, 'ты его утопил' (*duk* здесь форма глагола 'иметь') или 'он был утоплен', 'он утопился' (*duk* в таком случае – аллокутивная форма от глагола 'быть', заимствованная из числа форм глагола 'иметь'), что, следовательно, на наш взгляд, также допускает трактовку, аналогичную первому варианту, но, в отличие от него, с фиктивным агенсом и с **обязательным** опущением местоимения 2-го лица: в первом случае возможно добавление *hik* (эрг. п. от местоимения *hi*), во втором случае это невозможно.

⁸ О синкретической сущности *izan*, связанной с его интерпретацией как 'иметь', свидетельствует трактовка, осуществленная Б. Эсторнесом Ласой: *Gizon ori nere aita dut* как 'Человек этот мой отец, я его-мне-имею (= исп. *hémelo*)', а *Gizon ori nere aita da* – как 'Человек этот мой отец **имеется** (= исп. *hase*)'. Также отмечается, что первоначально эти предложения в испанской передаче (*Ese hombre «habérmelo» mi padre*) являлись равнозначными. Ср. также *izan naiz* как исп. *sido soy* (*he sido*), а *izan dut* 'я-это-имел' как исп. *sido lo he, lo he habido* [Estornes Lasa 1967: 233].

Так, в «Поэме о Сиде»: ...*ovieron la corneja diestra... oviéronla siniestra* [Cid 1977: 11–13] ‘...увидели ворону справа... увидели ее слева’, переведенное А. Рейесом на современный испанский ‘...vieron la corneja al lado derecho... la vieron por el lado izquierdo’ [Reyes 1977: 43], буквально означает ‘...имели ворону справа... имели ее слева’. О древнем использовании *tener* свидетельствует пример из «Харджей»: *que no me tenis al-niyya* (= ‘que no me tienes ley’) ‘что ты меня не любишь’ [Alvar 1960: 14].

Многочисленные примеры субъектно-объектных моделей предложений с *tener* с реальным и фиктивным агенсом, не находящие параллелей в других романских языках (даже в границах Пиренейского полуострова), безусловно, указывают на то, что в истоках феномена мы сталкиваемся с одним из ярких результатов субстратной интерференции с языком басков, к проблеме которой мы обращались в [Зеликов 1990]. Приведем лишь некоторые из них.

С фиктивным агенсом: *Aquí tengo a mi amigo ≠ Aquí está mi amigo* ‘Здесь находится мой друг’ = баск. *Nire laguna hemen dut* (букв. ‘Мой друг здесь его-имею-я’). Ср. также в «Песне о Беретеррече»: *Hiri semia bizi bada, Mauliala dūn juanik* [EGIVP: 76] ‘Если твой сын (еще) жив, то он находится в Мулеоне’ (букв. ‘Ты (женщина) имеешь-его идущим в Мулеон’). То же в болсе поздней наваррской песне «Leixibatxua» («Щёлок»), представляющей амебейную композицию: в ответной строке куплета глагол обладания (фиктивного агенса) зевгматически опущен: – *Semeak nun utxi dituzu, andra gaztea?* / – *Eskolak erakusten, aita prailea* ‘– Сыновей где оставленными имеешь, молодая хозяйка? / – Уроки учат, святой отец’ (букв. ‘Уроки в-учении имею-их оставленными’).

С реальным агенсом: *Illabete osoa da itxien naukala (naukan)* ‘Он ждет меня уже целый месяц’, букв. ‘...в-ожидании меня-имеет-что’), что точно соответствует релятивной испанской модели: *Hace un mes que me tiene en espera*. Одним из самых старых памятников баскского языка является куплет, написанный на бискайском диалекте и чудесным образом попавший в одну из многочисленных комедий Лопе де Веги «Los gamilletes de Madrid» (1615): *Zure begi ederrok / Ene lastená / Katiba-turik nabe⁹ / Liberea ninzaná*, соответствующий в испанском *Cara y ojos hermosos* (букв. ‘Ваши глаза красивые’) / *Amada mía* ‘Любимая моя’ / *Me tienes cautivo* (точнее, *me tienen cautivo*, букв. ‘Пленным меня-имеют’) / *Siendo libre* ‘Когда я свободен’ [EGIPV 1969: 74]. То же в «Поэме о Сиде» в субъектно-объектной конструкции предложного *haber* с существительным (*haber* + *prep* + N.S.): *el rey he en ira* (букв. ‘Короля имею в гневе’) в придаточном предложении: *Daquí quito Castiella, pues el rey he en ira* (букв. ‘Отсюда покидаю Кастилию, т. к. короля имею в гневе’), переведенного на современный язык со сменой субъектно-объектных отношений: *La ira del rey me destierra de Castilla* ‘Гнев короля изгоняет меня из Кастилии’ [Reyes 1977: 61]. В этом случае *haber* коррелирует с *estar*: *El rey está irritado conmigo* ‘Король гневается на меня’. Модели с **edun* в комбинации с прилагательным обычны в баскском и в тех случаях, когда субъектное (каузальное) воздействие на одушевленный объект исключается. Ср.: *Ta gaxotik zenduen anaia?* ‘И брат, который болел?’ (букв. ‘И больным ты-имел-его-которого брат’ = исп. *¿Y el hermano que estaba enfermo?*), букв. *¿Y el enfermo que – tenías el hermano?*), имеющее полное соответствие в Эстремадуре: *porque le tengo malo* [Alvar 1960: 243] ‘Потому что он у меня болеет’ = исп. *Porque él está malo*. Шире о баскских параллелях, а также о беспрецедентной парадигме моделей с *tener* в испанском языке см. [Зеликов 2005: 171–174; в печати]. Как показывает приведенный материал, странные предположения об обратном романском влиянии на баскский, могут квалифицироваться лишь как безосновательные. **Edun* – не только участник обычного выражения баскской процессуальности, но и частотнейший формант, участвующий в субстантивном и адъективном словообразовании. Так, собственно, самоназвание баск составляет словосложение *Euskal-dun* (букв. ‘(человек) баскский-имеет-который’). Компрессивная модель N + 3-е л. ед. ч.

⁹ *nabe* – бискайская форма, в которой *be* – является маркером 3-го л. мн. ч. Ср. анализ биск. *dabe*, осуществленный еще в 1935 году С.Л. Быховской: *da-u-te > da-u-e → da-b-e* ‘то (da-) имеют (-b-e) (они)’ [Быховская 1935: 183].

*EDUN / UKAN + -n (релят. частица) является весьма продуктивной в баскском и часто не имеет прямых адъективно-субстантивных романских или русских соответствий. Ср.: *bizardun* = исп. *barbudo* 'бородач' (← *bizardun gizon bat* ← *bizarre daukan (duen) gizon bat* [Azkue 1969: 361], т. е. 'бороду-который-имеет человек'). Аналогичным образом устроены *bibotedun* = исп. *bigotudo* 'усач, усатый', *dirudun* = исп. *adinerado* 'богач, богатый', *haurdun* = исп. (*mujer*) *embarazada* 'беременная (женщина)', *hiztun* = исп. *hablante, hablado(r)* 'говорящий, болтун', *betaurrekodun* = исп. (*persona*) *que tiene gafas* 'очкарик' и многие другие слова.

4. О ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ

Рассматривая типологические параллели баскского аллокутивного спряжения, Ю.В. Адаскина приводит примеры из японского, романских, багвалинского и русского, однако вне сферы внимания Ю.В. Адаскиной остается и попытка Х. Вагнера сравнить баскские аллокутивные («вокативные») формы с кельтскими (сев.-валлийскими) глагольными частицами *əki, oxi, ixi* 'для тебя' [Wagner 1959: 103].

Интерпретируя романские параллели, автор цитирует примеры из работ генеративных авторов (Y. Simpson, U. Withgott, B. Ouharçabal). К этому списку следовало бы добавить и статью [Guiter 1985], в которой в качестве ближайшей параллели баск. *esango dizkiot* 'я ему их скажу' рассматривается зафиксированное в южных говорах (Монпелье, Перпиньян) *Je te les lui dirai moi à Pierre ses quatre vérités!* = *Je dirai à Pierre ses quatre vérités* 'Я скажу Пьеру всю правду'. Избыточное местоимение 1-го лица *moi* является точным структурным соответствием нормативного (постпозиционного) баскского *-t*.

Что касается галисийского языка, о котором в связи с возможными типологическими параллелями Ю.В. Адаскина только говорит без указания примеров, то его материал в ракурсе исследуемой проблемы представляет, как можно предположить, наибольший интерес. Здесь, помимо конструкций этического датива, который содержится в древнем памятнике полуострова «Песнопениях во славу Девы Марии», написанном в середине XIII века Альфонсом X Мудрым (...*que me non moira de fame* [Villanueva 1977: 38] '...чтобы он у меня не умер от голода'), составляя самобытную черту современного галисийского языка, существует так называемый «датов солидарности», использующийся как форма вежливого обращения к реципиенту. Ср.: *non che* (2-е л. ед. ч.) *van a dar nada aos fillos* = исп. *no te van a dar nada a los hijos* (букв. 'ничего тебе не дадут детям'); *doicheme a cabeza* = исп. *me (te) duele la cabeza* (букв. 'мне (тебе) болит голова') [Carballo Calero 1974: 275]. Интерпретируя сущность настоящих моделей, внимание к которым впервые в отечественной романистике было привлечено Б.П. Нарумовым [Нарумов 1987: 120–121], мы предположили, что в основе их формирования лежит компрессивное опущение глагола говорения [Зеликов 2005: 354], что, учитывая давнюю трактовку баскского аллокутивного высказывания Л.И. Жирковым *ni Bayonarat nabilak* как 'о ты, мужчина, я тебе говорю: я иду в Байону' [Жирков 1945], по-видимому, могло бы рассматриваться как вполне допустимое. Кроме того, как справедливо отметил Р. Лафон, употребление аллокутивных форм зависит от «позиции говорящего по отношению к собеседнику и... возможно... в высказывании, где что-то утверждается или отрицается...» [Lafon 1959: 112]. А. Лопес Гарсия, отмечающий сходство галисийских и испанских высказываний с этическим дативом (галис. *non nos saia de aquí* = исп. *no nos salga de aquí* 'он у нас никуда отсюда не выйдет') с баскским, подчеркивает тот факт, что «в баскском, особенно в фамильярном спряжении, этический датив выражается инфигированием маркера *ki-* в глагольную форму: *natorki-zu* 'я к тебе прихожу'» [López García 1985: 403]¹⁰.

¹⁰ Попутно отметим, что некоторые дативные образования, так или иначе связанные с «пиренейским» леизмом, являются в испанскими специфизмами, т. е. не имеют параллелей в других романских и даже иберо-романских языках. Ср. *Le echaré el vistazo a la calle* 'Я взгляну (букв. 'Ему брошу взгляд на улицу'), нет ли его на улице'. Ближайшим структурно-семантическим

Отдельный интерес представляют возможные когнаты баскских аллокутивных показателей в других языках. В литературе по этому поводу был высказан ряд гипотез. Так, Г. фон дер Габелентц в связи с баск. *-k* (м. р.) и *-n* (ж. р.) указал на берберские (кабийские) (*-kai*, *-ka*; *-m*), египетские (*-k*) и коптские (*-k*) параллели [Gabelentz 1894: 41], А. Тромбетти – на берб. *ke-m*, *še-m* ‘ты (ж. р.)’ [Trombetti 1925: 86].

В 60-х гг. XX века австрийский басколог М. Мукаровски в рамках исследования «евросахарского» языкового единства отметил егип. *kw* (м. р.), *tm* (ж. р.), хауса *kai* (м. р.), *kee* (ж. р.), берб. *kiyyi* (м. р.), *ketmi* (ж. р.), а также *-(a)k* (м. р.), *-(a)m* (ж. р.) [Mukarovsky 1966: 140; 1967: 90], указанные в «Курсе берберского языка (кабийские говоры)» А. Бассетом. Ср.: *yur-ək* (м. р.), *yur-əm* (ж. р.) ‘у тебя / ты имеешь’ [Basset 1937: 52]; *inna-y-ak* ‘он тебе сказал’, *inna-y-am* ‘она тебе сказала’ [Там же: 53]. То же – в притяжательных моделях: *i-n-ak* (м. р.) ‘твоя’, *i-n-əm* (ж. р.) ‘твоя’ (= фр. *ce de toi*) [Там же: 76], см. также [Tovar 1997: 165].

Изложенный материал, эксплицирующий некоторые особенности статуса форм баскского спряжения, составляет лишь небольшой фрагмент фонда достижений отечественной и зарубежной баскологии, который, как представляется, мог бы оказаться полезным лингвистам, занимающимся баскским языком сегодня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аласкина 2008 – Ю.В. Аласкина. Аллокутивные формы баскского глагола // ВЯ. 2008. № 5.
Быховская 1931 – С.Л. Быховская. К вопросу о трансформации языка // Доклады АН СССР. 1931. № 4.
Быховская 1935 – С.Л. Быховская. Показатели множественности как классовые показатели в грузинском и баскском языках. Академия наук академику Н.Я. Марру. Л., 1935.
Дьяконов 1979 – И.М. Дьяконов. Шумерский язык. Языки Азии и Африки. Т. 3. М., 1979.
Жирков 1945 – Л.И. Жирков. Проблема языка басков // Известия АН СССР. Т. 4. Вып. 3/4. 1945.
Зеликов 1979 – М.В. Зеликов. Синтаксис вспомогательного глагола в баскском языке и его иберороманские параллели // Синтаксис испанского языка и инженерная лингвистика. Л., 1979.
Зеликов 1990 – М.В. Зеликов. Эргативные параллели в баскском и иберороманском предложении // ВЯ. 1990. № 1.
Зеликов 2005 – М.В. Зеликов. Компрессия как фактор структуры и функционирования иберороманских языков. СПб., 2005.
Зеликов, в печати – М.В. Зеликов. Функциональная парадигма глагола обладания в испанском и португальском языках // Сборник статей, посвящ. памяти Е.М. Вольф. В печати.
Зыцарь 1980 – Ю.В. Зыцарь. Введение в баскскую современность // Литературная Грузия. 1980. № 2.
Зыцарь 1984 – Ю.В. Зыцарь. Предисловие // Р. Лафон. Система баскского глагола. Тбилиси, 1984.
Климов 1972 – Г.А. Климов. К характеристике языков активного строя // ВЯ. 1972. № 4.
Климов 1981 – Г.А. Климов. Типологические исследования в СССР (20–40-е гг.). М., 1981.
Климов 1983 – Г.А. Климов. Принципы контенсивной типологии. М., 1983.
Нарумов 1987 – Б.П. Нарумов. Формирование романских литературных языков. Современный галисийский язык. М., 1987.

соответствием в русском, очевидно, могла бы быть генитивная модель: ‘Я посмотрю (нет ли) его на улице’. Ср. также: *El otro... extendía (el vestido) a lo largo del cuerpo (de Lucita), cubriendo la cabeza... Las piernas le quedaban todavía al descubierto* [Jagata 1982: 306] ‘Второй (жандарм)... накрыл платьем Луситу с головой... Ноги оно не прикрывало’ [Харама 1983: 296]. Как представляется, перевод дативного фрагмента (*le quedaban*) может быть осуществлен в двух вариантах: ‘Ее (ген.) ноги еще оставались неприкрытыми’ (неотчуждаемая принадлежность) и ‘Ему еще оставалось прикрыть ей ноги / Ноги он ей еще не прикрыл’ (отчуждаемая принадлежность и смена субъекта). К вопросу о своеобразии некоторых дативных моделей, объясняющих специфику субъектно-объектных отношений в баскском и иберо-романском предложении, мы уже обращались в [Зеликов 1990].

- Паллотино 1976 – *М. Паллотино*. Проблема этрусского языка. Тайны древних письмен. М., 1976.
- Харама 1983 – *Р. Санчес Ферлосио*. Харама. М., 1983.
- Шмальштиг 1988 – *В. Шмальштиг*. Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 21. 1988.
- Alvar 1960 – *М. Alvar*. Textos hispánicos dialectales. Antología histórica // Revista de filología española. Anjo 73. 1960.
- Azkue 1969 – *R.M. Azkue*. Morfología vasca. Bilbao, 1969.
- Basset 1937 – *A. Basset*. Cours de berbère (Parlers de la Kabylie). Paris, 1937.
- Bretschneider 1981 – *G. Bretschneider*. Euskara, hizkuntzen tipologia, ta hizkuntza unibertsalak. Euskalarien nazioarteko jardunaldiak. Bilbao, 1981.
- Carballo Calera 1974 – *R. Carballo Calera*. La constitución del gallego como lengua escrita // Verba. V. 1. 1974.
- Cid 1977 – Anónimo Cantar del Cid. Madrid, 1977.
- DEV VII – *M. Agud, A. Tovar*. Diccionario etimológico vasco // Anejos del anuario del seminario de filología vasca «Julio de Urquijo». XXXVII. T. VII. San Sebastián, 1995.
- Echaide 1944 – *J.M. Echaide*. Desarrollo de las conjugaciones perifrásticas y sintéticas, respetuosas y familiares. San Sebastián, 1944.
- EGIPV 1969 – Enciclopedia general ilustrada del País Vasco. Artc. Lengua. Literatura. V. I. San Sebastián, 1969.
- Elhuyar 1996 – Eskara-gaztelania hiztegia. Usurbil, 1996.
- Estornes Lasa 1967 – *B. Estornes Lasa*. Sobre historia y origen de la lengua vasca. San Sebastián, 1967.
- Fawkes 1991 – *R.A. Fawkes*. Verbal noun as equivalent of finible verb in Welsh // Word. V. 42. 1991. № 1.
- Gabelentz 1894 – *G. von Gabelentz*. Die Verwandtschaft des Baskaischen mit den Berbersprachen Nordafrikas. Braunschweig, 1894.
- Guiter 1985 – *A. Guiter*. A propos de redondance pronominale // Revue de linguistique romane. T. 49. 1985.
- Heath 1972 – *J. Heath*. Genetivization in Northern Basque complement clauses // Anuario del seminario de la filología vasca «Julio de Urquijo». T. VI. 1972.
- Inchauspé 1858 – *E. Inchauspé*. Le verbe basque. Paris, 1858.
- Jarama 1982 – *R. Sánchez Ferlosio*. El Jarama. Madrid, 1982.
- Lafon 1954 – *R. Lafon*. Comportement syntaxique, structure et diathèse du verbe basque // Bulletin de la société de linguistique de Paris. V. 50. F. 1. 1954.
- Lafon 1955 – *R. Lafon*. Remarques complémentaires sur la structure du verbe basque // Bulletin de la société de linguistique de Paris. V. 51. F. 1. 1955.
- Lafon 1957 – *R. Lafon*. Remarques sur l'emploi du masculin et du féminin en basque // Via Domitia. 1957. № 4.
- Lafon 1959 – *R. Lafon*. Place de la 2^e personne de singulier dans la conjugaison basque // Bulletin de la société de linguistique de Paris. V. 54. 1959.
- Lafon 1960 – *R. Lafon*. L'expression de l'action en basque // Bulletin de la société de linguistique de Paris. V. 55. 1960.
- Lafon 1967 – *R. Lafon*. La catégorie de la personne dans le système du nom en basque // Pirineos. 1967. № 83–86.
- Lafon 1971 – *R. Lafon*. Ergatif et passif en Basque et en Géorgien // Bulletin de la société de linguistique de Paris. V. 66. F. 1. 1971.
- Lahovary 1954 – *N. Lahovary*. Substrat linguistique méditerranéen, basque et dravidien. Substrat et langues classiques // Archivo per Alto Adige. V. 68. 1954.
- Lewy 1964 – *E. Lewy*. Der Bau der europäischen Sprachen. Tübingen, 1964.
- López García 1985 – *A. López García*. Concordancias gramaticales entre el castellano y el euskera // Philologia Hispaniensa. In onorem M. Alvar. T. 2. Madrid, 1985.
- Martinet 1958 – *A. Martinet*. La construction ergative et les structures élémentaires de l'énoncé // Journal de psychologie normale et pathologique. 1958.
- Mitxelena 1977 – *L. Mitxelena*. Notas sobre compuestos verbales vascos // Revista de la dialectología y tradiciones populares. № 33. 1977.
- Mukarovsky 1966 – *M. Mukarovsky*. Über den Grundwortschatz des Euro-Saharanischen // Mitteilungen zur Kulturkunde. I. 1966.
- Mukarovsky 1967 – *M. Mukarovsky*. Langues apparentées au Chamito-sémitique // GLECS. 1967. № 11.

- Ortiz de Urbina, Uribe-Etxebarria. 1991 – *J. Ortiz de Urbina, M. Uribe-Etxebarria*. Participial predication in Basque // *Memoriae L. Mitxelena Magistri Sacrum. Pars Altera*. San Sebastián, 1991.
- Reyes 1977 – *A. Reyes*. Prosificación moderna del Cantar del Cid. Madrid, 1977.
- Schuchardt 1893 – *H. Schuchardt*. Baskische Studien I. Über die Entstehung der Bezugsformen des baskischen Zeitworts in Zenschriften der Akademie der Wissenschaften zu Wien. B. 42. № 3. 1893.
- Tovar 1997 – *A. Tovar*. Estudios de tipología lingüística. Madrid, 1997.
- Trombetti 1925 – *A. Trombetti*. La lingua basca. Bologna, 1925.
- Villanueva 1977 – *F. Márquez Villanueva*. Relecciones de literatura medieval. Sevilla, 1977.
- Villasante 1980 – *L. Villasante*. Sintaxis de la oración simple. Oñate, 1980.
- Wagner 1959 – *H. Wagner*. Das Verbum in den Sprachen der britischen Inseln. Ein Beitrag zur geographischen Typologie des Verbums. Tübingen, 1959.
- Wagner 1978 – *H. Wagner*. The typological background of the ergative construction. Dublin, 1978.
- Wilbur 1970 – *T.H. Wilbur*. Ergative and pseudoergative in basque // *Fontes Linguae Vasconum*. T. 2. 1970. № 4.
- Yrizar 1947 – *P. de Yrizar*. Formación y desarrollo del verbo auxiliar vasco // *Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los amigos del País*. T. 3. 1947.
- Yrizar 1948 – *P. de Yrizar*. Formación y desarrollo del verbo auxiliar vasco // *Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los amigos del País*. T. 4. 1948.
- Zélikov 1988 – *M.V. Zélikov*. Nuevas aproximaciones acerca del infinitivo vasco // *Fontes Linguae Vasconum*. № 52. 1988.
- Zytzar 1978 – *Yu.Vl. Zytzar*. Sobre el sistema ergativo del vasco (ensayo de una comparación tipológica) // *Fontes Linguae Vasconum*. T. 10. 1978. № 29.
- Zytzar 1994 – *Yu.Vl. Zytzar*. Sobre la categoría del acontecimiento en los idiomas, incluido el vasco (I) // *Fontes Linguae Vasconum*. T. 26. 1994. № 67.

© 2010 г. Л.И. КУЛИКОВ

**ВЕДИЙСКИЕ КОРНИ ТИПА $CaC // C(C)\bar{a}$:
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ГЛАГОЛОВ**

(к диахронической типологии категории переходности)*

Статья посвящена анализу ведийских корней, образующих пары типа $i (ay)$ 'идти' // $y\bar{a}$ 'ехать' или $t\bar{r}$ (tar^i) 'преодолевать' // $tr\bar{a}$ 'защищать, спасать' (называемых C - и \bar{a} -корнями). Основное внимание уделено синтаксическим характеристикам указанных корней. Доказывается, что \bar{a} -глаголы обнаруживают гораздо меньше синтаксической «гибкости», встречаясь либо главным образом в непереходных, либо главным образом в переходных употреблениях, и таким образом относятся к недиффузному синтаксическому типу. Соответствующие C -глаголы обнаруживают больше «гибкости» в отношении транзитивности, ср. $y\bar{a}$ (непереходный) vs. $i (ay)$ (засвидетельствован и в непереходных, и в переходных конструкциях); $tr\bar{a}$ (переходный) vs. $t\bar{r}$ (непереходный и переходный).

1. $C//\bar{a}$ -ЧЕРЕДОВАНИЕ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1.1. \bar{a} -корни: синхронные модели и их происхождение

Ведийский глагольный словарь содержит около двадцати пар корней типа $i (ay)$ 'идти' // $y\bar{a}$ 'ехать', gam 'идти' // $g\bar{a}$ 'шагать', $t\bar{r}$ (tar^i) 'преодолевать' // $tr\bar{a}$ 'защищать, спасать', $dham^i$ // $dhm\bar{a}$ 'дуть', $p\bar{r}$ (par^i) // $pr\bar{a}$ 'наполнять(ся)', $bhas$ 'пожирать' // $ps\bar{a}$ 'жевать', man 'думать' // $mn\bar{a}$ 'упомянуть' и т. д. Во всех таких парах второй корень оканчивается на \bar{a} и, с формальной точки зрения, может быть образован путем добавления \bar{a} к определенной модификации (чаще всего к нулевой ступени) первого корня ($i-\bar{a}$, $ps\bar{a}$ [= $bhs-\bar{a}$], $mn-\bar{a}$ и т. д.). Такого рода чередование можно представить в виде схемы $CaC // C(C)\bar{a}$, причем конечный согласный чаще всего является сонантом ($i = ay$, $t\bar{r} = tar^i$ и т. д.), т. е.: $CR / CaR // CR\bar{a}$. Соответственно, за неимением лучшего термина, вторые члены таких пар будут называться в дальнейшем \bar{a} -корнями (\bar{a} -глаголами), в то время как первые члены, «исходные корни», я буду называть C -корнями (C -глаголами). Чередование этого типа будет называться ' $C//\bar{a}$ -чередованием'.

Формальные отношения между членами таких пар весьма разнообразны, и то же можно сказать об их происхождении. Некоторые пары описываются в терминах модели

* В основе данной статьи частично лежат наблюдения, сделанные еще в рамках моей кандидатской диссертации [Куликов 1989]. Краткое изложение предварительных выводов об особенностях синтаксиса глаголов, входящих в пары типа $CaC // C\bar{a}$, было представлено на конференции «Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию со дня рождения В.А. Дыбо» [Куликов 1991]. Тем не менее, целый ряд проблем, связанных с изучаемым явлением, оставался неясным, что потребовало их дальнейшего исследования. В декабре 1992 г. в Лос Анджелесе мне представилась возможность обсудить ряд аспектов этой проблемы с проф. Р. Анттилой – автором наиболее детального анализа явления перестановочного аблаута [Anttila 1969], – которому я хотел бы выразить искреннюю благодарность за замечания и комментарии по поводу моей концепции. Кроме того, ценные замечания по данной работе были также высказаны Т.Я. Елизаренковой, В. Кноблем, Ф. Кортландтом, А. Лубоцким, С.А. Старостиным и И. Якубовичем.

CaC // CCā; это подразумевает, что второй член пары получен посредством присоединения расширителя корня («дестерминатива»), ср. *i – yā, man – mnā*. Другие следуют модели *CR̄ (CaRⁱ) // CRā* (где *R* обозначает сонант), и, таким образом, на праиндоевропейском уровне представляют перестановочный аблаут (Schwebeablaut, см. ниже) *CeRH- // CReH-*, т. е. чередование типа *CeCC // CSeC* – явление, наиболее детальным образом описанное в монографии [Anttila 1969]. Члены таких пар, *CaRⁱ* и *CRā*, часто называются, согласно индоевропейской традиции, соответственно, ‘полной ступенью I’ (Vollstufe I) и ‘полной ступенью II’ (Vollstufe II) (см., например [Gotō 1987: 45 ff.]). Наконец, несколько пар относятся к типу *CaC (CaR) // Cā*, как в случае *gam* ‘идти’ // *gā* ‘шагать’ и *dru (drav) // drā* ‘бежать’; некоторые из этих пар могут быть образованы этимологически неродственными корнями в результате их (вторичной) семантической и фонологической конвергенции.

Не менее разнообразна трактовка соотношения между членами таких пар в санскритологической (и ведологической) традиции. Некоторые считаются вариантами корня, распределенными внутри парадигмы (или индивидуальной глагольной системы [IVS] в терминах [Jamison 1983]), – как в случае пары *dhamⁱ // dhmā* ‘дуть’ (см. ниже, раздел 3, *sub voce*). Существование двух различных полных ступеней обычно объясняется различными вторичными процессами и парадигматическими выравниваниями¹. В других случаях традиция скорее склонна рассматривать члены таких пар как различные лексические единицы (соответственно корни), которые, однако, синхронно связаны как этимологически родственные, в то время как некоторые санскритологи приводят аргументы в пользу объединения их в рамках одной лексемы / парадигмы [см. ниже о *pṝ (parⁱ) // prā* ‘наполнять(ся)’]. Наконец, некоторые пары никогда не рассматриваются как синхронно связанные, в то время как этимологические связи образующих их корней варьируют от очевидных и бесспорных (ср. *bhas* ‘пожирать’ // *psā* ‘жевать’) до сомнительных или невероятных (см. ниже о *gam* ‘идти’ // *gā* ‘шагать’ и *kanⁱ // kā* ‘радоваться, наслаждаться’).

Неудивительно, что синхронный статус *C//ā*-чередования в системе ведийского глагола неясен. С одной стороны, не вызывает сомнения, что должны существовать какие-то отношения между такими корнями, как *i* и *yā* или *bhas* и *psā*. Ни один санскритист или индоевропеист не будет отрицать, что члены таких пар как-то связаны и их схожесть не является результатом случайного совпадения (конвергенции). Есть серьезные основания полагать, что члены таких пар, как *pṝ // prā, dham // dhmā* или *pi (pī?) // pyā*, рассматривались носителями ведийского языка как лексическое единство, даже несмотря на несколько неясный и непродуктивный характер соотношения между ними, и, таким образом, принадлежали скорее к модели, которую можно проиллюстрировать английскими парами *foot : feet, tooth : teeth*, а не *near : next* (ср. др.-англ. *nēah : nēarra : nēahsta*) или *old : elder*.

С другой стороны, ни одна санскритская (или ведийская) грамматика не рассматривает пары типа *tṝ // trā* в разделе о глагольной деривации², трактуя вторые члены (*trā* и т. д.) как отдельные (и, вероятно, непродуцируемые) лексические единицы.

Такая ситуация объясняется рядом причин. С одной стороны, есть такие случаи, как *dhamⁱ // dhmā* ‘дуть’, где генетические и синхронные связи между членами пары не вызывают сомнения, и ее члены являются (почти) полными синонимами, так что неясно, какова вообще функция *C//ā*-чередования. С другой стороны, в некоторых других парах, таких как *tṝ* ‘преодолевать, перевозить’ // *trā* ‘защищать, спасать’ или *mṝ* ‘дро-

¹ В частности, полная ступень *dhamⁱ*, как в презенсе I класса *dhāma-ⁱ*, может быть объяснена как результат персинтерпретации атематического корневого презенса (= II класс: 3pl. *dhāmanti* вместо **dhamānti* < **d^hmH-énti*) или тематического презенса с нулевой ступенью (= VI класс: 3sg. *dhāmati* вместо **dhamāti* < **d^hmH-é-ti*); см. [Gotō 1987: 46, сн. 11].

² В частности, санскритская грамматика [Whitney 1889: 103] трактует такие корни как «variations or differentiated forms of one another». Среди прочих Уитни упоминает «roots in ā and in a nasal, as *khā* and *khan*, *gā* and *gam*, *jā* and *jan*; roots made by an added ā, as *trā* from *tṛ*, *mnā* from *man*, *psā* from *bhas*, *yā* from *i*». См. также [Зализняк 1975: 61].

бить' // *mlā* 'вянуть, ослабевать', характер формальных и/или семантических отношений между членами пары стерт, что препятствует рассмотрению их как единого целого с синхронной точки зрения; такие пары скорее приближаются к типу *near : next*. Таким образом, члены пар типа *dham¹ // dhmā* или *pṝ // prā* (семантически) **слишком похожи**, чтобы рассматриваться как связанные отношением морфологической деривации, в то время как члены пар типа *tṝ // trā* или *mṝ // mlā* **слишком различны**.

Наконец, есть еще одна причина, которая объясняет «размытый статус» *C//ā*-чередования. Пары типа *pṝ // prā*, *tṝ // trā* и некоторые другие, сколь ни очевидны их формальное сходство и синхронные связи, имеют довольно скверную «диахроническую репутацию», будучи связаны с двумя чрезвычайно проблематичными явлениями индоевропейского праязыка. Одно из них известно под названием 'Schwebeablaut' (перестановочный аблаут) – чередование типа *CeRC- // CReC-*, засвидетельствованное в таких примерах, как **perk-* (ср. др.-в.-н. *fergôn* 'спрашивать') ~ **prek-* (гот. *fraihnan* id.); см. подробное исследование этого явления в [Anttila 1969]. Сюда относятся, в частности, такие пары, как *tṝ // tar¹* (ср. презенс I класса *tārati* < **terH-e-ti*) // *trā* (ср. презенс IV класса *trāyate* < **treH-*). Монография [Anttila 1969] фактически устраняет Schwebeablaut из праязыка, связывая такие пары с рядом вторичных процессов³. Тем не менее, многое остается неясным в том, что касается этого морфологического феномена, и, в любом случае, мы едва ли способны приписать какую-либо функцию этому чередованию.

Другая, еще более запутанная проблема, непосредственно связанная с *C//ā*-чередованием, – вопрос о праиндоевропейском ларингальном распространителе корня (детерминативе) и/или суффиксе **-ē-*. Глаголы пар типа *i // yā* или *dah // kṣā* могут рассматриваться как связанные отношением морфологической деривации только в том случае, если усматривать во вторых членах пар морфологический элемент (морфему?) *-ā-* (< праи.-е. **-ē-* или **-eH-*). Такой суффикс, имевший, возможно, интранзитивизирующую функцию и/или стативное значение, постулируется во многих индоевропейских грамматиках⁴, однако такие ведийские корни, как *yā* или *kṣā* (обычно), не причисляются к *ē*-глаголам в работах по индоевропеистике последнего столетия⁵. Соответственно, на конце таких корней мы вынуждены постулировать ларингальный определитель корня (**(e)H-*). Такой анализ принят, в частности, в [Anttila 1969: 59–63; Mayrhofer 1986–1996 *sub voce*] для *kṣā* [Mayrhofer 1986–1996, I: 430], *psā* [Mayrhofer 1986–1996, II: 198] и *yā* [Mayrhofer 1986–1996, II: 407]. Здесь кажется уместным краткий экскурс о проблеме индоевропейских определителей корня.

Как известно, есть целый ряд индоевропейских корней сходного значения, отличающихся конечными согласными, ср. **trep-* (ст.-сл. трепеть 'trembling') ~ **tres-* (санскр. *trasati* 'дрожит') ~ **trem-* (гр. τρέμω 'дрожать'); **dreu-* (санскр. *drāvati* 'бежит') ~ **dreH-* (ср. санскр. *imprv. drātu*) ~ **drem-* (гр. δραμεῖν 'бежать') и т. д. С формальной точки зрения эти конечные элементы можно было бы рассматривать как суффиксы; однако, так как их значение неясно, индоевропейцы предпочитают пользоваться более

³ К дальнейшей дискуссии по поводу перестановочного аблаута см., в частности, рецензии [Beekes 1972; Schindler 1970].

⁴ См., например [Benfey 1873: 403 («Wie dieses *ā* zu deuten, ist noch sehr fraglich»); Kuryłowicz 1964: 76–84; Watkins 1971; Szemerényi 1970: 257 ff.; 1990: 298 ff.; Beekes 1995: 230 («this suffix served to express a situation»)]; к детальному анализу этого суффикса, см., в частности [Wagner 1950; Jasanoff 2002]. Ряд проблем возникает в связи с идентификацией ларингала: в *ā*-корнях большинства *C//ā*-пар *ā*, вероятно, восходит к праиндоевропейскому **eh₂* (подробнее об этом см. в разделе 5), в то время как для суффикса **-ē-* обычно реконструируется *h₁* (**-eh₁-*); см. [Beekes 1995: 230].

⁵ В пользу выделения в таких корнях суффикса *-ā-* высказывался, в частности, К. Бругман [Brugmann 1878]; см. также критику этой концепции в [Bezzengerger 1879]. Позднее от этой идеи в целом отказались; подробный обзор литературы, см. в [Anttila 1969: 3–5]. Из недавних работ упомянем статью И. Якубовича [Yakubovitch 1999], где для корней типа *yā* и *kṣā* постулируется (общиндоиранский) суффикс *-ā-*, но анализ материала не представляется достаточно убедительным и едва ли проясняет ситуацию.

нейтральными и осторожными терминами – ‘расширители корня’, ‘распространители корня’, ‘детерминативы’ (‘root enlargements’, ‘root extensions’, ‘Wurzeldeterminativa’, ‘Wurzelerweiterungen’). Попытки определить функцию этих элементов потерпели неудачу⁶. После выхода монографии [Persson 1912], остающейся самым подробным исследованием этой проблемы до настоящего времени, специальных работ, посвященных этому явлению, практически не появлялось. Таким образом, анализ корней типа *kṣā*, *psā* и *yā* как включающих в свой состав рефлексы ларингального распространителя корня (= суффикс *-eH-?) оставляет открытым вопрос об их функционально-семантическом отличии от нераспространенных корней, т. е., соответственно, *dah*, *bhas* и *i*.

Вернемся к др.-индоарийскому C//ā-чередованию. Как и упомянутые выше проблемы праиндоевропейского перестановочного аблаута и (ларингального) распространителя корня, это явление в значительной степени оставалось вне поля зрения санскритологов в прошлом столетии. Есть, однако, обстоятельство, которое делает исследование C//ā-чередования в ведийском чрезвычайно интересной и важной задачей. По всей видимости, это явление представлено в индоиранском (и особенно в индоарийском) лучше, чем в большинстве других групп индоевропейских языков. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что развитие и распространение указанного чередования в полном объеме следует относить к эпохе после распада праиндоевропейского единства, а не к праязыку непосредственно, и, таким образом, оно представляет собой индоиранскую (или даже индоарийскую) инновацию.

Данная статья не будет, таким образом, ставить перед собой задачу исследования C//ā-чередования на всем индоевропейском материале и реконструкции его происхождения. Цель работы более ограничена: систематическое описание структурных признаков и характеристик членов ведийских C//ā-пар, прежде всего в синхронной перспективе.

1.2. О морфонологических особенностях ā-корней

Прежде чем перейти к анализу C- и ā-глаголов, необходимо сделать несколько замечаний об их морфонологических характеристиках.

Очевидно, в рамках поставленной задачи нам необходимо идентифицировать любое морфологическое образование как принадлежащее системе C- или ā-корня. В большинстве случаев это не составляет проблемы, ср. инфинитивы *étave* и *tar(i)tum* (образованные от C-корней *ay* и *tarⁱ*) в отличие от *yātave* и *trātum* (ā-корни *yā* и *trā*). Проблему составляют только формы с нулевой ступенью, образованные от корней, принадлежащим парам по модели перестановочного аблаута, как, например, *tī̄* (*tarⁱ*) // *trā* или *pī̄* (*parⁱ*) // *prā*. С формальной точки зрения, такие морфологические образования, как отглагольные прилагательные *tīrṇá-* и *pūrṇá-*, могут быть соотнесены с любым вариантом, т. е. либо с C-корнем *CṜ / CaRⁱ* (< *CṜH- / *CeRH-), либо с ā-корнем *CṜ / CRā* (< *CṜH- / *CReH-), т. е., в нашем случае, либо с *pī̄ / parⁱ*, *tī̄ / tarⁱ*, либо с *prā*, *trā*. В действительности эта проблема не возникает в случае пар типа *tī̄* ‘преодолевать, перевозить’ // *trā* ‘защищать, спасать’, где C- и ā-корни четко разграничены семантически, ср. *tīrṇá-* ‘преодоленный, пересеченный’ (≠ ‘защищенный, спасенный’). Сложнее обстоит дело с морфологическими образованиями с нулевой ступенью, образованными от членов C//ā-пар, которые (почти) не различаются семантически: для правильной идентификации (атрибуции) таких форм необходимы дополнительные критерии. Есть некоторые основания считать, что все формы с нулевой ступенью должны соотноситься с C-корнями. В частности, для многих ā-корней типа *trā* и *prā* существует тенденция к обобщению полной ступени (т. е. *ā*), используя ее также и в тех морфологических образованиях, где мы ожидаем нулевую ступень. В частности, мы обнаруживаем ā-ступень в отглагольных прилагательных (перфектных пассивных причастиях) с суффиксом *-ta-/na-*, ср. *trāta-*, *dhmāta-*, *prāta-* – в отличие от *sthitá-* и *dhītá-*, образованных от ‘неальтернирующих’ (т. е. не варьирующих по модели перестановочного аблаута) корней *sthā* ‘stand’ и *dhā* ‘suck’. Иными словами, ā-корни типа *trā*, *dhmā* и *prā* относятся к

⁶ См., в частности [Persson 1912: 556 ff.].

‘неполноизменяемому’ морфонологическому типу в терминах работ [Зализняк 1975: 68 и сл.; 1978: 816]. Эта морфонологическая особенность \bar{a} -корней, конечно же, не осталась незамеченной⁷. Санскритские грамматики и словари обычно не объединяют такие морфологические образования, как $pūrṇá-$, $tīrṇá-$, през. $pṛṇāti$, $tīrāti$ и т. д., с \bar{a} -корнями. Я буду в целом следовать этой традиции, включая морфологические образования с нулевой ступенью в глагольные системы соответствующих C -корней, за исключением лишь тех случаев, когда семантика глагола недвусмысленно требует иной интерпретации (как в случае $uā$ ‘ехать’ – през. $\bar{i}yate$).

2. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ $C//\bar{a}$ -КОРНЕЙ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА

Для начала рассмотрим характерные признаки глаголов двух $C//\bar{a}$ -пар.

(i) $p\bar{r}$ (par') // $pr\bar{a}$ ‘наполнять(ся)’

Глаголы $p\bar{r}$ и $pr\bar{a}$ ‘наполнять(ся)’ синонимичны и встречаются в сходных конструкциях, как, например, в (1a, b):

- (1) a. (PB 8.64.4c)
óbhé pṛṇāsi ródasī
 ‘Ты заполняешь оба мира’.
 б. (PB 9.97.38)
óbhé aprā ródasī
 ‘Ты заполнил оба мира’.

Существует, однако, примечательное различие между свойствами этих двух глаголов, которое, кажется, осталось незамеченным. Глагольная система $p\bar{r}$ содержит как переходные, так и непереходные морфологические образования, причем обе эти группы хорошо засвидетельствованы начиная с ранневедийского периода (т. е. с языка Ригведы и Атхарваведы), ср. непереходные конструкции в (2–3) и переходно-каузативное употребление, проиллюстрированное в (1a):

- (2) (PB 1.51.10cd)
ā tvā vātasya nṛtaṇo manoúja ' ā pūryamāṇaṃ avahan abhi śrávaḥ
 ‘[Кони] Ваты, запрягаемые мыслью, о мужественный мыслью, везли тебя (= Индру), наполняющегося [соем и силой], к славе’.
 (3) (PB 3.50.1c)
óruvyácāḥ pṛṇatām ebhir ánnaiḥ
 ‘Пусть способный много вместить наполнится этими кушаньями’.

Напротив, $pr\bar{a}$ главным образом употребляется в переходных конструкциях, ср. (1b) и (4):

- (4) (PB 1.52.13c)
vísvam āprā antárikṣam mahitvā
 ‘Ты заполнил все пространство [между небом и землей] [своим] величием’.

Непереходный презенс IV класса $pūryate$, по-видимому, относится к C -корню $p\bar{r}$, а презентного пассива $*prāyāte$ не существует. Единственная непереходная (пассивная?) форма, образованная от этого корня, медиопассивный i -аорист $aprāyi$ (с превербом \bar{a}), встречается один раз в конце ранневедийского периода, в строфе (5) [Kümmel 1996: 72 ff.; Griffiths 2009: 213 ff.]⁸:

⁷ Ср. [Renou 1930: 75]: «La tendance de ce groupe sonante + \bar{a} est de s’immobiliser et de se dissocier de la racine de base, en manière d’élargissement autonome». См. также [Зализняк 1975: 72 и сл.].

⁸ Обратим также внимание на примечательное наблюдение о базисно-переходном характере глагола $pr\bar{a}$, сделанное М. Кюммелем [Kümmel 1996: 73]: «Auch wenn die Wurzel $*pleh_1$ ursprünglich fientive [\approx непереходный глагол, или антикаузатив. – Л.К.] Bedeutung gehabt haben sollte, ist die v e d i s c h e Wurzel $pr\bar{a}$ primär agentiv-transitiv».

- (5) (РВКх 4.2.1 = АВШаун 19.47.1ab = АВПайпп 6.20.1ab = ВС 34.32ab)
ā rātri pāṛthivam rājah ' pitúr aprāyi dhāmabhiḥ
'О ночь, земное пространство было наполнено / наполнилось' установлениями отца'.

(ii) *i (ay)* 'идти; посылать, приводить в движение' // *yā* 'ехать, спешить'

Как и в случае пары *pṝ // prā*, *ā*-корень *yā* четко отличается от соответствующего *С*-корня *i (ay)* своими синтаксическими признаками. Для корня *i* и непереходные, и переходные морфологические образования хорошо засвидетельствованы с ранневедийского периода. Непереходные дериваты со значением 'идти' представлены, в частности, презенсом II класса (т. е. корневым) *éti*, как в примере (6). Переходно-каузативная пара к *éti* – презенс V класса *inóti* и его тематизация *invati*¹⁰, означающие 'посылать, побуждать, приводить в движение', ср. пример (7):

- (6) (РВ 1.191.8c)
út purástāt sūrya eti
'Солнце встает (букв. идет вверх) на востоке'.

- (7) (РВ 4.53.5c)
tisró divaḥ pṛthivīs tistrá invati
'Он приводит в движение три неба (и) три земли'.

Напротив, *ā*-корень *yā* представляет собой непереходный глагол (ср. презенс *yāti*, *īyate*¹¹ 'едет, спешит' и т. д.). Каузатив с суффиксом *-aya-* *yārayati* появляется лишь в брахманах¹².

Несмотря на различия между синтаксическими типами *ā*-корней в двух рассмотренных выше случаях существует примечательная синтаксическая особенность, общая для пар *pṝ // prā* и *i // yā*. В то время как *С*-глаголы хорошо засвидетельствованы и в непереходных, и в переходных (переходно-каузативных) употреблениях, обычно – начиная уже с ранневедийского периода, их *ā*-варианты обнаруживают явные ограничения «синтаксической свободы», т. е. встречаются либо только в непереходных, либо только в переходных конструкциях. Первый, более «гибкий» тип синтаксического поведения, примерами которого могут служить такие *С*-глаголы, как *pṝ* и *i*, будет называться далее 'диффузным'. Наиболее характерные представители диффузного типа – это те глаголы, некоторые формы которых могут встречаться как в непереходных, так и в переходных употреблениях, обнаруживая таким образом лабильный синтаксис¹³. Примером может служить форма 3 pl.pf.act. *vāvṛdhūḥ* глагола *vṛdh* 'расти, увеличивать(ся)', которая 6 раз

⁹ Переводится пассивом ('[a]ngefüllt (worden) ist') в [Kümmel 1996: 72] и непассивным непереходным глаголом ('has become full') в [Griffiths 2009: 213 ff.].

¹⁰ Корни *i* и *i(nv)* рассматриваются как (синхронно) различные в некоторых грамматиках и словарях (ср., например [Joachim 1978: 41]), но, в действительности, нет никакой необходимости считать их отдельными лексическими единицами (см., в частности [Whitney 1885: 8; LIV 232]); *éti* 'идет' и *inóti*, *invati* 'посылает, приводит в движение' (= 'заставляет идти'), очевидно, представляют собой обычную каузативную пару. Об этих каузативных презенсах см., в частности [Kulikov 1995: 101 и сл.; 2000a: 197 ff.].

¹¹ О возможных морфологических интерпретациях этой формы, см. [Kulikov 2001: 261 ff., с лит.]. Аргументацию против объединения носовых презенсов *inóti*, *invati* 'посылает, приводит в движение' с *īyate* (вопреки [Inslar 1972: 96 ff.; LIV: 233, note 12], где они считаются каузативной парой), см. в [Joachim 1978: 138 ff.; Kulikov 2001: 261 ff.].

¹² Одно их первых появлений этого редкого каузатива – герундив *°prayāpya-* 'который должен быть приведен в движение' в составе сложного слова *yathākāma-prayāpya-* (АйтБр 7.29.3) 'который должен быть приведен в движение в соответствии с желанием'. Форма *yārayanti*, засвидетельствованная в АВПайпп 16.75.7, в Кашмирской рукописи (~ АВШаун 9.8.17 *mohayanti*), вероятно, является ошибочным чтением вместо правильного *yorayanti* (так в Ориссских рукописях) 'они стирают, уничтожают'. Пользуюсь случаем поблагодарить А. Гриффитса, снабдившего меня информацией о чтениях Ориссских рукописей для данного фрагмента.

¹³ О лабильном синтаксическом типе в ведийском см. [Kulikov 2003].

встречается в Ригведе в непереходных употреблениях (как в примере (8a)) и 14 раз – в переходно-каузативных употреблениях (как в (8b)) (подробнее см. [Kümmel 2000: 469–473]), и, таким образом, является лабильной:

- (8) а. (РВ 2.34.13b)
rudrā ṛtāsya sādaneṣu vāvṛdhuḥ
‘Рудры возросли в обителях закона’.
б. (РВ 8.6.35a)
īndram ukthāni vāvṛdhuḥ
‘Гимны увеличили Индру’.

Очевидно, оба рассматриваемых *ā*-глагола, *yā* и *prā*, принадлежат к **недиффузно-**му синтаксическому типу: их формы могут использоваться либо только в непереходных, либо только в переходных конструкциях, в то время как другой тип употреблений (переходный или непереходный, соответственно) является либо очень редким и/или засвидетельствован только в поздних текстах, либо не встречается вовсе.

Таким образом, ключ к определению функциональной нагрузки *C//ā*-чередования, вероятно, следует искать в области синтаксиса – в синтаксических особенностях и переходности соответствующих глаголов.

Ниже глаголы, образующие пары по модели *C//ā*, будут проанализированы с точки зрения их синтаксиса, что позволит проверить сформулированную выше гипотезу на материале ведийского языка.

3. ВЕДИЙСКИЕ *C//ā*-ГЛАГОЛЫ И ИХ СИНТАКСИС

Ниже предлагается анализ 17 пар корней, следующих модели *C//ā*-чередования (в порядке санскритского алфавита). По соображениям экономии опущено обсуждение нескольких пар, где *ā*-варианты явно вторичного характера и потому представляют незначительный интерес для сравнительно-исторического анализа – такие, как *u (av) // vā* ‘ткать’ (см. [Maughofer 1986–1996, I: 275 ff.; II: 538] и примеч. 44 ниже). По той же причине будет сведен к минимуму морфологический, синтаксический и филологический анализ соответствующих глаголов.

kanⁱ // kā ‘радоваться, наслаждаться’

Глагол *kanⁱ*, засвидетельствованный в перфекте (1 sg.act. *cākana*, 2–3 sg.inj.act. *cākān* и т. д.), а также в нескольких изолированных формах сигматического аориста, образует конструкции либо с аккузативом (как в примере (9)), либо, чаще, с косвенными падежами (локативом или генитивом) (ср. (10)), будучи таким образом ‘непереходно-переходным’ в терминах [Jamison 1983: 31–39]; подробнее о нем см. [Kümmel 2000: 130–133].

- (9) (РВ 2.11.13c)
śuṣmīntamaṃ yam cākānāma deva
‘[Дай нам] сильнейшее [сокровище], которым мы насладимся, о бог’.
(10) (РВ 8.31.1c)
brahméd indrasya cākanat
‘Тот жрец будет радоваться Индре’.

Единственная засвидетельствованная медальная форма перфекта, 3 pl.subj. *cākānanta*, появляется в непереходных конструкциях, в значении ‘быть приятным’, как, например, в (11):

- (11) (РВ 1.169.4c)
stútaś ca yās te cākānanta vāyóḥ
‘А восхваления, [адресованные] Ваю, которые также понравятся тебе (= Индре) ...’

Напротив, формы глагола *kā* (медиальный перфект *cake* и презентное причастие *kāyatāna-* – гапакс в Ригведе) употребляются в переходных конструкциях в значении ‘жаждать, тосковать; наслаждаться’, как в примерах (12–13):

(12) (PB 1.25.19c)

tvāṁ avasyūr ā cake

‘В поисках помощи я жажду тебя’.

(13) (PB 3.9.2ab)

kāyatāno vanā tvāṁ ' yān māṭṛ ājagann arāḥ

‘Когда ты (= Агни), желая дерева (т. е. дров), отправился к своим матерям, водам...’

С формальной точки зрения, основа презенса IV класса *kāya-* может интерпретироваться по-разному. Она может быть образована от корня *kā* < **keh*,¹⁴ и таким образом попадает в одну парадигму с медиальным перфектом *cake* (так у [Joachim 1978: 67 ff.; Mayrhofer 1986–1996, I: 334; Kümmel 2000: 142 ff.; LIV: 343]). С другой стороны, *kāya-* можно соотносить с *seṭ*-корнем *kan*ⁱ ‘радоваться’, по модели образования презенса IV класса, засвидетельствованной, например, для *jan*ⁱ – *jāyate*¹⁵. Однако, как показала Й. Нартен [Narten 1964: 94 ff.], индивидуальные глагольные системы этих двух корней, равно как и их синтаксические и семантические характеристики, четко разграничиваются¹⁶. В отличие от *kan*ⁱ, который образует только активные формы (перфект *cākān-* и сигматический аорист *akāniṣ-*) и употребляется в непереходных конструкциях, для *kā* засвидетельствован медиальный перфект (*ā*) *cake*, *sakānā-*, который в основном употребляется в конструкциях с аккузативом. Это свидетельствует в пользу анализа гапакса *kāyatāna-* как медиального причастия *-ya-* презенса, образованного от корня *kā*, управляющего аккузативом *vanā*¹⁷. Соответственно, конструкция в паде *a* должна рассматриваться как переходная (‘желая дерева’).

Эти два корня обычно рассматриваются как неродственные (ср. [Mayrhofer 1986–1996, I: 296 ff., 334; LIV: 343, 352] о корнях *kan*ⁱ ‘Gefallen an etwas finden, sich freuen’ и *kā* ‘begehren, gern haben’). Однако, ввиду близости их значений, нельзя исключить возможные (вторичные) связи между ними.

kāś ‘становиться видимым, появляться (?); видеть’ // *kśā* (*khyā*)¹⁸ ‘видеть, рассматривать, считать’

Корень *kāś*, вероятно, восходит к праи.-е. **k^hek-* (ср. др.-гр. τέκνον, τέκνον ‘знак, признак’); долгота, вероятно, вторична (см. [Gotō 1987: 115, с прим. 102; Mayrhofer 1986–1996, I: 344 ff.; LIV: 383 ff.]). В ранневедийском этот глагол засвидетельствован только активным интенсивом *-cākaśīti* и т. д. (PB+) ‘рассматривать, видеть, смотреть’ (см. [Schaefer 1994: 102–104; Roesler 1997: 199–204]) и каузативом *sām kāśayāmi* (AB 14.2.12), который, вероятно, означает ‘делать видимым’ (см. [Jamison 1983: 125]; подробную дискуссию соответствующего фрагмента см. в [Schaefer 1994: 103 ff., прим.

¹⁴ См., например [Persson 1912: 574 ff.; Mayrhofer 1986–1996, I: 334].

¹⁵ Так в [Wackernagel 1896: 15] (с колебаниями). Возражения против анализа *kāya-* как презенса I класса, образованного от корня на *i*, т. е. относящегося к типу *gā(i)* ‘петь’ – *gāy-a-ti*, см. в [Persson 1912: 574, сн. 3].

¹⁶ Соответственно, Майрхофер [Mayrhofer 1986–1996, I: 296 ff., 334] рассматривает корни *kan*ⁱ (‘Gefallen an etwas finden, sich freuen’) и *kā* (‘begehren, gern haben’) как неродственные: «Von *Kā* ist *KAN*ⁱ in Konstruktion, Semantik und Herkunft verschieden».

¹⁷ *vanā* большинство ведологов считают аккузативом [Репов 1964: 57; Joachim 1978: 66 ff.]. Поскольку ни один из двух глаголов не встречается в конструкции с инструменталисом (В. Кнобль, устное сообщ.), интерпретация этой формы у Ольденберга [Oldenberg 1909] как инструменталиса едва ли возможна.

¹⁸ Вариант корня *khyā* является результатом вторичного развития *kśā* (сохранившегося в традициях Майтраяни и Катхака); см., в частности [Hiersche 1964: 44–45; Lubotsky 1983: 176; Witzel 1989: 163 ff.].

264]). Непереходный презенс I класса *kāśa-^{te}* ‘становиться видимым, появляться’ встречается начиная с брахман (ШБр, Джайминия-упанишад-брахмана)¹⁹. Несмотря на то, что непереходные употребления засвидетельствованы довольно поздно, некоторые косвенные соображения свидетельствуют в пользу определения исходного значения этого корня как ‘становиться видимым, появляться; рассматривать, видеть, смотреть, считать’; как предполагает Джемисон [Jamison 1983: 125], *kāś* может относиться к тому же синтаксическому типу, что и *drś*, ср. мед. *dadjśé* ‘появляется’ ~ act. *darśáyati* ‘показывает, обнаруживает’. Соответственно, непереходные употребления могут быть предположительно реконструированы для ранневедийского периода²⁰ (ср. генетически родственный корень *caḥ* ‘смотреть, появляться’, о котором см. [Roesler 1997: 205–209; LIV: 383–385]).

ā-глагол *kśā* (*khyā*) ‘рассматривать, считать’ является преимущественно переходным. Презентный *-yá*-пассив появляется начиная с брахман, но в ранневедийском (РВ) мы находим медиальный тематический аорист (3 sg. *akhyata*), засвидетельствованный в пассивных конструкциях (см. [Kulikov 2001: 58–61], а также детальный анализ соответствующего фрагмента в [Kulikov 2008]):

(14) (РВ 9.61.7с)

sám ādityébhīr akhyata

‘[Сома] появился вместе (и, в силу этого, был ассоциирован) с Адитьями.’

gam ‘идти’ // *gā* ‘идти, шагать’

Несмотря на семантическое и фонологическое сходство этих корней, их исторические отношения далеко не ясны. В ранних работах по индоевропеистике *gam* и *gā* часто сопоставлялись (см., например [Benfey 1837: Sp. 927; Reichelt 1904: 40; Persson 1912: 572 ff.]), и эта точка зрения принята в словаре Майрхофера ([Mayrhofer 1986–1996, I: 466]: «Mit GAM vermutlich wurzelverwandt ... ist GĀ¹»; см. также [Ibid.: 482]). **g^he-* не может быть допустимой структурой корня в праиндоевропейском, и, таким образом, праи.-е. **g^hem-* (> Ved. *gam*) и **g^heh₂-* (> Ved. *gā*) не могут быть непосредственно сопоставлены в терминах расширителей корня. Тем не менее семантическая близость между *gam* и *gā* могла поддерживаться моделью семантически сходной пары *dram* // *drā* ‘бежать’ (см. ниже), которая могла ассоциироваться с *gam* // *gā* как ‘рифмующиеся образования’ (‘*rime-words*’, ‘*Rheimbildungen*’)²¹.

Независимо от характера исторических отношений между этими корнями в праиндоевропейском их синтаксическое поведение удивительно напоминает ту картину, которую мы наблюдаем для других *C//ā*-пар. *C*-глагол *gam* – преимущественно непереходный, но его презентный каузатив *gāmáyati* хорошо засвидетельствован начиная с ранневедийского периода (3× в РВ); каузативный аорист *ajīgamat* впервые появляется в АВ (см. [Jamison 1983: 172]). Напротив, каузатив непереходного глагола *gā* (**gāpáyati*) не засвидетельствован.

janⁱ ‘рождать(ся); порождать’ // *jñā* ‘знать’

Попытки свести эти два корня к одному историческому источнику оказались неудачными (см. [Anttila 1969: 130])²². Тем не менее эта пара заслуживает упоминания, в первую очередь потому, что синтаксическое поведение этих глаголов прекрасно соответствует модели типа *pṝ* // *prā*. Глагол *janⁱ*, хорошо засвидетельствованный и в непереходных (pres. *jāya-^{te}*, pf. *jajñé*, медиопассивный аорист *ájani*, сигм. аорист *ájaniṣṭa*), и в переходно-

¹⁹ Единственная засвидетельствованная в мантрах форма, *pra-kāśate* в РВКх 2.1.4, является поздней согласно [Gotō 1987: 115].

²⁰ Так в [Jamison 1983: 125; Gotō 1987: 115; Roesler 1997: 204]; иначе в [Schaefer 1994: 103] («die in der späteren Sprache vorherrschende Bedeutung ‘erscheinen, sichtbar werden’ ... ist wohl erst sekundär über das Oppositionsmedium *-kāśate* ‘wird gesehen, ist sichtbar’ zu ursprünglich transitivem ‘sehen, betrachten’ entstanden»).

²¹ О рифмующихся образованиях, см., например [Bloomfield 1895; Güntert 1914].

²² Отметим, в частности, различие в типе ларингала: *janⁱ* < праи.-е. **g^heh₁-* vs. *jñā* < праи.-е. **g^hneh₃-*; подробнее см. [Mayrhofer 1986–1996, I: 567 ff., 599 ff.].

каузативных (pres. *jána-*²³, *janáya-*²³, pf. *jajāna* и т. д.) употреблениях, может служить хрестоматийным примером диффузного синтаксического типа²³. В отличие от него, *jñā* – преимущественно переходный глагол; пассивные конструкции засвидетельствованы только для презентного пассива *jñāyá-*²⁴ ‘быть известным’ (RV 4.51.6 +; см. [Kulikov 2001: 74–76]).

tan // tā ‘тянуть, растягивать’

Синтаксический тип глагола *tan* ‘тянуть’ может быть определен как диффузный. Существует примечательная корреляция между временами и типом синтаксических конструкций, засвидетельствованная для этого глагола (подробнее о ней см. [Kulikov 1999: 26 ff.]). С одной стороны, формы системы презенса чаще встречаются в переходных (каузативных) конструкциях, как в примерах (15–16):

- (15) (RV 10.125.6a)
ahám rudrāya dhánur ā tanomi
 ‘Я натягиваю лук для Рудры’.
- (16) (RV 4.52.7)
ā dyām tanoṣi raśmibhir ... úṣaḥ ...
 ‘Ты растягиваешь небо своими лучами, ... о Ушас ...’

С другой стороны, формы перфекта чаще встречаются в непереходных конструкциях, как в примере (17), хотя переходно-каузативные употребления также возможны, ср. (18):

- (17) (RV 6.12.1d)
dūrāt sūryo ná śociṣā tatāna
 ‘Издали [Агни] протянулся, как солнце, [своим] пламенем’.
- (18) (RV 10.80.4c)
agnir divi havuām ā tatāna
 ‘Агни протянул возлияние до неба’.

Вариант корня *tā* никогда не рассматривается как отдельный корень. Его происхождение неясно²⁴. Он засвидетельствован только в гапаксе 3 sg.pf.med. *tate*²⁵ (RV 1.83.5) ‘протянул’ (переходн.), ср. (19) и презентном пассиве *tāyá-*²⁶ (RV+) ‘протягивается, растягивается’.

- (19) (RV 1.83.5a)
yajñáir átharvā prathamāḥ pathás tate
 ‘Атхарван первым протянул пути при помощи жертв’.

В поздневедийском встречается также медиопассивный *-i*-аорист *prātāyi* (гапакс, засвидетельствован в Айтарея-араньяке). Он, по-видимому, был образован под влиянием

²³ См., в частности [Jamison 1983: 154; Gotō 1987: 145–147; Kulikov 2001: 242 ff.].

²⁴ Бругман [Brugmann 1879: 275 ff.] считал, что вариант корня *tā* («Doppelwurzel» *tan // tā*) был образован по аналогии с парами типа *gam // gā* и *jan // jā* (ср. *jāyate* ‘рождается’). Согласно Вакернагелю [Wackernagel 1935–1937: 827], *tā* был выделен из пассива *tāyá-*²⁶ (см. также [Kümmel 2000: 210, с прим. 278]), что, однако, небесспорно.

²⁵ Образован по модели *pā* ‘пить’ – *pape*; регулярная форма, образованная от корня *tan* – *tatne* (засвидетельствовано в RV 10.130.2); см. [Beekes 1985: 48; Kümmel 2000: 210].

²⁶ Существует две возможные морфологические интерпретации этого пассива: он может рассматриваться как образованный от корня *tā* или от *seṭ*-корня *tan*¹. Однако свидетельства в пользу существования *seṭ*-корня *tan*¹ довольно скудны – сюда относятся, помимо собственно *-yá*-пассива *tāyáte*, именны дериваты *uttāná-* ‘вытянутый, растянутый’ (< **ud-tñH-nó-*) и *tanú-* ‘тонкий’ (< **tñH-ú-*); (см. [Beekes 1985], см. также обсуждение и литературу в [Kulikov 2001: 77 ff., с прим. 203]). Регулярный пассив, образованный от *aniṭ*-корня *tan* – *tanyate*. Это вторичное и очень позднее (послеведийское) образование (засвидетельствовано, например, в поздних упанишадах), хотя и фиксируется грамматистами (Pāṇini 6.4.44), не имеет никакой ценности для индоевропейской реконструкции; подробнее см. [Kulikov 2001: 78, прим. 202 (с литературой)].

встречающегося в том же контексте -*ya*-презенса (вероятно, пассивного) *prātāyata*. Обе формы используются для «этимологического объяснения» слова *prātar* ‘рано утром’:

(20) (АйтАр 2.1.5)

taṃ devāḥ prāṇayanta. sa praṇītaḥ prātāyata. prātāyītiṃś. tat prātar abhavat

‘Боги привели его (т. е. прану – дыхание на выдохе) вперед / на восток. Будучи ведомым вперед / на восток, он был расширен²⁷ [дальше / далее на восток]. [Боги сказали:] Он простерся [дальше / далее на восток]. Тогда это стало ранним утром²⁸. (т. е. *prātar* называется так потому, что он простерся [*prātāyi*])

Таким образом, за исключением одной изолированной формы перфекта (переходн.), вторичный корень *tā* появляется только в двух морфологических образованиях, засвидетельствованных в непереходных (пассивных) конструкциях.

tī̄(tarⁱ) ‘преодолевать, перевозить’ // *trā* ‘защищать, спасать’

C-глагол *tī̄(tarⁱ)* хорошо засвидетельствован и в непереходных (например, презенс I класса *tāra-ⁱⁱ* ‘преодолевать’, ср. (21))²⁹, и в переходно-каузативных конструкциях (ср. презенс VI класса *tirā-ⁱⁱ* ‘перевозить’, т. е. ‘каузировать преодолевать’, в композитах с превербом *prā* обычно означающий ‘делать так, чтобы чей-л. жизненный срок безопасно преодолел (препятствия и опасности) и достиг своего естественного завершения’³⁰, ср. (22)), будучи, таким образом, типичным примером диффузного глагола:

(21) (РВ 6.64.4b)

avāte apās tarasi svabhāno

‘В безветренной [атмосфере] ты (= Ушас) пересекаешь воды, о самосветящаяся’.

(22) (РВ 1.89.2d)

devā na āyuh prā tirantu jīvāse

‘Пусть боги дадут нашему жизненному сроку [благополучно] достичь [своего естественного завершения], для жизни’.

Напротив, *ā*-глагол *trā*, имеющий значение ‘защищать, спасать’ (которое, вероятно, основано на переходно-каузативных употреблениях *C*-глагола *tī̄(tarⁱ)* (‘защищать, спасать’ = ‘каузировать преодолевать’)³¹, засвидетельствован только в переходных конструкциях – в частности, презенсом *trāyate* ‘защищает, спасает’, ср.:

(23) (РВ 7.16.8c)

tāms trāyasva sahasya druho nidāḥ

‘Защити их от обмана, от хулы, о могучий (= Агни)’.

dah // *kṣā* ‘гореть, жечь’

Глагол *dah* ‘жечь’ преимущественно переходный. Однако непереходный презенс *dahya-^{ie}*, засвидетельствованный и с корневой («не-пассивной»), и с суффиксальной («пассивной») акцентуацией³², становится весьма употребительным в конце ранневедийского периода, начиная с Атхарваведы. Отметим, что во многих контекстах он допускает и пассивную (‘X сжигается’) и не-пассивную непереходную, или антикау-

²⁷ Или: ‘он растянулся’ (антикаузатив?).

²⁸ Пользуюсь случаем поблагодарить В. Кнобля за подробное обсуждение этого фрагмента.

²⁹ Отметим, что аккузатив в таких конструкциях обозначает направление движения, а не пациенс (= «affizierter Objekt» в терминах [Gotō 1987]; см. также [Haudry 1977: 318 ff.]). Соответственно, такие конструкции должны рассматриваться как непереходные с аккузативом. К обсуждению этой проблемы см., в частности [Jamison 1983: 26 ff.].

³⁰ См. [Gotō 1987: 161 ff.; Kulikov 2001: 351–353]. О каузативных парах, образуемых презенсами I и VI классов, см. также [Gotō 1987: 57 ff.; Kulikov 2000b: 277 ff.].

³¹ См. [Mayrhofer 1986–1996, I: 679 ff.] («Iir. *traH ‘schützen’ wird vielfach als idg. *treh₂ neben *terh₂ (TARⁱ) gestellt...; doch bleibt dies aus formalen und semantischen Gründen unsicher»).

³² *dāhya-^{ie}* в РВКх; *dahya-^{ie}* в ЯВ и ШБр (рецензия Канва).

зативную ('X горит, в пламени'), интерпретации, как в примерах (24–25) (подробнее см. [Kulikov 2001: 292–298]):

(24) (AB 12.4.3)

vaṇḍáyā dahyante gṛhāḥ

'[Когда дается] хромая [корова], дома [дающего] сжигаются / сгорают'. (из перечня негативных последствий дарения риши коров с дефектами)

(25) (ШБр 14.2.2.54)

sá yád vānaspatyáḥ syāt, prá dahyeta; yád dhiraṇmáyaḥ syāt, prá līyeta

'Если бы он (= сосуд) был сделан из дерева, он сгорел бы; если бы [он был] сделан из золота, он расплавился бы'.

Таким образом, к концу ранневедийской эпохи *dah* скорее тяготеет к диффузным, нежели к преимущественно переходным глаголам.

Напротив, *ā*-корень *kṣā* (< **d^hg^{uh}-eh₁-*; см. [Mayrhofer 1986–1996, I: 430; LIV: 133 ff.]), засвидетельствованный, например, презенсом IV класса *kṣāya-*ⁱⁱ (ABПайпп+; см. [Kulikov 2001: 397 ff.]), является преимущественно непереходным. Каузативные морфологические образования от этого корня появляются начиная с поздней Ригvedы (инъюнктив каузативного аориста *cikṣipas* РВ 10.16.1; през. кауз. *kṣāpāya-*ⁱⁱ АВ+; см. [Jamison 1983: 140]).

dru (*drav*) // *drā* 'бежать'

Синонимические корни *dru* и *drā*, несомненно, родственны и, возможно, даже образовывали одну супплетивную парадигму, с презенсом I класса от корня *dru* (*dráva-*ⁱⁱ) – с одной стороны, и корневым и сигматическим аористами от корня *drā* (3 sg.subj.act. *drāsat* и т. д.) – с другой; см. [Gotō 1987: 178; Kümmel 2000: 254; LIV: 129]. Соотношение синтаксических характеристик морфологических образований корней этой пары в целом то же, что и для корней пар типа *gam* // *gā*. *C*-корень *dru* употребляется в основном в непереходных конструкциях, но каузатив *drāváyati* дважды засвидетельствован в РВ (о его древности, см. [Jamison 1983: 114]). Каузатив от корня *drā*, *drāpayati* впервые появляется в средневедийском, в Шатапатха-брахмане (9.1.1.24)³³.

*dham*ⁱ // *dhmā* 'дуть, раздувать(ся)'

Члены этой пары обычно рассматриваются как варианты одного корня, а не как отдельные корни. Большинство форм, образованных от *C*-варианта (в первую очередь, презенс I класса *dháma-*ⁱⁱ ³⁴, о котором см. [Gotō 1987: 180 ff.]), встречаются в переходных конструкциях, за исключением презентного пассива *dhamyate*³⁵, ведийского гапакса, засвидетельствованного в поздней РВ:

(26) (РВ 10.135.7с)

iyám asya dhamyate nāḷīḥ

'В эту его (= Ямы) флейту дует (Яма) (букв.: дуется)'.

ā-вариант слабо засвидетельствован в ранневедийском. Его синтаксический тип может быть предположительно охарактеризован как (преимущественно) переходный. Единственная засвидетельствованная финитная форма – сигматический аорист *-adhmasam*, появляющийся в Атхарваведе, в рецензии Пайппалада (см. [LIV: 153]):

³³ Существует еще один *C*-корень, *dram*, но обнаруживаемые в ведийском корпусе данные, позволяющие сделать какие-либо заключения о его синтаксическом типе (непереходный?), скудны. Единственная форма, засвидетельствованная в ведийском, причастие интенсива *dandramyamāṇa-* 'бегающий (вокруг)', появляется в упанишадах, т. е. в конце ведийского или даже в послеведийский период (см. [Schaefer 1994: 47; LIV: 128; Kulikov 2001: 229, с прим. 708]).

³⁴ К историческому объяснению вторичного характера корневой ступени *dham-* см. выше прим. 1.

³⁵ Относительно краткости гласной в этой форме (*dhamyate* вместо ожидаемого ***dhāmyate*), см. [Kulikov 2001: 99 ff.].

- (27) (АВПайпи 1.59.6ab)
prāhaṃ glāvam adhmāsam ' nir ahaṃ glāvam adhmāsam
 'Я сдуваю прочь опухоль, я выдуваю опухоль'³⁶.

Помимо этой формы мы находим лишь нефинитные дериваты: 1) глагольное прилагательное *dhmātá-* 'раздутый' (РВ 7.89.2); 2) имя деятеля *dhmātar-* 'дующий' и 3) имя действия *dhmātár-* 'всер; тот, кто дует' (оба в стихе РВ 5.9.5). В то время как пассив, образованный от *C*-варианта корня, *dhamyate*, является ригведийским гапаксом, презентный пассив *dhmāyá-^{te}* впервые появляется в поздневедийском (ДжБр, Уп.; см. [Kulikov 2001: 100–102]).

dhī (dhayⁱ) // dhyā 'рассматривать, думать (о), размышлять'

Глагол *dhī (dhayⁱ)* зафиксирован главным образом в перфекте *dīdhaya* (также в плюсквамперфекте *ádīdhet* и редуцированном презенсе, образованном на основе субъюнктива перфекта) и хорошо засвидетельствован в ранневедийский период в переходных употреблениях; подробный обзор существующих форм см. в [Kümmel 2000: 257–261]. *ā*-корень *dhyā* появляется, в частности, в презенсе IV класса *dhyāya-ⁱ* 'думать (о ком-/чем-л.), медитировать, размышлять' (в конструкциях с аккузативом), который впервые встречается в конце ранневедийского периода (АВПайпи. 9.21.1–12), но становится употребительным только в средневедийском (ЯВ^{P+}); см. подробнее об этом [Kulikov 2001: 422–425].

pī (payⁱ) // pyā 'набухать'

C-глагол *pī (payⁱ) [pi (pay)?]³⁷* хорошо засвидетельствован и в непереходных, и в переходно-каузативных употреблениях. Синтаксис тематического носового презенса *pīnva-^{ti/te}* зависит от типа окончания: медиальные формы обычно употребляются в непереходных конструкциях ('набухать'), как в примере (28), в то время как активные формы являются переходно-каузативными ('каузировать набухать'), ср. (29):

- (28) (РВ 9.64.8c)
samudrāḥ soma pīnvase
 'Ты набухашь [как] океан, о сома'.

- (29) (РВ 1.64.5d)
bhūmim pīnvanti páyasā párijrayaḥ
 '[Маруты], бегающие вокруг, заставляют землю набухать молоком'.

Ср. также лабильный синтаксис активного перфекта (в основном, впрочем, засвидетельствованного в непереходных конструкциях) (см. [Kümmel 2000: 298–304]):

- (30) (РВ 1.181.8c)
vṛṣā vām meghó vṛṣaṇā pīpāya
 'О (два) быка, набухло ваше дождевое облако'.

- (31) (РВ 1.116.22)
staryām pīpyathur gām
 'Вы (двое) наполнили (букв. каузировали набухать) яловую корову [молоком]'.

Напротив, *ā*-глагол *pyā* 'набухать' (*-ya*-презенс *-pyāya-^{te}* и т. д.) встречается в РВ только в непереходных конструкциях, как в примере (32)³⁸; *-āya*-каузатив *pyāyāyati* впервые появляется в Атхарваведе (см. [Jamison 1983: 149]):

³⁶ Пользуюсь случаем поблагодарить Т. Цендера за ценные комментарии к интерпретации этого фрагмента.

³⁷ Данные, позволяющие судить о морфонологическом типе корня, т. е. *aniṭ (pi)* или *seṭ (pī)*, противоречивы. В частности, презенс с суффиксом *-nv-* (*pīnv-*) скорее указывает на тип *aniṭ* (см. также [Joachim 1978: 106, прим. 278]). Обсуждение этой проблемы резюмируется в [Mayrhofer 1986–1996, II: 83–85] («Die Argumente für eine Seṭ-Wurzel sind wohl stärker») и [Kümmel 2000: 298, прим. 487] («Sichere Hinweise auf aniṭ-Wurzel fehlen im Verbalparadigma»).

³⁸ Об образованиях от этого корня см. [Kümmel 2000: 316–317; LIV: 465; Kulikov 2001: 249–250].

(32) (PB 10.85.5ab)

yát tvā deva prapibanti ' táta ā pyāyase púnah

‘Когда тебя выпивают, о бог, тогда (ты = Сома) набухаешь снова’.

bhan ‘говорить’ // *bhā* ‘сиять’

Глагольные корни *bhan* ‘говорить’ и *bhā* ‘сиять’ (ср. также *bhāṣ* ‘говорить’ и *bhās* ‘сиять’) обычно считаются этимологически родственными в индоевропеистике, несмотря на значительное семантическое различие между ними³⁹. Синтаксические особенности *ā*-глагола *bhā* сильно напоминают характеристики *gā*, *ā*-корня из формально сходной пары *gam* // *gā* (о которой см. выше). Единственное ранневедийское (PB +) морфологическое образование от корня *bhā*, корневой презенс *bhāti*, встречается в непереходных конструкциях, как в (33)⁴⁰; каузатив этого корня в санскрите не засвидетельствован.

(33) (PB 6.48.3ab)

vṛṣā hy āgne ajāro ' mahān vibhāsy arcīṣā

‘Поскольку ты, о Агни, великий нестареющий бык, сияешь своим пламенем...’

Напротив, глагол *bhan*, хотя и слабо засвидетельствованный в ведийском (встречается лишь четыре раза в Ригведе, в презенсе I класса *bhāna*-^{ti/te}), обнаруживает гораздо большее разнообразие синтаксических моделей. Активные формы (3 sg.act. *bhānati* в PB 6.11.13 и 3 pl.act. *bhananti* в PB 4.18.6) засвидетельствованы в переходных конструкциях, как в примере (34); медиальная форма *bhananta* появляется в рефлексивном (PB 7.18.7; ср. (35)) и реципрокальном (PB 4.18.7) употреблениях; см. [Gotō 1987: 222 ff., с прим. 472–473].

(34) (PB 4.18.6c)

etā vi pṛcha kīm idām bhananti

‘Расспроси их, что они здесь говорят’. (или: ‘...почему они это говорят’)

(35) (PB 7.18.7ab)

ā pakthāso bhalānāso bhanantālināso viṣāṇīnaḥ śivāsaḥ

‘Пактхи, бхаланы, алины, вишанины объявили себя добрыми [друзьями Индры]’.

bhas ‘пожирать’ // *psā* ‘жевать’

И *C*-глагол *bhas* ‘пожирать’ (PB+), и этимологически родственный ему *ā*-глагол *psā* (< **b^hs-ā-*; см. [Mayrhofer 1986–1996, II: 198, 257; LIV: 82, 98]) ‘жевать’ (AB+) являются преимущественно переходными; их пассивы не засвидетельствованы.

man ‘думать, считать; уважать’ // *mnā* ‘упоминать’

Глагол *man* засвидетельствован в переходных употреблениях двух типов: (i) презенс IV класса *mānu*-^{te} и сигматический аорист (*ámansta*, *manṣi* и т. д.) в основном встречаются в конструкциях с прямой речью, в значении ‘X [НОМ.] думает, что P’, или же с двойным аккузативом (‘X [НОМ.] считает Y-а [АСС.] Z-ом [АСС.]’; ‘X [НОМ.] считает / верит, что Y [АСС.] – Z [АСС.]’), как в (36):

(36) (PB 5.9.1c)

mānye tvā jātávedasam

‘Я считаю тебя Джатаведасом’.

³⁹Ср. также гр. φημί ‘заявлять’ и φαίνομαι ‘появляться’; см. [Mayrhofer 1956–1980, III, 494; 1986–1996, II: 244, 260; LIV: 68–70, статьи «1. **b^heh₂-* ‘glänzen, leuchten, scheinen’» и «2. **b^heh₂-* ‘sprechen, sagen’» («morphologisch homonym ... wohl urspr. identisch (semantische Entwicklung etwa ‘leuchten’ → *‘hell machen’ → *‘klar machen’ → ‘sagen’))». О семантических ассоциациях ‘сиять’ ↔ ‘звучать’, см. также [Kronasser 1968: 148, 151].

⁴⁰Подробное обсуждение значения и синтаксических моделей глагола *bhā* см. в [Roesler 1997: 78–90].

(ii) Презенс *manuté* (VIII класс в традиционной классификации; исторически – презенс с суффиксом *-nu-* **mṛ-nu-tai*) обычно управляет аккузативом или генитивом божества или его/ее аспектов, в значении ‘уважать, вспоминать с уважением’. Корневой аорист (*ámata*, *ámanmahí* и т. д.) чаще всего встречается в употреблении этого же типа (‘уважать’ и т. д.), хотя употребления типа (i) для него также засвидетельствованы⁴¹.

-*ya*-презенс *mánuya-*^{te} также часто встречается в непереходных (рефлексивных) употреблениях, в значении ‘X [НОМ.] считает себя Z-ом [НОМ.]’; ‘X [НОМ.] считает / верит, что он/она – Z [НОМ.]’, как в примере (37):

(37) (PB 8.48.6)

áthā hi te máda á soma mánye revām iva

‘... и ведь в опьянении тобой, о Соме, я кажусь себе будто бы богатым’.

Вторичный *ā*-корень *mñā*, традиционно рассматривающийся как расширение *man* (см., например [Maughofer 1986–1996, II: 385; LIV: 447]), засвидетельствован начиная со средне-/поздневедийского периода (*ā-mñāta-* Бр., *ā-mñāyá-* Ар.+ и т. д.; см. [Gotō 1987: 239; 1997: 1025]). Этот глагол – преимущественно переходный; его презентный пассив впервые появляется в послеведийском тексте Бхарадваджа-шраутасутре (3 pl. *ā-mñāyante*).

mṛ(mar) ‘дробить’ // *mlā* ‘вянуть’

Глагол *mṛ(mar)* ‘дробить’ преимущественно переходный (его редкий пассивный презенс *mūryá-*^{te} встречается только в ШБр 1.7.3.21 ≈ 1.7.4.12). Этимологически родственный ему *ā*-корень *mlā* ‘вянуть’⁴², засвидетельствованный, в частности, в презенсе IV класса *mlāya-*^{ti} (АВПайпп, ШБр; см. [Kulikov 2001: 448]), является преимущественно непереходным; его каузатив *mlāpāya-*^{ti} впервые появляется в Атхарваведе (см. [Jamison 1983: 143]).

śṛ // *śrā* ‘готовить(ся); варить(ся)’

Единственная ранневедийская презентная форма (прич. *śrāyant-*⁴³) от *ā*-корня *śrā*⁴⁴ появляется в довольно неясной конструкции (38), которую можно предположительно интерпретировать как непереходную, если принять перевод, предложенный для этого фрагмента К. Хоффманном:

(38) (PB 8.99.3ab)

śrāyanta iva sūryam ' viśvéd indrasya bhakṣata

‘Wie gar werdende (= sich erhitzende) Leute (Anteil) an der Sonne (haben), so haben sie Anteil an allen (Gütern) des Indra’. [Hoffmann *apud* Joachim 1978: 162; Narten 1987: 272 ff. [= Narten 1995: 342 ff.], сн. 3]

-*āya*-каузатив *śrapāyati* ‘варит, готовит’ впервые появляется в Атхарваведе (засвидетельствован, в частности, в АВШаун 11.1.4; см. [Jamison 1983: 145]). Редуплицированный каузативный аорист впервые встречается в брахманах (ШБр-Мадхьяндина 3.8.2.28 = ШБр-Канва 4.8.2.21 *áśiśrapāta* ‘мы сварили’).

⁴¹ К обсуждению засвидетельствованных форм и синтаксических конструкций, см. [Oertel 1941: 88 ff.; Joachim 1978: 121; Gotō 1997: 1016 ff.; Kümmel 2000: 360–364; Kulikov 2001: 253–260; Hettrich 2004].

⁴² *mṛ* и *mlā* связывают сразу с двумя и.-е. корнями: **melh₁-* (**melh₂-?*) ‘размалывать’ и **merh₂-* ‘хватать; сокрушать’ (см. [Maughofer 1986–1996, II: 319 ff., 388 ff.; LIV: 432 ff., 440]), по-видимому, уже совпавшими с синхронной точки зрения в период Ригvedы.

⁴³ Об этом *-ya*-презенсе и его формах, встречающихся в период после Ригvedы, в Майтраяни-самхите и Тайттирия-араньяке, см. [Kulikov 2001: 478].

⁴⁴ Этимологически не родственен корню *śrī* ‘делать совершенным’, през. *śrīṇāti*; см. [Narten 1987]. Об этимологических связях и возможных параллелях *śṛ* // *śrā*, см. [LIV: 323].

Данные, позволяющие сделать какие-либо заключения о синтаксическом типе *С*-корня *śṛ/śar* (класс *anṭ*), скудны. Он засвидетельствован только глагольным прилагательным *śṛtá-* ‘вареный; готовый’ (PB+), которое может основываться как на переходном (‘варить’), так и на непереходном (‘становиться готовым, готовиться’) глаголе.

hū (havʹ) // hvā ‘звать’

Глагол *hū (havʹ)* преимущественно переходный (презенсы *háva-^{te}* и *hváya-^{ti}* ‘зовет’, перф. *juhāva* ‘позвал’ и т.д.; см. [Gotō 1987: 347 ff.; Kümmel 2000: 606 ff.]), но соответствующие пассивы [през. *hūyá-^{te}* PB+; причастие пассивного аориста *huvāná-* PB⁴⁵; ср. (39–40)] хорошо засвидетельствованы начиная с ранневедийского периода (см. [Kulikov 2001: 232–235]):

(39) (PB 8.65.1ab = 8.4.1ab)

yád indra práḡ ápāḡ údañ ' nyàḡ vā hūyáse nṛbhiḥ

‘Когда ты, о Индра, призываешься людьми на Востоке, Западе, Севере, или на Юге...’

(40) (PB 10.112.3c)

asmābhir indra sákhibir huvānáḥ

‘Призванный нами, друзьями, о Индра...’

Вариант корня *hvā* (= полная ступень II) мог возникнуть по аналогии с теми *ā*-корнями, которые образуют презенсы с суффиксом *-áya-*, – такими, как *dhā – dháyati* ‘сосет’ и *dā – dáyate* ‘распределяет’ (т.е. *dhā : dháyati = X : hváyati*)⁴⁶. Все морфологические образования от варианта корня *hvā*, а именно: имя деятеля *hvātar-* (ДжБр), будущее время *hvāsyá-^{ti/te}*, кауз. *-hvāpayati* (ШрС.) и т. д., начинают появляться лишь в поздневедийских текстах и, таким образом, их ценность для исторического анализа глагола невелика (ср., впрочем, позднеавест. *zbātar-*); см. обсуждение этих форм в [Gotō 1987: 350, сн. 863; Kümmel 2000: 608; LIV: 180–181]. Все эти морфологические образования встречаются в переходных конструкциях.

4. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ *ā*-ГЛАГОЛОВ: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛИРОВКА

Результаты данного исследования суммируются в приводимой ниже Таблице 1. Глаголы, принадлежащие к обсуждавшимся выше парам, распределены по пяти синтаксическим классам в соответствии с их синтаксическими признаками и переходностью. Два недиффузных класса включают (1) непереходные глаголы, чьи каузативы не засвидетельствованы или очень редки в ранневедийских текстах (т. е. в PB и AB), и (5) переходные глаголы, чьи пассивы не засвидетельствованы или очень редки в ранневедийском. Три диффузных класса состоят из (2) базисно-непереходных глаголов, чьи *-áya-*каузативы засвидетельствованы уже с ранневедийского периода (слабо-диффузные интранзитивы); (3) глаголов, которые хорошо засвидетельствованы и в непереходных, и в переходных (каузативных) употреблениях (собственно диффузные глаголы); и (4) базисно-переходных глаголов, чьи непереходные (пассивные) дериваты засвидетельствованы уже с ранневедийского периода (слабо-диффузные транзитивы). Глаголы этих пяти синтаксических классов могут быть упорядочены в Иерархии Диффузности (41) в соответствии с их степенью диффузности / недиффузности:

(41) Иерархия Диффузности

(3)	(2),(4)	(1),(5)
диффузные	слабо-диффузные	недиффузные

⁴⁵ О причастиях пассивного аориста см. [Kulikov 2006a: 64 ff.; 2006b].

⁴⁶ Таково, по-видимому, происхождение еще одного вторичного *ā*-корня, *vā* (// *u (av)*) ‘ткать’; см. [Hoffmann 1974: 23, прим. 17; Mayrhofer 1986–1996, I: 275 ff.; II: 538; LIV: 224].

Синтаксические классы глаголов, образующих пары по модели C//ā

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Недиффузные (непереходные)	Диффузные		Недиффузные	Недиффузные
	(слабо-диффузные)		(слабо-диффузные)	(переходные)
только непереходные употреблены; каузативы не засвидетельствованы / редки или поздние	преимущественно непереходные глаголы; -āya-каузативы не засвидетельствованы	непереходные и переходные (каузативные) употреблены (хорошо) засвидетельствованы	преимущественно переходные глаголы; непереходные (пассивные) употреблены не засвидетельствованы	переходные глаголы; пассивы не засвидетельствованы / редки или поздние

модель CaC // C(C)ā

<i>yā</i> 'схватить'		<i>i</i> (ay) 'идти'		<i>kā</i> 'желать'
<i>gā</i> 'шагать'	<i>gam</i> 'идти'	<i>kan</i> 'радоваться'	<i>kśā</i> (<i>khyā</i>) 'смотреть'	
<i>drā</i> (// <i>dram</i> ?) 'бежать'	<i>kṣā</i> 'гореть' <i>dru</i> 'бежать' <i>pyā</i> 'набухать'	<i>kāś</i> 'появляться(?); видеть'	<i>śā</i> (<i>tā</i>) ← <i>dah</i> 'жечь'	
<i>bhā</i> 'сиять'		<i>tan</i> 'тянуть'	<i>bhan</i> 'говорить'	<i>bhas</i> 'пожирать' // <i>psā</i> 'жевать' (<i>mnā</i> 'упоминать')
	<i>śrā</i> 'готовиться'	<i>pi</i> (<i>pī</i> ?) 'набухать'		
		<i>tan</i> 'думать, уважать'		
			(<i>śṛ</i> (?))	

модель CṜ(CaRⁱ) // CRā

		[<i>jan</i> ⁱ 'рождать(ся)' <i>tṛ</i> (<i>tar</i> ⁱ) 'преодолевать, перевозить'	<i>jñā</i> 'знать']	<i>trā</i> 'защищать, спасать'
			<i>dham</i> ⁱ 'дуть'	(<i>dhmā</i>) <i>dhī</i> (<i>dhay</i> ⁱ)// <i>dhyā</i> 'думать, размышлять'
	<i>mlā</i> 'вянуть'	<i>pṛ</i> (<i>par</i> ⁱ) 'наполнять(ся)'		<i>prā</i> 'наполнять'
			<i>hū</i> (<i>hav</i> ⁱ) 'звать'	<i>mṛ</i> (<i>mar</i> ⁱ) 'дробить' (<i>hvā</i> 'звать')

Сколь ни разнообразными могут показаться синтаксические свойства *C*- и *ā*-глаголов, есть, по крайней мере, одна примечательная особенность (сформулированная в виде гипотезы в разделе 2), которая является общей почти для всех *ā*-глаголов и, таким образом, делает распределение по классам неслучайным. *ā*-глаголы (показанные полужирным шрифтом в таблице) в целом обнаруживают гораздо меньше синтаксической «гибкости», встречаясь либо главным образом / исключительно в непереходных, либо главным образом / исключительно в переходных употреблениях, и, таким образом, относятся к **недиффузному синтаксическому типу**. Соответствующие *C*-глаголы характеризует значительное разнообразие синтаксических признаков, но в целом они **более диффузны** – иными словами, обнаруживают больше синтаксической «гибкости». Ср. в особенности *yā* (непереходный) // *i* (*ay*) (непереходные и переходные употребления), *trā* (переходный) // *tī* (непереходные и переходные употребления), *drā* (непереходный) // *dru* (*drav*) (непереходные и переходно-каузативные употребления). В паре *pyā* // *pi* (*pī* ?) *pī* хорошо засвидетельствовано и в непереходных, и в переходных употреблениях уже в РВ, в то время как *pyā* преимущественно встречается в непереходных конструкциях; *-āya*-каузативы впервые появляются в АВ (4х); таким образом, *ā*-глагол, очевидно, менее диффузен (слабодиффузен), чем производный корень, по крайней мере в языке РВ. Есть также несколько пар, где оба участника принадлежат к одному синтаксическому классу, ср. *dhyā* // *dhī* (*dhayⁱ*) (оба – переходные) и *psā* // *bhas* (оба – переходные). Единственная пара, где *ā*-глагол может считаться (несколько) более диффузным, чем соответствующий *C*-глагол – это *mlā* // *mī* (*marⁱ*). *mlā* – преимущественно непереходный, в то время как *mī* – переходный, но каузатив к первому из них, *mlāpāyaⁱⁱ*, засвидетельствован несколько раньше (начиная с Атхарваведы), чем пассив второго, *mūryā^{te}*, который встречается только в ШБр. В действительности, однако, это исключение, которое подтверждает правило: из-за различия в конечном сонанте (*l/r*; вероятно, диалектная особенность) исторические отношения *mlā* и *mī* (*marⁱ*) более «стерты», чем отношения между членами любой другой пары, и, с синхронной точки зрения, они явно не образуют единства.

Что же касается более частных синтаксических особенностей глаголов, образованных от *C*- и *ā*-корней, наблюдаются следующие закономерности.

(i) В парах по модели перестановочного аблаута *CaRⁱ* (*C^R*) // *CRā* (т. е., на уровне праиндоиранской реконструкции, **CaRH-* // **CRaH-*), *ā*-глагол часто является **переходным**, в отличие от более **диффузного** *C*-глагола; ср. в особенности *tī* (*tarⁱ*) ‘преодолевать, перевозить’ // *trā* ‘защищать, спасать’ и *pī* (*parⁱ*) // *prā* ‘наполнять(ся)’. Интересно отметить, что презентный пассив с суффиксом *-ya-* и пассивный аорист (*i*-аорист) не засвидетельствованы в ведийском для большинства из этих *ā*-корней. Так, *aprāyī* является гапаксом, встречающимся только в РВКх и Атхарваведе; *dhmāyate* впервые появляется в поздневедийский период; пассив *trāyate* ‘защищается, спасается (кем-л.)’ не встречается до классического санскрита; для прочих *ā*-корней *-ya*-пассивы и *i*-аористы не засвидетельствованы.

(ii) Напротив, многие *ā*-глаголы, входящие в пары по модели *CaC* // *C(C)ā*, т. е., с диахронической точки зрения, содержащие расширение корня (суффикс) *-ā-* (< праи.-е. **-eH-*), – (преимущественно) **непереходные**, в отличие от более **диффузных** *C*-глаголов. Заметим, в частности, что презентные каузативы с суффиксом *-(p)āya-* (хорошо засвидетельствованные в ранневедийском для ряда корней на *-ā*, типа *sthā* ‘стоять’ и *dhā* ‘сосать’), носят сравнительно поздний характер или полностью отсутствуют для *ā*-корней из *CaC* // *C(C)ā*-пар. Так, каузативы к корням *yā* и *drā* впервые появляются в брахманах (т. е. в средневедийский период); каузатив к *gā* не засвидетельствован. Интранзитивизирующее воздействие *-ā-* очевидно также в паре *dah* // *kṣā*: в отличие от *dah*, который является базисно-переходным, но позднее перемещается в направлении диффузного типа, *kṣā* – преимущественно непереходный глагол, от которого образуется *-āya*-каузатив.

5. К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ *C//ā*-ЧЕРЕДОВАНИЯ

Многое остается неясным в том, что касается происхождения описанных выше корреляций между формальными типами *C//ā*-чередования и синтаксическими свойствами соответствующих глаголов. В целом материал индоевропейских языков за пределами индоиранского содержит мало параллелей к синтаксическим моделям, описанным в разделе 4. У многих *ā*-глаголов вообще нет надежных параллелей за пределами индоиранского, и, таким образом, истоки этого синтаксического распределения следует искать на индоиранской (или даже индоарийской) почве.

Существует ряд исторических механизмов, которые могли бы объяснить возникновение корреляции между формальными (морфонологическими) моделями и синтаксическими характеристиками соответствующих глаголов.

(i) В случае модели *CaC//CCā* (преимущественно) непереходный характер некоторых *ā*-глаголов может проистекать из интранзитивизирующей / стативной функции праиндоевропейского суффикса **-ē-* (**-eH-*). В действительности, как упоминалось выше, сопоставление с этим суффиксом сопряжено с некоторыми проблемами: в то время как в 'стативном' суффиксе **-ē-* реконструируется *h₁* (**eh₁-*; см. [Beekes 1995: 230]), в большинстве перечисленных выше *ā*-корней мы, вероятно, имеем дело с рефлексами другого ларингала, *h₂*. Ниже приводится полный перечень соответствующих корней и их общепринятых реконструкций, главным образом на основании этимологического словаря Майрхофера [Mayrhofer 1986–1996] и лексикона индоевропейского глагола [LIV]:

<i>h₁</i>	:	<i>kṣā</i>	< <i>*d^hg^h-eh₁-</i> 'гореть' (непереходный с <i>-áya</i> -каузативом)
		<i>prā</i>	< <i>*pleh₁-</i> 'наполнять' (переходный)
		<i>mlā</i>	< <i>*mleh₁-</i> (?) 'увядать' (непереходный с <i>-áya</i> -каузативом)
<i>h₂</i>	:	<i>kā</i>	< <i>*keh₂-</i> (?) 'жаждать, наслаждаться' (переходный)
		<i>gā</i>	< <i>*g^heh₂-</i> 'идти, шагать' (непереходный)
		<i>trā</i>	< <i>*treh₂-</i> 'защищать, спасать' (переходный)
		<i>drā</i>	< <i>*dreh₂-</i> 'бежать' (непереходный)
		<i>bhā</i>	< <i>*b^heh₂-</i> 'сиять' (непереходный)
		<i>mnā</i>	< <i>*mn-eh₂-</i> 'упоминать' (переходный)
		<i>yā</i>	< <i>*(H)ieh₂-</i> 'ехать' (непереходный)
<i>h₃</i>	:		надежных примеров нет
<i>H</i> (тип ларингала неизвестен)	:	<i>kśā</i>	< <i>*k^sk-eH-</i> 'видеть, рассматривать, причислять' (переходный с пассивом)
		<i>dhmā</i>	< <i>*d^hmeH-</i> 'дуть, раздувать(ся)' (переходный)
		<i>dhyā</i>	< <i>*d^hieH-</i> 'рассматривать, размышлять' (переходный)
		<i>pyā</i>	< <i>*pieH-</i> 'набухать' (непереходный)
		<i>psā</i>	< <i>*b^hs-eH-</i> 'жевать' (переходный)
		<i>śrā</i>	< <i>*kl-eH-</i> ⁴⁷ 'готовиться' (непереходный (?) с <i>-áya</i> -каузативом)
		<i>hvā</i>	< <i>*g^hueH-</i> ⁴⁸ 'звать' (переходный)

Очевидно, есть только один-два надежных примера, где непереходность *ā*-глагола может быть объяснена как прямой рефлекс интранзитивизирующей функции праиндоевропейского суффикса **-eh₁-*. Отметим, однако, что развитие синтаксических характеристик (не-диффузности) *ā*-глаголов следует, по-видимому, относить к праиндоиранской эпохе, когда три праиндоевропейских ларингала уже совпали. Соответственно, нельзя исключить, что всего несколько (производных) корней с рефлексом праиндоевропейского 'стативно-интранзитивизирующего' суффикса **-eh₁-* > праинд.-ир. **-aH-* (**d^hg^h-eh₁-?*, **kl-eh₁-?*) могли вызвать и/или поддержать развитие таких синтаксических свойств глагольных форм, образованных от всех корней структуры **CC-aH-*, независимо от типа праиндоевропейского ларингала.

⁴⁷ **kl-eh₁-?* [LIV: 323].

⁴⁸ Вероятно, *h₂* или *h₃*; см. [Mayrhofer 1986–1996, II: 811; LIV: 181].

(ii) В некоторых случаях синтаксические особенности форм, образованных от различных ступеней одного глагола / корня (ср., с одной стороны, переходный аорист *aprāt*, с другой – непереходный презенс *pūryate* и переходно-каузативный презенс *pṛñāti*), могли ассоциироваться с соответствующими (C- vs. *ā*-) вариантами корня. Вслед за этим одна парадигма могла разделиться на две подпарадигмы, и, соответственно, одна лексическая единица (один глагол) расщеплялся на два различных (хотя исторически и деривационно связанных) глагола. Таким образом, переходный синтаксис корневого аориста *āprās* мог быть обобщен для всех морфологических образований, построенных на полной ступени II типа корня *pṛ/ prā* ‘наполнять(ся)’, в отличие от морфологических образований, построенных на нулевой ступени (pres. *pūrya-te*, *pūryá-te*, *pṛñāti*, *pṛñá-te*), что, в конечном счете, привело к расщеплению одной лексической единицы на две, *pṛ* (*pūr*) ‘становиться полным; наполнять(ся)’ и *prā* ‘наполнять’ (см. [Albino 1999; Kümmel 2000: 325–328]), отличающихся синтаксическими признаками: диффузный vs. (преимущественно) переходный тип. Это различие в синтаксисе могло быть экстраполировано на другую пару корней той же модели (*CaRⁱ // CRā*) – *tṛ* ‘преодолевать, перевозить’ // *trā* ‘защищать, спасать’. В некоторых случаях это синтаксическое различие могло сопровождаться идиоматическими сдвигами в семантике глаголов (ср. *tṛ* (*tarⁱ*) ‘преодолевать, перевозить’ // *trā* ‘защищать, спасать’; *man* ‘думать, считать; уважать’ // *mñā* ‘упоминать’), но они носят менее регулярный характер, чем обсуждавшиеся выше синтаксические оппозиции.

(iii) Наконец, нельзя исключить, что различие в синтаксических свойствах между некоторыми исторически (и семантически) не связанными, но формально сходными корнями внесло свой вклад в эволюцию функциональной (синтаксической) нагрузки *C//ā*-чередования. Особенно интересной в этом отношении является пара *janⁱ* ‘рождать(ся); порождать’ // *jñā* ‘знать’. Несмотря на отсутствие семантических и исторических связей между этими корнями (см. выше), их формальное сходство и примечательное различие в синтаксическом поведении (*janⁱ* – диффузный; *jñā* – преимущественно переходный) могло дополнительно поддерживать синтаксические оппозиции между членами этимологических пар по модели *CaRⁱ // CRā* типа *pṛ* (*parⁱ*) // *prā*.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: СТАТУС *C//ā*-ЧЕРЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

В заключение следует сказать несколько слов о характере *C//ā*-чередования в системе глагольных категорий. Хотя связь его с такими синтаксическими характеристиками глаголов, как переходность, лабильность (диффузность) и т. д., кажется бесспорной, по крайней мере для значительной части таких пар, говорить о принадлежности этого морфо(но)логического явления к разряду валентных (залоговых в широком смысле термина) категорий было бы преждевременно. Идиосинкретический характер изменений, происходящих с глагольной семантикой при образовании *ā*-варианта, не позволяет охарактеризовать эту морфологическую операцию как (ин)транзитивизацию из числа известных нам валентных дериваций. Скорее мы имеем здесь дело с достаточно сложной операцией, затрагивающей и семантику глагольного корня, и его синтаксические характеристики, и парадигматические свойства, причем влияние его на синтаксис глагола носит характер тенденции, а не четкого правила. Такая синхронная размытость данного явления объясняется, по-видимому, неоднородностью происхождения *C//ā*-чередования (о чем шла речь выше) и его диахронической нестабильностью: не успев прочно укорениться в древнесиндоарийской глагольной системе, оно начинает терять свою функциональную нагрузку уже в конце ранневедийского периода и, в особенности, в средневедийском, в связи с перестройкой системы валентных дериваций и, в частности, в связи со стремительным ростом продуктивности презентных каузативов на *-áya-* и пассивов на *-yá-* (см. [Kulikov 2006a: 75 ff.]). Тем не менее следует отметить чрезвычайную важность этого явления для формирования системы оппозиций по транзитивности – в особенности в ранневедийский период – и для структурирования глагольного словаря в целом.

Хотя оно и покрывает сравнительно небольшую часть словаря и носит скорее субморфный статус, *C//ā*-чередование играет важную роль в установлении синтаксического потенциала глаголов в целом и, что особенно важно, различных фрагментов обширных глагольных парадигм (ранне)ведийского языка, оказывая значительное влияние на ряд тенденций развития ведийской глагольной системы. Статус такого рода субморфных явлений в глагольной системе и их типология в языках с богатой морфологией – как в индоевропейской семье, так и за ее пределами – изучен довольно слабо. Их исследование представляет одно из наиболее перспективных направлений диахронической типологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Зализняк 1975 – А.А. Зализняк. Морфонологическая классификация древнеиндийских глагольных корней // Т.Я. Елизаренкова (ред.). Очерки по фонологии восточных языков. М., 1975.
- Зализняк 1978 – А.А. Зализняк. Грамматический очерк санскрита // В.А. Кочергина. Санскритско-русский словарь. М., 1978 (2-е изд.: 1987).
- Куликов 1989 – Л.И. Куликов. Каузатив в санскрите: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.
- Куликов 1991 – Л.И. Куликов. Древнеиндийские глагольные корни на -ā (к проблеме определителей корня и перестановочного аблаута) // Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию со дня рожд. В.А. Дыбо. Тезисы докл. М., 1991.
- Куликов 1995 – Л.И. Куликов. Ведийские каузативные презенсы с носовыми аффиксами и их тематические варианты // Стхапакашраддха: Сб. статей памяти Г.А. Зографа. СПб., 1995.
- Albino 1999 – M. Albino. Vedisch *pūr* 'füllen' // Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd- und Ostasiens. 1999. Bd. 43.
- Anttila 1969 – R. Anttila. Indo-European Schwebablaut. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Beekes 1972 – R.S.P. Beekes. – III. 1972. V. 14. – Rec.: R. Anttila. Indo-European Schwebablaut. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Beekes 1985 – R.S.P. Beekes. Skt. *uttāná-* // KZ. 1985. Bd. 98.
- Beekes 1995 – R.S.P. Beekes. Comparative Indo-European linguistics. An introduction. Amsterdam, 1995.
- Benfey 1837 – T. Benfey – Ergänzungsblätter zur Allgemeinen Literatur-Zeitung (Halle). 1837. № 114–117 – Rec.: A.F. Pott. Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Littauischen und Gothischen. Lemgo, 1837.
- Benfey 1873 – T. Benfey. Die Suffixe *anti*, *āti* und *ianti*, *iāti* // Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augustus Universität zu Göttingen. Philos.-hist. Klasse. 1873. № 15.
- Benfey 1890 – T. Benfey. Kleinere Schriften. Bd. 1. Abt. 2. Berlin, 1890.
- Bezzenberger 1879 – A. Bezzenberger. – Göttingische gelehrte Anzeigen. 1879. · Rec.: K. Brugmann. Das verbale suffix *á* im indogermanischen... 1878.
- Bloomfield 1895 – M. Bloomfield. On assimilation и adaptation in congeneric classes of words // American journal of philology. 1895. V. 16.
- Brugmann 1878 – K. Brugmann. Das verbale suffix *á* im indogermanischen und die sogen. aeolische flexion der verba contracta // H. Osthoff, K. Brugmann. Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. I. Tl. Leipzig, 1878.
- Brugmann 1879 – K. Brugmann. Die achte conjugationsclassе des altindischen und ihre entsprechung im griechischen // KZ. 1879. Bd. 24.
- Burrow 1959 – T. Burrow. Sanskrit *kṣi-*: Greek φθίω // JAOS. 1959. V. 79.
- Gotō 1987 – T. Gotō. Die «I. Präsensklasse» im Vedischen: Untersuchung der vollstufigen thematischen Wurzelpräsentia. Wien, 1987. (2., überarbeitete und ergänzte Aufl. 1996).
- Gotō 1997 – T. Gotō. Materialien zu einer Liste altindischer Verbalformen: 16. *chad*, 17. *chand* / *chad*, 18. *chard* / *chrd*, 19. *dagh* / *dhag*, 20. *dveṣ* / *dviṣ*, 21. *bandh* / *badh*, 22. ¹*man*, 23. ²*man*, 24. *mnā*, 25. ¹*yav* / *yu*, 26. ²*yav* / *yu*, 27. *san*ⁱ, 28. *star* / *stṛ*, 29. *star*ⁱ / *stṛ*ⁱ // Bulletin of the National museum of ethnology (Osaka). 1997. V. 22. № 4.
- Griffiths 2009 – A. Griffiths. The Paippalādasamhitā of the Atharvaveda. Kāṇḍas 6 and 7: A new edition with translation and commentary. Groningen, 2009.
- Güntert 1914 – H. Güntert. Über Reimwortbildungen im Arischen und Griechischen. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. Heidelberg, 1914.

- Haudry 1977 – J. Haudry. L'emploi des cas en védique. Introduction à l'étude des cas en indo-européen. Lyon, 1977.
- Hettrich 2004 – H. Hettrich. Zu Konstruktion und Bedeutung der Wurzel *man* im Ṛgveda // Th. Krisch et al. (Hrsg.). *Analecta homini universali dicata: Arbeiten zur Indogermanistik, Linguistik, Philologie, Politik, Musik und Dichtung: Festschrift für O. Panagl zum 65. Geburtstag*. Stuttgart, 2004.
- Hiersche 1964 – R. Hiersche. Untersuchungen zur Frage der Tenues aspiratae im Indogermanischen. Wiesbaden, 1964.
- Hoffmann 1974 – K. Hoffmann. Ved. *dhānuṣ-* und *pāruṣ-* // Die Sprache. 1974. Bd. 20.
- Insler 1972 – S. Insler. Vedic *mamatsi*, *ámamdur* and *īyate* // KZ. 1972. Bd. 86.
- Jamison 1983 – S.W. Jamison. Function and form in the *-áya-*formations of the Rig Veda and Atharva Veda. Göttingen, 1983.
- Jasanoff 2002 – J. Jasanoff. 'Stative' **-ē-* revisited // Die Sprache. 2002. Bd. 43.
- Joachim 1978 – U. Joachim. Mehrfachpräsentien im Ṛgveda. Frankfurt-am-Main, 1978.
- Kronasser 1968 – H. Kronasser. Handbuch der Semasiologie: kurze Einführung in die Geschichte, Problematik und Terminologie der Bedeutungslehre. 2. Aufl. Heidelberg, 1968.
- Kulikov 1999 – L.I. Kulikov. Split causativity: remarks on correlations between transitivity, aspect, and tense // W. Abraham, L. Kulikov (eds.). Tense-aspect, transitivity and causativity. Essays in honour of Vladimir Nedjalkov. Amsterdam, 1999.
- Kulikov 2000a – L.I. Kulikov. Vedic causative nasal presents and their thematicization: a functional approach // J.Ch. Smith, D. Bentley (eds.). Historical linguistics 1995. Selected papers from the 12th International conference on historical linguistics, Manchester, August 1995. V. 1: General issues and non-Germanic languages. Amsterdam, 2000.
- Kulikov 2000b – L.I. Kulikov. The Vedic type *syāti* revisited // B. Forssman, R. Plath (Hrsg.). Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik. Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 2. bis 5. Oktober 1997 in Erlangen. Wiesbaden, 2000.
- Kulikov 2001 – L.I. Kulikov. The Vedic *-ya-*presents. PhD diss. Leiden University, 2001.
- Kulikov 2003 – L.I. Kulikov. The labile syntactic type in a diachronic perspective: The case of Vedic // SKY journal of linguistics. 2003. V. 16.
- Kulikov 2006a – L.I. Kulikov. Passive and middle in Indo-European: Reconstructing the early Vedic passive paradigm // W. Abraham, L. Leisiö (eds.). Passivization and typology: form and function (Typological studies in language. V. 68). Amsterdam, 2006.
- Kulikov 2006b – L.I. Kulikov. The Vedic medio-passive aorists, statives and their participles: Reconsidering the paradigm // B. Tikkanen, H. Hettrich (eds.). Themes and tasks in Old and Middle Indo-Aryan linguistics. Papers of the 12th World Sanskrit conference. V. 5. Delhi, 2006.
- Kulikov 2008 – L.I. Kulikov. The Vedic causative *saṁkhyāpáyati* / *saṁksāpáyati* reconsidered // Indologica: Сб. статей памяти Т.Я. Елизаренковой. Кн. 1 / Сост. Л. Куликов, М. Русанов. М., 2008.
- Kümmel 1996 – M. Kümmel. Stativ und Passivaorist im Indoiranischen. Göttingen, 1996.
- Kümmel 2000 – M. Kümmel. Das Perfekt im Indoiranischen. Wiesbaden, 2000.
- Kuryłowicz 1964 – J. Kuryłowicz. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- LIV – Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen / Unter der Leitung von H. Rix und der Mitarbeit vieler anderen bearbeitet von M. Kümmel [et al.]. 2., erweiterte und verbesserte Auflage. Wiesbaden, 2001.
- Lubotsky 1983 – A. Lubotsky. On the external sandhis of the Maitrāyaṇī Saṁhitā // IJ. 1983. V. 25.
- Lubotsky 1989 – A. Lubotsky. The Vedic *-áya-*formations // IJ. 1989. V. 32.
- Mayrhofer 1956–1980 – M. Mayrhofer. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I–IV. Heidelberg, 1956–1980.
- Mayrhofer 1986–1996 – M. Mayrhofer. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. I–II. Heidelberg, 1986–1996.
- Narten 1964 – J. Narten. Die sigmatischen Aoriste im Veda. Wiesbaden, 1964.
- Narten 1987 – J. Narten. Ved. *śrīṇāti*, gr. κρείων, κρέων // KZ. 1987. Bd. 100.
- Narten 1995 – J. Narten. Kleine Schriften. Bd. 1. Wiesbaden, 1995.
- Oertel 1941 – H. Oertel. Die Dativi finales abstrakter Nomina und andere Beispiele nominaler Satzfügung in der vedischen Prosa. München, 1941.
- Oertel 1994 – H. Oertel. Kleine Schriften. 2 Tl. Stuttgart, 1994.
- Oldenberg 1909 – H. Oldenberg. Ṛgveda. Textkritische und exegetische Noten. Bd. 1. Erstes bis sechstes Buch. Berlin, 1909.
- Persson 1912 – P. Persson. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. 2 Tl. Uppsala; Leipzig, 1912.

- Reichert 1904 – *H. Reichert*. Der sekundäre ablaut // KZ. 1904. Bd. 39.
- Renou 1930 – *L. Renou*. Grammaire sanscrite. Paris, 1930 (2^{me} éd. revue, corrigée et augmentée: 1960).
- Renou 1964 – *L. Renou*. Études védiques et pāṇinéennes. V. 13. Paris, 1964.
- Roesler 1997 – *U. Roesler*. Licht und Leuchten im Ṛgveda. Untersuchungen zum Wortfeld des Leuchtens und zur Bedeutung des Lichts. Swisttal-Odendorf, 1997.
- Schaefer 1994 – *C. Schaefer*. Das Intensivum im Vedischen. Göttingen, 1994.
- Schindler 1970 – *J. Schindler*. – Kratylos. 1970 [1972]. Bd. 15. – Rec.: *R. Anttila*. Indo-European Schwebeablaut. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Szemerényi 1970 – *O.J.L. Szemerényi*. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970.
- Szemerényi 1990 – *O.J.L. Szemerényi*. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4., durchgesehene Aufl. Darmstadt, 1990.
- Wackernagel 1896 – *J.W. Wackernagel*. Altindische Grammatik. Bd. I. Lautlehre. Göttingen, 1896.
- Wackernagel 1935–1937 – *J.W. Wackernagel*. Altindische und mittelindische Miscellen // Bulletin of the School of Oriental studies. 1935–1937. V. 8.
- Wackernagel 1955 – *J.W. Wackernagel*. Kleine Schriften. Göttingen, 1955.
- Wagner 1950 – *H. Wagner*. Zur Herkunft der ē-Verba in den indogermanischen Sprachen. Zürich, 1950.
- Watkins 1971 – *C. Watkins*. Hittite and Indo-European studies: the denominative in -ē- // Transactions of the Philological society. 1971 [1973].
- Whitney 1885 – *W.D. Whitney*. The roots, verb-forms, and primary derivatives of the Sanskrit language. Leipzig, 1885.
- Whitney 1889 – *W.D. Whitney*. Sanskrit grammar. 2nd ed. Cambridge (Mass.), 1889.
- Witzel 1989 – *M. Witzel*. Tracing the Vedic dialects // C. Caillat (ed.). Dialectes dans les littératures indo-aryennes. Paris, 1989.
- Yakubovich 1999 – *I. Yakubovich*. «Stative» suffix /-āi-a/ in the verbal system of Old Indic // K. Jones-Bley et al. (eds.). Proceedings of the Tenth annual UCLA Indo-European conference. Washington, 1999.

СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ТЕКСТОВ

AB(Шаун)	Атхарваведа (рецензия Шаунакия)
ABПайпп	AB, рецензия Пайппалада
АйтАр	Айтарея-араньяка
АйтБр	Айтарея-брахмана
Ар.	араньяки
Бр.	брахманы
BC	Ваджасанейи-самхита
ДжБр	Джайминия-брахмана
РВ	Ригведа
РВКх	Ригведа-Кхилани
Уп.	упанишады
ШБр	Шатанатха-брахмана
ШрС	шраута-сутры
ЯВ	Яджурведа(-самхита)
X+	(засвидетельствовано) начиная с [текста] X

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ

IJ	Indo-Iranian Journal
JAOS	Journal of the American Oriental Society
JIES	Journal of Indo-European studies
KZ	Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen (Kuhns Zeitschrift)
LIV	Lexikon der indogermanischen Verben
SKY	Suomen kielitieteellinen yhdistys (Linguistic Association of Finland)

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2010 г. Е.А. ИВАНОВА

**ИССЛЕДОВАНИЯ А.А. РЕФОРМАТСКОГО В ОБЛАСТИ
ПОЛИГРАФИИ КНИГИ И ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ КАК ЛИНГВИСТА
(к 110-летию со дня рождения
Александра Александровича Реформатского)**

На материале архива А.А. Реформатского воссоздана история и проблематика его исследований 1929–1935 гг. в области книговедения, издательского дела и полиграфии. Выявлен лингвистический статус этих исследований и раскрыта их роль в формировании взглядов Реформатского на природу языка и его лингвистической методологии.

Если внимательно посмотреть на существующие историографические работы о творчестве А.А. Реформатского [Аванесов, Панов 1971; Григорьев 1977; Крысин 1984: 319; Виноградов 1987; Мельчук 1995; Суперанская 2004], то легко заметить некоторую хронологическую и содержательную лауну. Из этих работ читатель узнает, что Реформатский закончил МГУ, писал итоговую работу у Д.Н. Ушакова и недолго проучился в аспирантуре РАНИОН. Затем с 1935 года он начинает преподавать в Мосгорпедде на кафедре у Р.И. Аванесова и активно работать над фонологической тематикой.

Но десятилетие между окончанием университета и началом фонологических занятий выглядит так, словно он, служа в издательствах и научно-исследовательских учреждениях полиграфической тематики – в частности, в НИИ ОГИЗа, – был все это время практически полностью оторван от лингвистических занятий.

До последнего времени работа А.А. Реформатского этого десятилетия была известна лишь по немногочисленным публикациям: «Техническая редакция книги» ([Реформатский 1933а] (далее – ТРК), о ее рецензии в позднейшей лингвистике см. [Иванова 2006; 2008]) и несколько статей, учтенных в библиографическом указателе Р.Д. Равич [Равич 1971]. Заметим, что даже лингвистический статус этих исследований оказался под вопросом. За исключением статьи «Лингвистика и полиграфия» [Реформатский 1933б] все они, в том числе и ТРК, остались вне раздела «Лингвистика» и составили особый раздел «Психология чтения, текстология, теория оформления книги, книговедение» [Равич 1971: 18, 24].

Выходит, что ученый, на 10 лет оторвавшийся от лингвистики, затем сразу проявляет себя сложившимся специалистом, готовым к решению фундаментальных проблем фонологии, орфографии, терминологии, лингвистом с четкой методологической позицией и широчайшим кругозором.

Преодолеть это историко-научное затруднение позволяет обращение к личному архиву А.А. Реформатского, находящемуся у М.А. Реформатской. Архив позволяет

существенно обогатить круг источников для изучения научной деятельности Реформатского в 1920–30-е гг. Сохранились многочисленные статьи, доклады, служебные записки, планы исследований и учебных курсов. В совокупности архивные находки не просто существенно пополняют наши знания о научной и педагогической деятельности Реформатского в области книговедения и издательского дела, но впервые позволяют построить ее связную (при всех пробелах) картину и осмыслить ее общее направление и методологию.

В предлагаемой статье мы хотим, опираясь на архивные материалы, показать, что издательско-полиграфическая тематика была в 1930-е гг. органичной составной частью языкового, а в более широком контексте – культурного строительства. При этом сам А.А. Реформатский был одной из ключевых фигур, в чьей деятельности объединилась в той или иной степени вся основная проблематика языкового строительства: разработка алфавитов, нормализация орфографии, создание терминологии, унификация транскрипции, создание научных основ издательского дела, стандартизация школьных учебников и некоторое другое.

Из анализа работ Реформатского рассматриваемого периода видно, что он воспринимал все эти проблемы как проблемы сугубо лингвистические и, вслед за Н.Ф. Яковлевым [Яковлев 1928], относил их к области прикладной, или, как Реформатский говорил в те годы, практической лингвистики (о периодизации прикладной лингвистики см. [Гиндин 2004; Гиндин в печати]). Уместно вспомнить, что близкий подход к прикладной проблематике развивал в те годы еще один из виднейших участников языкового строительства – Е.Д. Поливанов [Ларцев 1988: 61].

Таким образом, издательско-полиграфическая тематика вовсе не была инородным вторжением в общую линию научных занятий Реформатского, волей житейских обстоятельств на несколько лет задержавшим его обращение к фонологии и другим собственно лингвистическим проблемам.

В данной статье мы ставим перед собой цель систематически охарактеризовать весь доступный нам в настоящее время корпус работ издательско-полиграфической тематики, с тем чтобы сделать ясными их объем, содержание, задачи и жанровые особенности.

Описываемая часть архива (любезно предоставленная нам М.А. Реформатской) содержит рукописи и машинопись законченных и незавершенных работ ученого, в общей сложности более трех десятков единиц. Археографическое описание всех упоминаемых далее источников и их подробный анализ см. [Иванова 2009: 99–173].

Обстоятельства и хронологические рамки научной работы А.А. Реформатского в издательской сфере

Хронология и характер этой деятельности могут быть восстановлены по двум собственным свидетельствам Реформатского – в беседе с Дувакиным [Беседа 1973] и в краткой автобиографии [Мсльчук 1995]. Оба эти источника относятся к поздним годам жизни ученого и носят достаточно приблизительный характер. Однако в архиве М.А. Реформатской находится более подробный перечень мест учебы и службы Реформатского [Перечень 1989] от поступления в университет и до 1934 года. Он был составлен М.А. Реформатской не ранее 23 июля 1989 года (дата извещения на обороте) и восходит, по-видимому, к трудовой книжке ее отца или аналогичным официальным документам.

С 1923 по 1928 год Реформатский служил техническим редактором, корректором и выпускающим редактором в издательствах «Молодая гвардия», «Труд и книга», «Долой неграмотность» и в издательстве Мосздравотдела.

Хотя многолетняя работа в издательствах была вызвана житейскими обстоятельствами и поначалу, возможно, никак не соотносилась с научными интересами молодого ученого, в конечном итоге она оказалась очень важной для определения направления его научной деятельности и для становления его научного мировоззрения и исследова-

тельского стиля, а завоеванный на практической работе авторитет дал Реформатскому возможность начать с 1929 г. преподавательскую, а с 1930 г. и научную работу в области издательского дела.

В научной и педагогической деятельности конца 1920-х – середины 1930-х годов Реформатский обращался к различным проблемам книговедения, издательского дела и полиграфии. Порядок и принципы дальнейшего изложения материала в нашей статье определяются очередностью обращения ученого к тем или иным проблемам.

Общее планирование работ в области книговедения и семиотическая трактовка феномена книги

Изучение архива ученого показывает, что уже в самых ранних выступлениях в новом для него сообществе он берется за общую систематизацию актуальных проблем книговедения и намечает основы научного подхода к их решению. Этот факт красноречиво говорит как об исследовательских и организаторских возможностях, так и об особенностях научного почерка А.А. Реформатского.

К работам этой тематики могут быть отнесены доклад «К вопросу о методике изучения оформления массовой книги» (июнь 1930 г.) и аналитическая записка «В научно-исследовательский институт издательской и полиграфической промышленности» (январь 1931 г.).

Книговедческая методология в докладе строится на принципиально семиотических основаниях: на понятиях «обозначающего» и «обозначаемого», на различении книги как «физической» и как «социальной вещи». Особый интерес представляет проводимая здесь параллель между изучением книги и фонологией. В докладе дается также подробный перечень элементов текста, заголовочных элементов, обложки и т. п., восприятие которых необходимо подвергнуть экспериментальному исследованию. Позднее такое исследование действительно будет налажено (см. ниже).

В записке Реформатский подробно останавливается на трех задачах, которые считает первоочередными: классификации типов изданий, общей методологии оформления книги и изучении восприятия книги.

Без классификации типов изданий невозможно «оперативное планирование той или иной серии или целой продукции издательства, и сама типизация издательств, и общие вопросы стандартизации издательского дела». Классификация должна строиться «не на признаке содержания», а преимущественно на «признаке назначения, прямо определяющего элементы оформления, как внутреннего (формы изложения книги), так и внешнего (формы издания книги)». Появление здесь терминов «внутреннее» и «внешнее оформление» свидетельствует об активном применении элементов семиотической теории, воспринятых у Г.Г. Шпета [Шпет 1927; 1989]. Реформатский настаивает на понимании книги как иерархической структуры, в которой название и содержание определяют и внутреннее, и внешнее оформление.

Методология подготовки книжных изданий и функционально-жанровый подход к их типологии

К данной тематике относятся три архивных документа: сделанный Реформатским проект титульного листа и содержания невышедшего сборника статей и материалов под заглавием «Практическая классификация книжной номенклатуры» (1931 г.), тезисы доклада «Типы изданий» (7 июня 1931 г.) и написанный через полгода конспект доклада «К вопросу о методологии издания классиков» (декабрь 1931 – январь 1932 г.).

Реформатский последовательно проводит идею необходимости составления «предварительной классификации типов изданий» в качестве основы для любого мероприятия в области рационализации редакционно-издательской работы. В дополнение к признаку «темы» Реформатский уже в этом докладе выделяет второй базовый признак, определяющий тип издания: «социальное назначение». Среди аспектов социального

назначения Реформатский рассматривает 1) целевую установку, 2) характер читательских групп и 3) учет восприятия и пользования. Целевая установка является среди них важнейшей, поскольку она определяет «жанр» издания. Здесь же выделено восемь типов (жанров) книжной продукции. В докладе «К вопросу о методологии...» Реформатский впервые выдвигает принципиально важный тезис о том, что тип издания следует понимать как «структурное единство» (ср. мнение А.В. Суперанской о выдвижении принципа системности в ранних работах Реформатского по терминологии).

Еще более существенно, что в докладе в явном виде исчислены все элементы «внутреннего» и «внешнего оформления издания», что принципиально важно для реконструкции лингво-семиотической теории печатного текста.

Проблема издательского образования и трактовка технической редакции как объекта прикладного языкознания

Сюда относится составленный Реформатским набросок учебного плана («План занятий по полиграфическим курсам») для одного из издательских учебных заведений. План показывает, что Реформатский в 1931–1932 гг. не только уже читает полный курс технической редакции, но и продумывает пропедевтические вопросы, касающиеся курсов книговедения и корректуры, и фактически разрабатывает общую структуру специального издательского образования.

Педагогические заботы естественно привели Реформатского к идее подготовки учебных пособий. Таким пособием и стала сданная в набор 8 июня 1932 г. ТРК. Сопоставление ее структуры с «Планом занятий...» показывает, что ТРК составлялась так, чтобы помимо одноименного курса ей можно было пользоваться как учебным пособием по трем включенным в «План занятий...» вводным курсам и по основному курсу «Корректур», т. е. в общей сложности по пяти из семи дисциплин плана. ТРК предназначалась и для использования за пределами собственно учебного процесса – для всех практиков и теоретиков книжного дела. Подобное построение ТРК, способствуя цельности издательского образования, создавало опасность для внутренней целостности самой книги, грозя превратить ее в конгломерат разнородных тем и практических рекомендаций. Этого, однако, не произошло.

Целостность и систематичность стали возможными в ТРК благодаря точному выбору Реформатским центрального предмета пособия – «технической редакции» – и выдвижению им оригинального теоретического взгляда на нее как на процедуру перевода текста из рукописной формы существования в печатную. Объединив разнородный материал книги в стройное композиционное целое, такая трактовка позволила Реформатскому подойти к технической редакции как к одному из коммуникативных процессов и построить теорию и методику решения ее практических вопросов на основе принципов лингвистики и семиотики. Это делает ТРК этапным явлением в истории отечественной прикладной лингвистики.

Программы исследования «языка книги» и расширение предметной области науки о языке

Эта тематика целиком отражена в ранее неизвестных рукописных планах научных исследований и учебных пособий.

Написанный 18 сентября 1931 г. «План работы по изучению языка книги», по-видимому, был связан с началом внештатного сотрудничества Реформатского в образованном в 1931 г. Научно-исследовательском институте языкознания (НИЯЗ). В этой программе речь впервые идет не о восприятии книги в целом или ее отдельных конструктивных элементов, но о восприятии форм изложения, т. е. одного из элементов не книги, а заключенного в ней текста. Самого термина «текст», в отличие от ТРК, здесь пока еще нет, но зато в качестве центрального звена, связующего замысел книги с его воплощением, выдвигается «язык книги». Если в прежних программах лингвистика и семиотика

представали у Реформатского как методологическая основа изучения и упорядочения издательского дела, как одна из сфер использования языка, то теперь сам язык входит в область интересов и теоретического, и прикладного книговедения.

В частности, вновь найденное понимание места языка в структуре книги приводит Реформатского к выделению еще одной, ранее отдельно не рассматривавшейся, прикладной проблемы издательской сферы – проблеме «языковой редакции». На материале «языка книги», говорится в «Плане работ...», «может быть реально разрешена в первую очередь» центральная для советской лингвистики 1920-х – начала 1930-х гг. «проблема языкового строительства».

«Язык книги» и «языковая редакция» оказываются в центре также и ряда учебно-методических замыслов Реформатского 1931 – начала 1933 г., материалы к которым обнаруживаются в его архиве. Самым близким из них по времени к «Плану работы по языку книги» является машинописный фрагмент заявки на книгу, который мы из-за отсутствия названия обозначаем «<Заявка на “Руководство”>». Жанр книги мыслился двояко: это и справочное пособие для уже работающих специалистов, и одновременно учебное пособие для студентов литературных, издательских и библиотечных вузов.

Замысел «Руководства» значительно более лингвистичен, чем замысел ТРК. Но лингвистичность его вполне традиционна: и в общей, и в специальной части язык планировалось рассматривать в четырех аспектах, привычных для тогдашних языковедческих учебников: лексика, морфология, синтаксис, стилистика. Особенность трактовки этих аспектов Реформатским видна только в том, что о лексике предлагалось говорить до грамматики (эта методическая новация перейдет позднее в его классическое «Введение в языковедение», где глава «Лексикология» предшествует также и главе «Фонетика»).

Иной характер носил более поздний замысел аналогичного учебно-справочного пособия, в котором, с одной стороны, учитывалась издательско-полиграфическая проблематика удобочитаемости и шрифта, а с другой – и сама сфера «лингвистического» получала существенное расширение. Этот второй замысел засвидетельствован в архиве Реформатского сразу двумя вариантами плана, один из которых, озаглавленный «Что должен знать издательский работник о языке и языкознании», датирован апрелем 1932 г. (второй не озаглавлен и не датирован).

Озаглавленный вариант плана прежде всего поражает расширением лингвистического содержания, вкладываемого в понятие «язык книги», по сравнению и с рассмотренным выше планом «Руководства», и с «Планом работы по изучению языка книги». Прежнее ограничение словарем, словоупотреблением, морфологией и синтаксисом сохраняется (да и то с пополнением) только в пределах главы «Язык в различных типах изданий». Специальные главы теперь предполагается посвятить общей проблематике алфавитов и графики и вопросам орфографии, пунктуации и транскрипции (заметим, что в руководство по языку книги проникала ранее отсутствовавшая фонетика).

Несколько расплывчатое понятие «форм изложения» конкретизируется теперь в отдельной общей главе о «жанровых единицах стилистики». Судя по перечню этих единиц, такая глава, будь пособие написано, стала бы серьезнейшим вкладом в стилистику и в изучение речевых жанров и единиц структуры текста. Совершенно новаторским для того времени было включение в план главы «Язык словаря, языкового руководства и фонетическая транскрипция», соединявшей стилистический аспект с проблематикой метаязыка лингвистики.

В неозаглавленном варианте плана впервые выделены основные типы языкового изложения – связный текст, перечисление, лозунг – и чуть ли не впервые употреблен самый термин «связный текст» (ср. ниже в разделе об исследованиях удобочитаемости). Большой интерес в неозаглавленном плане представляет намерение подробно раскрыть историю изменений в отношении лингвистов к дихотомии устного и письменного языка, а также сопоставить общие подходы к феномену языка двух областей знания, которые оказали на автора влияние в молодости: социологической лингвистики (школы

Соссюра и Вандриеса) и философии и логики (Гуссерль, Кассирер и др.). В значительно более сжатом варианте этот историографический очерк был дан в статье 1933 года «Лингвистика и полиграфия» [Реформатский 1933б].

К сожалению, эти масштабные планы остались нереализованными – возможно, из-за закрытия весной 1933 г. НИЯЗа. Исследования типов изложения и жанровых форм существования языка, намеченные Реформатским, оставались делом будущего.

Экспериментальные исследования восприятия книги и проблема понимания текста

Эта тематика, в отличие от рассмотренной в предыдущем разделе, в значительной степени нашла отражение в завершенных и даже частью опубликованных текстах. Первые реальные результаты экспериментального изучения восприятия книги представляет обнаруженная в архиве ученая статья «Удобочитаемость и стандартизация» (май 1932 г.). Проблема удобочитаемости связана с выявлением закономерностей выбора шрифтов, длины строки и восприятия обложки – элементов «внешнего оформления» текста. Однако в работах Реформатского восприятие этих элементов принципиально рассматривается в перспективе общего процесса понимания текста и книги. Экспериментально-психологические исследования опираются тем самым на герменевтическую традицию, воспринятую от Г.Г. Шпета. Предпосылки экспериментального исследования, формулируемые Реформатским, носят также и отчетливо системный характер. Системны и книга, и читатель, и их взаимодействие. В этой статье Реформатский впервые прямо говорит о принадлежности своих «полиграфических» работ к «практической», т. е. прикладной лингвистике.

В октябре 1932 г. Реформатский пишет следующую статью – «Удобочитаемость внешнего оформления книги» [Реформатский 1934]. В ней подняты две важные для семиотики книги темы: распределение функций в процессе подготовки книги между автором, редактором и производством и трактовка графической системы печатного текста как сочетания алфавита и его шрифтовой реализации.

В том же 1932 г. совместно с психологом В.А. Артемовым Реформатский написал статью «Восприятие обложки», интересную первым в работах полиграфического цикла указанием на принципиальное различие в восприятии собственно текста книги и ее обложки. Здесь же впервые сформулированы функции обложки как части «общей структуры книги».

С 1933 г. работы Реформатского по проблемам удобочитаемости начинают появляться в печати.

Итог всем многолетним коллективным исследованиям по удобочитаемости должна была подвести коллективная книга «Удобочитаемость произведений печати», «примерный план» которой (за подписью В.А. Артемова), относящийся к лету 1934 г., сохранился в архиве Реформатского. Интересно, что в описании содержания этой книги использован нехарактерный для эпохи термин «связный текст».

Лингвистические аспекты национального языкового строительства и анализ структуры графических знаков

Сюда относятся работы Реформатского по унификации алфавитов, оформлению национальных учебников и универсальной транскрипции для библиотечных каталогов.

В январе 1933 г. Реформатский выступил на заседании Технографической комиссии Всесоюзного Центрального комитета нового алфавита (ВЦК НА) с докладом «Лингвистический анализ ассортимента графических знаков НА». Подробные «тезисы доклада», размноженные для участников заседания, удалось обнаружить в архиве Реформатского. В них излагаются общие теоретические основания разработки знаков для НА, а также формулируются лингвистические, графико-психологические и полиграфические требования к любому алфавиту.

Возможность конфликта между требованиями разных типов заставляет при оптимизации алфавита гибко подходить к выбору того или иного решения, того или иного знака: «Указанные <...> требования в одних случаях совпадают (унификация рисунка прописных и строчных букв, недопустимость слишком мелких и тонких штрихов, острых углов и переклестов более чем двух линий, недопустимость отдельной диакритики и др.), но часть требований вступает в противоречие (например, требования общих признаков для тех знаков, которые передают родственные фонемы и нежелательность наложения графических образов при восприятии). Эти противоречия следует разрешать по совокупности всех соображений с учетом ведущей роли лингвистических требований».

Идеи, изложенные в этом докладе Реформатского, видимо, были одобрены и техникографической комиссией, и научным советом ВЦК НА. Предстояло их обсуждение на пленуме ВЦК НА.

Однако в журнале «Письменность и революция», выпущенном к пленуму, Реформатский предпочел опубликовать не доклад, а программную статью более широкого содержания под ланидарно броским заглавием «Лингвистика и полиграфия» [Реформатский 1933б]. Являясь результатом исследований по унификации алфавитов, она одновременно стала итоговим изложением лингво-семиотических идей автора.

В статье три раздела: «Устная и письменная речь», «Алфавит и шрифт» и «Роль лингвиста в оформлении произведений печати». В первом из них находится единственный в наследии Реформатского сжатый историографический очерк отношения лингвистов к письменному языку. В каком-то смысле этот раздел можно считать введением к важнейшей семиотической работе позднего периода творчества «О перекодировании и трансформации коммуникативных систем».

Второй раздел статьи содержит эскиз общей теории алфавита и орфографии, иллюстрируемый подробным анализом современного русского алфавита, не имеющим аналога в других печатных трудах Реформатского.

В третьем разделе дается обсуждение работ о письменном языке Г.О. Винокура, Р.О. Шор, Л.В. Щербы и изложение собственных взглядов на письменный язык, краткая экспозиция оригинальных жанрово-стилистических идей. Содержится в нем и квинтэссенция лингво-семиотических идей ТРК.

Помимо работ по созданию алфавита, Реформатский в 1933 г. принимал участие в решении таких задач языкового строительства, как оформление национальной учебной книги и унификация транскрипции для библиотечных каталогов. По первой из этих задач им была опубликована содержательная статья инструктивно-установочного характера «Оформление стабильного учебника в нациздательствах» [Реформатский 1933в]. По ней видно, какую роль играли научные исследования самого Реформатского или с его участием в практике отечественного издательского дела.

Работы Реформатского по второй из названных задач освещаются нами на основе найденного в архиве доклада, посвященного унификации транскрипции алфавитов языков СССР в сводном каталоге Библиотеки им. Ленина.

Основная идея доклада формулировалась следующим образом: «Для того, чтобы оперативные библиотечные работники были в состоянии расшифровать заказы читателей <...> необходимо иметь сводку алфавитных соответствий различных языков и различных алфавитов одного языка, а также некоторый “единый условный алфавит”, посредством которого транскрибировались бы сведения каталожной записи».

Языки для внутреннего обеспечения издательского процесса. Корректурные знаки и полиграфическая терминология

Эта тематика отличает архивные тексты 1933 г.: «Объяснительная записка к стандарту корректурных знаков» и три сочинения терминологической тематики, связанные с составлением завершеного, но не изданного «Словаря полиграфической терминологии». Одно из этих сочинений – большая статья «Словари отраслевой терминологии», предназначавшаяся для журнала «Фронт науки и техники».

И записку о корректурных знаках, и статьи о полиграфической терминологии объединяет последовательный системный подход к искусственным языковым системам. К материалу частному и утилитарному Реформатский подходит с единых теоретических позиций, что позволяет и легко находить практические решения, и извлекать из них общелингвистические выводы.

Завершение научных исследований А.А. Реформатского в области книговедения и их лингвистические итоги

1933 год был пиком прикладной научной деятельности Реформатского и по числу публикаций, и по интенсивности работы, и по кругу охваченных тем. А от 1934 года в архиве не отложилось почти никаких материалов прикладного характера.

Издательско-полиграфический цикл работ как будто закончился. Это свидетельство архива находит подтверждение в фактах биографии А.А. Реформатского: в 1934 г. он расстался с НИИ ОГИЗа, осенью того же года поступил преподавать в Мосгорпединститут на кафедру Р.И. Аванесова, а также стал ученым секретарем Орфографической комиссии Наркомпроса, ученым секретарем Транскрипционной комиссии. После этого А.А. Реформатский лишь однажды обратился к научной проблематике книгоиздательской сферы, сделав в ноябре 1935 г. двухдневный обобщающий доклад на конференции издателей и полиграфистов в Ленинграде (рукописные тезисы и стенограмма этого доклада также сохранились в архиве).

Что же заставило ученого навсегда оставить проблематику книгоиздания, в изучении которой он достиг немалых успехов и снискал большой авторитет? По-видимому, решающими были не внешние факторы, а внутренние, коренившиеся в логике научного развития ученого. С одной стороны, Реформатский как прикладной лингвист охватил в своей концепции все стороны книги как семиотического феномена и все стадии тогдашнего издательско-полиграфического процесса. Дальше оставалось изучать детали. С другой стороны – и это, пожалуй, главное – в ходе исследования издательско-полиграфической проблематики Реформатский окончательно сложился как лингвист с оригинальным взглядом на язык и широким научным кругозором. Лингвисту такого масштаба уже было тесно в рамках одной, хотя и важной, сферы приложения языковедения. Но в советских условиях 1930-х годов возможностей для разработки общелингвистической теории не было и в немногочисленных языковедческих учреждениях. А вот в вузовской аудитории лингвист такого уровня и кругозора мог существовать и даже быть желанным сотрудником. Предложение Р.И. Аванесова оказалось как нельзя более кстати: путь Реформатского-книговеда закончился, начинался путь Реформатского – учителя лингвистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов, Панов 1971 – *Р.И. Аванесов, М.В. Панов. Александр Александрович Реформатский // Р.И. Аванесов, Ф.П. Филин (отв. ред.). Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А.А. Реформатского. М., 1971.*
- Бесседа 1973 – Бесседа В.Д. Дувакина с А.А. Реформатским 24 ноября 1973. Расшифровка Т.В. Жуковой // Научная библиотека МГУ. Отдел фонодокументов. Копия из архива М.А. Реформатской.
- Виноградов 1987 – *В.А. Виноградов. Александр Александрович Реформатский (1900–1978) // А.А. Реформатский. Лингвистика и поэтика. М., 1987.*
- Гиндин 2004 – *С.И. Гиндин. Основные проблемы прикладной лингвистики: Программа курса // Образовательная программа послевузовского профессионального образования: 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика. М., 2004.*
- Гиндин в печати – *С.И. Гиндин. А.А. Реформатский в истории развития и осмысления прикладной лингвистики. (в печати).*
- Григорьев 1977 – *В.П. Григорьев. А.А. Реформатский. Литературный портрет // Вопросы лексикологии, стилистики и грамматики в аспекте общего языкознания: Межвузов. тематич. сб. Калинин, 1977.*

- Иванова 2006 – *Е.А. Иванова*. Б.С. Шварцкопф и научная рецепция «Технической редакции книги» А.А. Реформатского // *Язык и мы. Мы и язык*. М., 2006.
- Иванова 2008 – *Е.А. Иванова*, М.В. Панов в научной судьбе «Технической редакции книги» А.А. Реформатского // *Вестник РГГУ*. 2008. № 6. (Серия «Языкознание / Московский лингвистический журнал». Т. 10.)
- Иванова 2009 – *Е.А. Иванова*. Лингво-семиотическая теория печатного текста А.А. Реформатского (по материалам работ издательско-полиграфического цикла 1930-х годов): Дис. ... канд. филол. наук. М., 2009.
- Крысин 1984 – *Л.П. Крысин*. Александр Александрович Реформатский // *Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание)*. М., 1984.
- Ларцев 1988 – *В.Г. Ларцев*. Евгений Дмитриевич Поливанов: Страницы жизни и деятельности. М., 1988.
- Мельчук 1995 – *И.А. Мельчук*. Памяти Александра Александровича Реформатского (16.X.1901-3.V.1978) // *И.А. Мельчук. Русский язык в модели «Смысл-Текст»*. М.; Вена, 1995.
- Перечень 1989 – Перечень мест учебы и службы Реформатского 1918–1934 гг. Составлен М.А. Реформатской; 1989 г. (рукопись).
- Равич 1971 – *Р.Д. Равич*. Список научных трудов Александра Александровича Реформатского // *Р.И. Аванесов, Ф.П. Филин (отв. ред.)*. Фонетика. Фонология. Грамматика. К семидесятилетию А.А. Реформатского. М., 1971.
- Реформатский 1933а (ТРК) – *А.А. Реформатский* (при участии М.М. Каушанского). Техническая редакция книги. Теория и методика работы / Под ред. Д.Л. Вейса. [М.], 1933.
- Реформатский 1933б – *А.А. Реформатский*. Лингвистика и полиграфия // *Письменность и революция*. 1933. № 1.
- Реформатский 1933в – *А.А. Реформатский*. Оформление стабильного учебника в нациздательствах // *Просвещение национальностей*. 1933. № 4.
- Реформатский 1934 – *А.А. Реформатский*. Удобочитаемость и оформление книги. Эривань, 1934.
- Суперанская 2004 – *А.В. Суперанская*. Из воспоминаний о Реформатском // *В.А. Виноградов (отв. ред.)*. Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения А.А. Реформатского. М., 2004.
- Шпет 1927 – *Г.Г. Шпет*. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольта. М., 1927.
- Шпет 1989 – *Г.Г. Шпет*. Эстетические фрагменты // *Г.Г. Шпет. Сочинения*. М., 1989.
- Яковлев 1928 – *Н.Ф. Яковлев*. Математическая формула построения алфавита (опыт практического приложения лингвистической теории) // *Культура и письменность Востока. Кн. I*. М., 1928. (Персизд.: *А.А. Реформатский*. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.)

© 2010 г. А.В. КАЛАШНИКОВ

ЛИНГВИСТ ЮДЖИН НАЙДА

В статье излагается теория перевода, разработанная известным американским лингвистом Ю. Найдой.

11 ноября 2009 г. исполнилось 95 лет американскому лингвисту и одному из основоположников современной теории перевода Юджину Альберту Найде. В разные периоды он работал в Летнем институте лингвистики, занимал должность исполнительного секретаря отдела переводов Американского библейского общества, был президентом Американского лингвистического общества. 30 сентября 2009 года в Международный день переводчиков в Высшей школе устных и письменных переводчиков в Брюсселе (ISTI), где теоретик перевода еще совсем недавно читал лекции, по случаю его юбилея была подготовлена обширная программа мероприятий, на которых выступал сам юбиляр, и выпущен сборник статей, посвященный ему [Dimitriu, Shlesinger 2009].

В настоящей статье будут рассмотрены основные направления исследования этого лингвиста, в частности, принципы выявления морфем, предпереводческий анализ ядерных структур, компонентный анализ, прагматика перевода, передача образности и модель динамической эквивалентности. Также будут приведены примеры использования динамической эквивалентности при переводе Библии, сопоставлены некоторые сходства и различия в переводах Священного Писания на русский и английский языки и дана общая характеристика научной деятельности ученого.

К интересам разностороннего ученого – автора десятков книг и сотен статей – на разных этапах деятельности относились: дескриптивная лингвистика, семантика, межкультурная коммуникация, теория коммуникации, перевод, а также языки коренных народов, социолингвистика, стилистика, дискурс, лексикография, методика преподавания. Все эти сферы знаний он сосредоточил на одном предмете исследования – Библии, что позволяет считать этого лингвиста одним из первых исследователей языка религиозных текстов и религиозного перевода и, следовательно, одного из ставших сегодня столь актуальных направлений: языка специальности. Большое влияние на Ю. Найду оказали идеи представителей американского структурализма: порождающая грамматика Н. Хомского, анализ непосредственных составляющих Л. Блумфилда, антропологическая концепция и понятие культурного контекста языковых высказываний Б. Малиновского, работы Э. Сепира и Ч. Фриза, а также семиотические концепции логиков Ч. Пирса, Ч. Морриса.

Ю. Найда родился 11 ноября 1914 г. в городе Оклахоме в семье, где говорили на нескольких языках: немецком, французском, голландском и английском. В 1936 году он с отличием окончил Калифорнийский университет, а тремя годами позднее в Южнокалифорнийском университете получил степень магистра по греческому языку Нового Завета и патристике. Знание древних языков и богословия в дальнейшем позволило Ю. Найде тщательно проанализировать переводы Библии.

Летом 1937 г. молодой ученый начал читать лекции по морфологии и синтаксису в тогда еще только начинавшем свою деятельность Летнем институте лингвистики в

штате Арканзас. Институт организовывал экспедиции в Мексику для изучения бесписьменных языков, в частности, племен ацтеков, тараумара, отоми. Таким образом молодые ученые, среди которых был и лингвист К.Л. Пайк, постигали основы формирования языков. Результатом первой командировки Ю. Найды стала статья «Язык тараумара» [Nida 1937].

Всего Ю. Найда совершил более 200 поездок в разные уголки мира. В ходе командировок по странам Латинской Америки и Африки он работал с миссионерами, подбирая переводчиков среди местного населения, давал рекомендации о том, как переводить на языки коренных народов, изучал особенности языков и культур различных племен и проверял сделанные другими учеными гипотезы. Так, изучая перевод Нового Завета на язык хопи юто-ацтекских племен в штате Аризона, Ю. Найда, хотя и сам неоднократно доказывал, что между языками существуют различия в описании действительности¹, не нашел свидетельств, подтверждающих известное утверждение Б.Л. Уорфа о том, что в этом языке отсутствуют понятия времени и календаря [Nida 2003: 53].

Лингвистическая концепция Ю. Найды

В 1943 г. в Мичиганском университете Ю. Найда защитил написанную под руководством известного лингвиста Ч. Фриза диссертацию «Синопсис английского синтаксиса» [Nida 1960] и получил степень доктора философии. В этой работе, долгое время считавшейся основным исследованием по теории непосредственных составляющих, на материале английского языка подробно представлены типы слов, словосочетания и конструкции, выполняющие синтаксические функции в предложении.

Годом позже Ю. Найда опубликовал свою основную работу по дескриптивной лингвистике – «Морфология: дескриптивный анализ слов», которую он позднее значительно переработал [Nida 1964a]. В этой книге на материале нескольких десятков разных по структуре и распространенности языков – английского, арабского, французского, греческого, испанского, турецкого, а также языков племен: хауса, навахо, кечуа, тараумара – Ю. Найда дал комплексное описание морфем, создал их классификации по составу фонем (сегментные, сверхсегментные и смешанного типа) и по дистрибуции, т.е. по структурам и принципам сочетаемости морфем (свободные – связанные; корневые морфемы – морфемы основы; ядерные – неядерные).

Среди формирующих морфемы фонем преобладают сегментные, т.е. выражающие значение звуковой последовательностью, например формы английского глагола: *ring – rang* ('звонить' – 'звонил'). Сверхсегментные фонемы, относительно редко встречающиеся в чистом виде, выражают значение посредством изменения тона. Фонемы смешанного вида выражают значение, одновременно используя и звуковую последовательность, и изменения тона. Морфемы последнего типа преобладают в китайском языке, где каждая морфема состоит из сочетания сегментных и сверхсегментных фонем.

В классификации по дистрибуции, т.е. относительно структуры сочетаний морфем, рассматривалось противопоставление изолированных (свободных: *boy, girl*) и связанных морфем (*-able*), корневых морфем (*man*) и морфем основы (ядерных морфем: *manly* 'мужественный'), и сочетаний аффиксов (неядерных морфем: *boyishness*).

В этой работе были также сформулированы шесть принципов выявления морфем. К морфемам относятся:

1) формы с общей семантической характеристикой и обладающие идентичным составом фонем, преимущественно сегментных, например, суффикс *er*, обозначающий в английском языке лицо, называемое по роду занятий, профессии и т. д.: *walker* 'пешеход', *runner* 'бегун';

2) формы с общей семантической характеристикой, но отличающиеся на фонетическом уровне, например, отрицательные приставки *in-, im-*: *intolerable* ('невыносимый'), *impossible* ('невозможный');

¹ Например, Найда утверждает, что в языке тараумара отсутствуют отдельные обозначения для синего и зеленого цветов [Nida 1964b: 35].

3) формы с общей семантической характеристикой, но отличающиеся фонетически так, что их дистрибуция не может быть установлена на фонетическом уровне, например, разные формы множественного числа существительных: *roses* 'розы', *oxen* 'волы';

4) звукобуквенные последовательности с внешними формальными различиями, в которых имеется внешнее формальное различие или нулевое структурное различие: *foot – feet* 'нога' – 'ноги', *sheep – sheep* 'овца' – 'овцы'. Внешнее формальное различие – это противопоставление, вызванное различиями фонем или их последовательностью: *foot – feet* 'нога' – 'ноги', а при нулевом (скрытом) структурном различии какие-либо изменения формы отсутствуют: *sheep – sheep*;

5) формы-омофоны, представляющие собой разные морфемы: *bear* 'медведь' и *to bear* 'нести';

6) изолированные морфемы: *stone* 'камень', морфемы, сочетающиеся с другими изолированными морфемами: *respectable* 'почтенный', и морфемы, встречающиеся только в одном сочетании: *cran- cranberry* 'клюква', *rasp- raspberry* 'малина', *cray- crayfish* 'рак'.

Ю. Найда также составил список основных грамматических значений, выражаемых связанными морфемами: притяжательность, материальность, идентификация, определенность – неопределенность, имя собственное – имя нарицательное, число, расположение, размер, ценность, причинность, форма, одушевленность, род, время, вид, залог, наклонение, лицо, движение. Этот перечень дает представление об основных значениях, выражаемых грамматическими формами. Ю. Найда отмечает, что способ выражения этих категорий может в разных языках варьироваться. Например, в языке хупа категория времени может в некоторых языках выражаться существительным [Nida 1964a].

Переводческая концепция Ю. Найды

В 1942 г. Ю. Найда инициировал создание при Летнем институте лингвистики организации «Миссия переводчиков Библии “Уиклиф”»² (Wycliffe bible translators), поставившей целью перевести Библию на все языки мира. В 1949 г. в сотрудничестве с представителем Нидерландского библейского общества Г. Рутгером Ю. Найда основывает журнал «The Bible translator» («Переводчик Библии»), ставший ведущим в области перевода Библии. Деятельность в Американском библейском обществе Ю. Найда начал в 1944 г. Одной из основных его задач была проверка качества переводов Библии.

К теории перевода Ю. Найда обратился в статье 1945 г. «Лингвистика и этнология в переводе» [Nida 1945a] и книге «Перевод Библии» [Nida 1945b], в которых впервые после Второй мировой войны было сосредоточено значительное внимание на теории перевода. Эти работы были написаны в преддверии учредительной конференции Объединенных библейских обществ (ОБО). В «Перевод Библии», где рассматривались языки племен, содержалось много предположений, нашедших свое развитие в работах Найды по теории перевода «К науке о переводе» [Nida 1964b] и «Теория и практика перевода» [Nida 1969], в частности, начало развиваться понятие «культурная эквивалентность», позднее ставшая моделью «динамической эквивалентности».

В сборнике «О переводе» [Nida 1959]³, который, по словам лингвиста и специалиста в области теории перевода В.Н. Комиссарова, «сыграл важную роль с истории формирования лингвистической теории перевода» [Комиссаров 2001: 545], Ю. Найда дает определение перевода: «перевод заключается в создании на языке перевода наиболее близкого естественного эквивалента сообщения языка оригинала, прежде всего по значению, а также стилистически» [Nida 1959: 19]. В этом телеологическом (ориентированном на цель) определении отражен один из основных, по мнению Ю. Найды, принципов перевода: естественность, т. е. текст перевода должен читаться как текст, написанный носителем языка.

² Организация носит имя Дж. Уиклифа (Wycliffe) (? 1328–1384) – предшественника протестантизма и сторонника перевода Библии на национальные языки.

³ Там же была опубликована статья Р. Якобсона «О лингвистических аспектах перевода».

Порождающая грамматика стала предметом исследования Ю. Найды в 1952 г. в статье «Новая методология Библейской экзегезы» [Nida 1952], т. е. до выхода книги Н. Хомского «Синтаксические структуры», посвященной порождающей грамматике и считающейся началом нового этапа в лингвистике⁴. В статье были затронуты вопросы, до сих пор обсуждаемые в трансформационной грамматике, в частности глубинная (ядерная) структура. Идеи трансформационной грамматики, развиваемые им и в последующих работах, заключаются в том, что одну и ту же мысль (глубинную структуру), хотя и с допустимыми изменениями, можно выразить с помощью поверхностных структур (трансформ). Например, ядерную (глубинную) структуру *Jesus rebuked Peter* [Nida, Taber 1969: 49] можно представить в виде пассивной конструкции: *Peter was rebuked by Jesus*, эмфатической конструкции: *It was Jesus who rebuked Peter*, именной конструкции: *The rebuke of Peter by Jesus* и т.д.

Создание из ядерной структуры трансформов Ю. Найда также называет парафразом (или обратной трансформацией). К основным характеристикам парафразы ученый относит: 1) другой способ передачи одного и того же смысла, 2) точность, т.е. отсутствие изменений в семантических компонентах: добавлений, пропусков, при возможности внесения лишь других обозначений для тех же отношений между теми же элементами, и 3) направленность на новую формулировку ядерных структур [Nida, Taber 1969: 47].

Эти идеи нашли свое практическое применение в трансформационной модели перевода. Перевод по этой модели проходит в три этапа: 1) обратная трансформация, когда рассматривается поверхностная структура текста оригинала, 2) перенос, когда проанализированный материал переносится из одного языка на другой, и 3) синтез (переструктурирование), когда перевод редактируется для надлежащего восприятия реципиентом [Nida, Taber 1969].

Выбор поверхностной структуры зависит от контекста и строя языка. Например, в языке одного из племен в Мексике фразу *God is love* ('Бог – это любовь') лучше выразить как *God loves people* ('Бог любит людей') [Nida 1975: 36], а в некоторых языках, например в языке нилотик в Танзании, предпочитают пассивные конструкции. Говоря о предпочтительности той или иной конструкции, Ю. Найда отмечает, что именные конструкции не столь точны и однозначны, как глагольные, и не всегда четко показывают отношения между компонентами фразы. В частности, сочетания существительных в английском языке, соединенные предлогом *of*, оказываются двусмысленными или непонятными, например *the book of Moses* 'книга Моисея', поскольку предлог *of* в английском языке может выражать и принадлежность, и авторство.

Синтаксису фразы Найда уделяет большое внимание и считает, что для достижения эквивалентности на уровне культуры необходимо тщательно выбирать синтаксическую конструкцию.

Не меньше внимания Ю. Найда уделяет контекстуальному значению лексических знаков и их прагматическому воздействию. Важность контекста Ю. Найда показывает на полисемичном греческом слове *σάρξ*, переводимом на английский язык *flesh* ('плоть', 'родственники', 'все живое', 'человеческая природа', 'народ'). Или в «Американской образцовой редакции» в 3 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус беседует с фарисеем Никодимом, греческое слово *πνεῦμα* [Nida, Taber 1969: 5], означающее «ветер» (*wind*) и «дух» (*spirit*), упоминается в одном предложении, что вызывает сложность при определении первостепенности одного из значений:

The wind bloweth where it will, and thou hearest the voice thereof, but knowest not whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit [<http://scripturetext.com/john/3-8.htm>].

⁴ Сам Ю. Найда [Nida 1975: 71] и президент Американского библейского общества Э.М. Норт [North 1974: 12] пишут, что идеи порождающей грамматики впервые были предложены Ю. Найдой, однако американский специалист по переводу Э. Генцлер утверждает, что Ю. Найда читал рукопись книги Н. Хомского до ее опубликования [Gentzler 2001: 45].

При этом в Библии на русском языке *σαρξ* передано в значении «дух»:

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа [Б 1990: 1130].

Для выявления объема значения и установления эквивалентности близких по значению единиц Ю. Найда предлагает проводить компонентный анализ - элемент анализа текста, направленный на выявление и организацию семантических компонентов слов [Nida, Taber 1969: 229], лежащий в основе семантической модели перевода. Такой анализ важен при выявлении несовпадения объемов значения в разных языках, что наблюдается, например, в обозначениях родственников. Так, в английском языке слово *grandfather* 'дед' не содержит семы «родственник по отцовской или материнской линии», а в шведском языке *ded* по отцу обозначается словом *farfar* - дословно 'отец отца', *ded* по матери - *morfar* - 'отец матери'.

Компонентный анализ может потребоваться и при выборе метафоры. Некоторые метафоры текста оригинала отсутствуют в культуре текста перевода или представлены в ином образе, что предполагает необходимость адаптации. В частности, у африканских народов много метафор, связанных с животным антилопой, а хитрость прочно ассоциирующаяся у европейских народов с лисой, должна передаваться образом гадюки [Nida, Taber 1969: 88]. Фраза из Евангелия от Матфея: «Or what man is there among you who, when his son asks for a loaf, will give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent?» [Nida 1960в: 98] некоторым народам Африки покажется абсурдной, поскольку многие предпочтут змею рыбе. В таком случае нужно подобрать название какой-то несъедобной змеи или дать комментарий. Следует отметить, что в русском синодальном переводе Библии идеи съедобного и несъедобного выражены «хлебом» и «камнем» соответственно: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею?» (Матфей 7:9, 10) [Б 1990: 1080].

Еще один пример прагматической адаптации представлен высказыванием из Послания к Римлянам (12:20):

Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head [Nida 1960в: 96].

'Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья' [Б 1990: 1239].

Ю. Найда полагает, что фраза *heap coals of fire on his head* 'собирать на его голову горящие уголья', окажется не совсем уместной у некоторых африканских народов, а в Конго может пониматься как вид смертельной пытки [Nida 1960в: 96]. В 12 главе, где используется это выражение, автор послания - апостол Павел - наставляет язычников и призывает их не озлобляться по отношению к врагам: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». В данном случае как раз и представлен образ пытки угрызениями совести и адаптация этой фразы была бы не уместна.

Подробный обзор развития теории перевода, типов знаков и значений и теоретическое обоснование теории динамической (функциональной) эквивалентности (безусловно, центрального понятия его теории) дается в книге «К науке перевода» [Nida 1964b]. Еще в работе 1947 г. [Nida 1947], в частности в главе 8 «Принципы перевода», обсуждаются различные виды эквивалентности - от культурологической до лексической. Таким образом, учитывая дату издания книги, Найду можно считать первым, кто стал использовать понятие эквивалентности в теории перевода.

Динамическая эквивалентность основывается преимущественно на синтаксической и семантической составляющих, т.е. важности структуры фразы и понятности текста для читателя перевода. Синтаксическая составляющая основана на теории порождающей грамматики, а семантическая на компонентном анализе значения и прагматической адаптации. Согласно определению динамическая эквивалентность - «это качество перевода, при котором текст оригинала так передан на язык перевода, что реакция получателя текста перевода в целом аналогична реакции получателя текста оригинала» [Nida, Taber 1969: 202]. Динамическая эквивалентность противопоставляется

формальной эквивалентности (формальному соответствию), т.е. дословному переводу, выполненному на так называемом «переводческом языке» с нарушением синтаксических и стилистических правил и не предполагающему дополнительных пояснений. К переводам Библии, выполненным по модели формальной эквивалентности, Ю. Найда относит Библию короля Якова (King James Version), Американскую образцовую редакцию (American Standard Version), Американскую исправленную образцовую редакцию (American Revised Standard Version)⁵.

Перевод, с точки зрения Ю. Найды, должен быть ориентирован на содержание, а не формальное сходство и быть понятен реципиенту, вызывать у него определенные эмоции. Такой подход позволяет переводить содержание и дух текста оригинала, не будучи привязанными к лингвистической структуре, в чем его идея сходна с высказыванием структуралиста В. Матезиуса: «Цель литературного перевода заключается в достижении теми же или иными средствами той же степени художественного воздействия, что и оригинал» (цит. по [Gentzler 2001: 82]).

Во многом развитию и популярности динамической эквивалентности способствовало сотрудничество между Американским библейским обществом в составе Объединенных библейских обществ (ОБО) и Ватиканом. До начала 60-х годов XX века ОБО были представлены преимущественно протестантскими организациями, стремившимися донести Слово Божье путем распространения книг Священного Писания, но после Второго Ватиканского собора 1962–1965 годов к сотрудничеству с ОБО присоединились католики. К одному из существенных достижений Ю. Найды можно отнести и участие в создании в 1968 г. совместного для ОБО и Секретариата по вопросам единства христиан Ватикана документа «Основные принципы межконфессионального сотрудничества в переводе Библии» [Guidelines 1968], определявшего условия выполнения межконфессиональных переводческих проектов. Основной целью этого документа было распространение христианства путем перевода Библии на все языки мира. Этому этапу способствовало решение о ведении богослужения наряду с латынью на национальных языках.

Одной из первых попыток реализации принципов динамической эквивалентности был перевод в 1961 г. сотрудником Американского библейского общества Р. Брэтчером Евангелия от Марка на язык одного из африканских племен. Тогда же был выполнен изданный в Великобритании перевод «Новая английская Библия» [NEB 1961]. В Американском библейском обществе перевод Библии с соблюдением принципов динамической эквивалентности был издан под названием «Благая весть для современного человека» [GNMM 1966]. Ю. Найда считал этот перевод образцом при анализе канонических версий и неизменно признавал преимущество текста, созданного по принципам динамической эквивалентности.

Как относительно хороший перевод из сделанных ранее Ю. Найда отмечает перевод Нового Завета английским писателем Дж.Б. Филлипсом [Phillips 1959], где применялся парафраз [Nida 1964b: 24]. Примером динамической эквивалентности здесь служит замена в Послании к Римлянам св. апостола Павла (16:16) *святого целования* в Библии короля Якова на *радушное рукопожатие*:

Greet one another with a holy kiss.

Give each other a hearty hand-shake all round in Christian love.

‘Приветствуйте друг друга с целованием святым’ [Б 1990: 1243].

Ю. Найда считает, что канонические переводы (в частности перевод в 1611 г. Библии короля Якова) слишком сложны для понимания, а Библия должна быть понятна всем. Анализируя отрывок из Послания к Ефессянам св. апостола Павла о спасении от наказания: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от

⁵ Русские заглавия этих переводов Библии даются по «Православной энциклопедии» [ПЭ 2005: 170].

дел, чтобы никто не хвалился» [Б 1990: 1280] в Библии короля Якова и «Доброй вести для современного человека», Ю. Найда рекомендует добавлять местоимения, тем самым делая более четкой взаимосвязь между частями предложения: *his grace*, а не просто *grace* 'благодать', и отказываться от устаревшей лексики (*lest* 'чтобы не'). Он также отмечает, что текст, разбитый на отдельные предложения, воспринимается лучше – в версии 1966 года из одного предложения сделано три:

Библия короля Якова

Новая английская версия
[Nida, Taber 1969: 53]

For by grace are ye saved through faith and that not of yourselves it is the gift of God; not of work, lest any man should boast.

For it is by his grace you are saved through trusting him. It is not your own doing. It is God's gift not a reward for work done. There is nothing for anyone to boast of.

Американская образцовая редакция издания 1901 г., переведенная по нормам и образцу Библии короля Якова, по мнению Ю. Найды, пользовалась популярностью лишь среди студентов-теологов в качестве подстрочника, но не среди прихожан [Nida 1964: 20], поскольку, хотя все слова английские, структура предложения осталась греческой, о чем свидетельствует инвертированный порядок слов. В качестве примера приводится отрывок из Второго послания к Коринфянам св. апостола Павла:

Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине преимущественной славы последующего (3:9–10) [Б 1990: 1263].

Американская образцовая
редакция

Новая английская версия
[Nida 1964b: 20]

For if the ministration of condemnation hath glory, much rather doth the ministration of righteousness exceed in glory. For verily that which hath been made glorious hath not been made glorious in this respect, by reason of the glory that surpasseth.

If splendor accompanied the dispensation under which we are condemned, how much richer in splendor must that one be under which we are acquitted! Indeed, the splendor that once was is now no splendor at all; it is outshone by a splendor greater still.

Относительно рассмотренных примеров следует сделать некоторые критические замечания. Прежде всего, очевидно, что Ю. Найда слишком идеализирует динамическую эквивалентность и считает, что верны только переводы, сделанные по его методике. К недостаткам понятия динамической эквивалентности можно отнести и то, что, хотя автор концепции и считает, что динамическая эквивалентность это не вольный перевод [North 1974: 12], четкого разграничения этих видов сделано не было. Следствие такой неопределенности видится в приведенном ниже отрывке из «Благой вести для современного человека», в котором содержание выражается отличающимся от других вариантов способом. В этом издании фраза из Екклесиаста «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (11:1) [Б 1990: 624], звучит так:

Вкладывай деньги в иностранную торговлю, и скоро ты получишь доход.

Invest your money in foreign trade, and one of these days you will make a profit [http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+11&version=GNT].

В отношении модели динамической эквивалентности многие специалисты по переводу также отмечают ряд недостатков: теоретик перевода Л. Венути считает лишним преувеличение роли культурной составляющей в переводе, исследователь Библии

М. Марлоу говорит, что переводы, выполненные по модели динамической эквивалентности, слишком упрощены и слишком расходятся с первоначальным текстом, французский поэт и переводчик Библии А. Мешонник отмечал, в частности, что Ю. Найда изучает не перевод, а адаптацию текстов на одном языке, но разных эпох. К недостаткам можно отнести и то, что большинство примеров предлагается только на английском языке, и греческий текст Библии не сопоставляется с текстом перевода, т. е. примеры представляют собой переводы с языка канонических переводов на язык Американского библейского общества.

Теория Ю. Найды в значительной степени направлена не на перевод в целом, а на перевод Библии и проповедывание христианства для небольших народов и племен. Снятие межкультурных различий приближает перевод к адаптации для той или иной аудитории, что можно отнести к прагматической сверхзадаче. Современная теория перевода, уделяющая значительное внимание переводу текстов узкой специализации, к коим можно отнести и Библию, признает сложность способа выражения для восприятия неспециалистами, но адаптация при этом применяется достаточно редко, поскольку дополнительное толкование может привести к неточности.

В то же время необходимо отметить положительные стороны деятельности Ю. Найды. Он систематизировал знания предшественников и на этой основе создал новую концепцию, которая развивается до сих пор. В его направленных на практическую деятельность работах реализовалась, хотя и в несколько упрощенном виде, порождающая грамматика Н. Хомского.

Ю. Найда следовал идеям Э. Сепира и Б. Малиновского в том, что эффективная коммуникация не основана лишь на лингвистической составляющей, поскольку никакие два языка не могут полностью описать одну и ту же действительность, какой бы она ни была: материальной, социальной или религиозной, поэтому рассматривает перевод как часть лингвистики, но вместе с тем учитывает междисциплинарность перевода и его связь с культурологией, этнографией и психологией.

Ученый развил в своей концепции основные принципы современной теории перевода: особенности передачи лексического состава, структур разных языков, способы выражения, естественность речи, избавление от переводческого языка (именно Ю. Найда ввел в широкое употребление для этого понятия термин «translationese») и важность контекста. В конце 90х годов XX века Ю. Найда принял активное участие в создании «Энциклопедии перевода»: входил в состав редакторов-консультантов издания и подготовил статью о переводе Библии [Baker 1998]. В 2001 году Американское библейское общество присвоило имя ученого Институту библейских исследований (Nida Institute of biblical scholarship, American bible society). Сейчас Ю. Найда живет в Бельгии, где, хотя и находится на заслуженном отдыхе, ведет научную деятельность, в частности, редактирует свои основные труды.

Проекты, созданные при участии Ю. Найды, продолжают развиваться. Среди нынешних задач Института библейских исследований можно отметить перевод Библии на языки стран Азии, действует миссия «Уиклиф», в частности проект «Уиклиф-2025», участники которого планируют к 2025 г. перевести Библию на все языки мира (<http://www.bibleresourcecenter.forministry.com/index/>), регулярно издается журнал «The Bible translator» (<http://www.sil.org/siljot/>). Ежегодно проводятся конференции и традиционные школы перевода имени теоретика перевода.

Ю. Найда создал целую школу перевода, представители которой сейчас ведут активную научную деятельность, в частности В. Вилсс (Германия), Э. Пим (Испания). Вклад Ю. Найды отметили и российские теоретики перевода: А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, М.Я. Цвиллинг, В.Н. Крупнов, и зарубежные: П. Ньюмарк, считающий Ю. Найду самым влиятельным из всех современных специалистов по переводу [Newmark 1993: 133], М. Бейкер [Baker 1998: 277], Ф. Носс [Noss 1997]. Сам Ю. Найда в одном из интервью сказал, что он посвятил свою жизнь тому, чтобы призывать переводчиков «видеть сквозь слова смысл текста» [Nida 2003: 4], что можно считать главной заслугой этого ученого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Б 1990 – Библия. Синодальное издание Московской патриархии. М., 1990.
- Комиссаров 2001 – *В.Н. Комиссаров*. Современное переводоведение. М., 2001.
- ПЭ 2005 – Православная энциклопедия. М., 2005.
- Baker 1998 – *M. Baker* (ed.). Routledge encyclopedia of translation studies. London, 1998.
- Dimitriu, Shlesinger 2009 – *R. Dimitriu, M. Shlesinger* (eds.). Translators and their readers // Homage to Eugene A. Nida. Brussels, 2009.
- Gentzler 2001 – *E. Gentzler*. Contemporary translation theories. Clevedon, 2001.
- GNMM 1966 – Good news for modern man: The New Testament in today's English version. New York, 1966.
- Guidelines 1968 – Guidelines for interconfessional cooperation in translating the Bible. Rome, 1968.
- NEB 1961 – New English Bible. Oxford, 1961.
- Newmark 1993 – *P. Newmark*. Paragraphs on translation. Clevedon, 1993.
- Nida 1937 – *E. Nida*. The Tarahumara language // Investigaciones Lingüísticas. 1937. № 4.
- Nida 1945a – *E. Nida*. Bible translating. Oklahoma, 1945.
- Nida 1945b – *E. Nida*. Linguistics and ethnology in translation problems // Word. 1945. № 1.
- Nida 1947 – *E. Nida*. Bible translating: an analysis of principles and procedures with special reference to aboriginal languages. New York, 1947.
- Nida 1952 – *E. Nida*. A new methodology of biblical exegesis // The Bible translator. 1952. № 3.
- Nida 1959 – *E. Nida*. Bible translating // On translation. Harvard, 1959.
- Nida 1960a – *E. Nida*. A synopsis of English syntax. Oklahoma, 1960.
- Nida 1960b – *E. Nida*. Message and mission. The communication of the Christian faith. Pasadena, 1960.
- Nida 1964a – *E. Nida*. Morphology: The descriptive analysis of words. Ann Arbor, 1964.
- Nida 1964b – *E. Nida*. Toward a science of translation. Leiden, 1964.
- Nida 1975 – *E. Nida*. Language structure and translation: essays. Stanford, 1975.
- Nida 2003 – *E. Nida*. Fascinated by languages. Amsterdam, 2003.
- Nida, Taber 1969 – *E. Nida, Ch. Taber*. The theory and practice of translation. Leiden, 1969.
- North 1974 – *E.M. North*. A. Nida: An appreciation // M. Black, W.A. Smalley (eds.). On language, culture, and religion: In honor of Eugene A. Nida. The Hague, 1974.
- Noss 1997 – *Ph.A. Noss*. Dynamic and functional equivalence in the Gbaya Bible // Notes on translation. Dallas, 1997.
- Phillips 1958 – *J.B. Phillips*. The New Testament in modern English. New York, 1958.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

J.E. Rasmussen, T. Olander (eds.). Internal reconstruction in Indo-European: methods, results, and problems. Section papers from the XVI International conference on historical linguistics, University of Copenhagen, 11th–15th August, 2003 (Copenhagen studies in Indo-European. V. 3). Copenhagen: Museum Tusulanum press, 2009. 268 p.

Рецензируемый сборник составлен из переработанных вариантов докладов, прочитанных на секции «Внутренняя реконструкция в индоевропейском языке» XVI Международной конференции по исторической лингвистике, прошедшей в августе 2003 года в Копенгагене. Обычно под внутренней реконструкцией понимается «построение гипотез о праязыковых прототипах тех или иных языковых элементов на основании данных одного языка» [Бурлак, Старостин 2005: 178]. Такое широкое определение, однако, не учитывает существенных различий между методами, к которым принято применять название «внутренняя реконструкция». За неимением лучших терминов эти методы можно было бы условно назвать «индуктивной» и «дедуктивной» внутренней реконструкцией. «Индуктивная» внутренняя реконструкция представляет собой формализованную процедуру, применяемую к достаточно полному массиву данных одного языка. Результатом применения «индуктивной» внутренней реконструкции является набор «исходных» форм морфем данного языка и набор правил, порождающих из «исходных» форм реально наблюдаемые. Именно этот вид внутренней реконструкции, как правило, описывается в пособиях по сравнительно-историческому языкознанию (см., например [Ringe 2003; Campbell 2004: 225–251]). Однако, как отмечают Л. Кэмпбелл и В. Грондона, «некоторые из работ, часто приводимых в списках литературы по внутренней реконструкции, на самом деле имеют мало общего с методом внутренней реконструкции в современном его понимании» [Campbell, Grondona 2007: 24] (авторы, в частности, имеют в виду работы Е. Куриловича). Действительно, зачастую, особенно в индоев-

ропеистике, под «внутренней реконструкцией» подразумевается совсем другой метод, который мы назвали выше «дедуктивной» внутренней реконструкцией. В отличие от «индуктивной» внутренней реконструкции, он не может быть формализован и не требует привлечения сколько-нибудь полного массива данных по рассматриваемому языку. При «дедуктивной» внутренней реконструкции исследователь выдвигает какую-либо гипотезу о предыстории данного языка и затем приводит отдельные примеры, подтверждающие эту гипотезу. Убедительность подобных гипотез сильно варьируется в зависимости от качества использованных данных. Метод «дедуктивной» внутренней реконструкции можно проиллюстрировать примером из рецензируемого сборника: Б.А. Ольсен в своей статье (B.A. Olsen «How many noun suffixes did Proto-Indo-European have?») постулирует первоначальное распределение между праиндоевропейскими показателями именных основ **e/o*, **u* и **i*. По ее мнению, первоначальный тематический гласный реализовывался как **e/o* под ударением, как **u* в слоге, следующем за ударным, и как **i* в остальных позициях. Этот постулат иллюстрируется следующими примерами из древнеиндийского: *sutá-* ‘выжатый’, *sótu-* ‘выжимание’ и *sóma-suti-* ‘выжимание сомы’. Хорошо известно, однако, что для праиндоевропейского восстанавливаются как окситонированные, так и баритонированные *o-*, *u-* и *i-* основы [Иллич-Свитыч 1963], такая же ситуация сохраняется и в древнеиндийском. Даже если ограничиться отглагольными суффиксами **-to-*, **-tu-* и **-ti-*, данные будут противоречить гипотезе Ольсен, т.к. в древнеиндийском отглагольные имена на **-tu-* и **-ti-* могут быть как окситонированны-

ми, так и баритонированными [Lubotsky 1988: 33–37, 46–47]. Следует отметить, что работ, в которых бы применялась «индуктивная» внутренняя реконструкция, в рецензируемом сборнике практически нет.

В. Бубеник (V. Bubenik «On the expression of spatio-temporal locations in Late Proto-Indo-European») анализирует выражение пространственно-временной локализации в праиндоевропейском. Приводится полный список наречий, предлогов / послелогов и превербов, выражавших пространственно-временные отношения, и восстанавливаются их значения в праиндоевропейском. Автор полагает, что наличие в древних индоевропейских языках послелогов (например, греч. =δε в οἶκα=δε ‘домой’) – пережиток агглютинативной стадии развития индоевропейского.

Статья **Г. Карлинг** (G. Carling «Reconsidering the system: verbal categorization and the coding of valency in Tocharian») посвящена систематизации материала, касающегося запутаннейшей проблемы соотношения между так называемыми основной (Grundverb) и каузативной (Kausativ) формами глагола в тохарских языках. Помимо наиболее регулярного случая (основная форма непереходна, каузативная – переходна и имеет побудительное значение), встречаются также битранзитивные каузативы от переходных глаголов (типа АВ *lāk-* ‘видеть, смотреть’ – Сaus ‘показывать’), а у целого ряда глаголов валентная структура (а иногда и значение) основной и каузативной форм совпадают (В *tāl-* ‘поддерживать, держать, хранить’ – Сaus ‘поднимать’; В *tsārk-* ‘жечь, мучить’ – Сaus тж.). Отмечая, что такое явление характерно в основном для тохарского В, Г. Карлинг выдвигает предположение, что мы имеем дело с западнотохарской «‘unnecessary’ innovation», однако причиной может быть просто значительно меньший объем известных к настоящему моменту текстов на тохарском А. Заканчивается статья перечнем глаголов с двумя каузативными формами, смысловые отношения между которыми также не укладываются в какую-либо регулярную модель.

П.С. Коэн (P.S. Cohen «On the etymology of Latin *optimus* / *optimus* and the reflex of PIE **H₂o-*») предлагает новую этимологию латинского суперлатива *optimus* ‘лучший’. Традиционно это слово связывается с корнем *op-* (< и.-е. **h₃ep-*) ‘работать; производить в изобилии’. Коэн не оспаривает эту этимологию, считая ее одним из источников лат. *optimus*. Однако, исходя из гипотезы о том, что одно слово может иметь несколько верных этимологий (хотя и не поясняя, какой реальный языковой механизм мог бы за этим стоять), автор указывает другой возможный источник рассматриваемого слова.

Ссылаясь на неопубликованную работу Ф. Кавото (F. Cavoto), Коэн утверждает, что индоевропейские корни, начинавшиеся на **kh₂-*, могли иметь дублетные формы с аналутным **h₂-*. В таком случае, по мнению Коэна, лат. *optimus* может быть однокоренным лат. *caput* ‘голова’, и эта этимология служит дополнительным доводом в пользу мнения, что праи.-с. **h₂o-* дало в латыни *o-*, а не *a-*.

Принятая автором методология, допускающая как немотивированное дробление рефлексов праязыковых фонем, так и наличие нескольких верных этимологий у одного слова, по сути является возвращением к домладограмматической эпохе в истории компаративистики.

О. Хилл (E. Hill «Zur Rekonstruktion des urindogermanischen Konjunktivs zu athematischen Verbalstämmen (vorläufige Mitteilung)») рассматривает в своем исследовании проблему образования конъюнктива от атематических основ в праиндоевропейском. В индоевропеистике принято различать образование новых основ от корней (так называемая «первичная деривация») и от именных или глагольных основ (так называемая «вторичная деривация»). При вторичной деривации суффикс обычно присоединяется к слабой форме исходной основы. Исключением из этого правила является образование конъюнктива от атематических основ, при котором показатель конъюнктива присоединяется к сильной форме исходной основы. В работе О. Хилла рассматриваются два возможных решения этой проблемы. Одно из них заключается в том, что в праиндоевропейском показатель конъюнктива присоединялся непосредственно к корню. В таком случае формы конъюнктива, образованные от основ презенса и аориста, должны быть постпраиндоевропейской инновацией. При втором решении конъюнктив рассматривается как вридли-производное от атематической основы. Автор проводит следующую аналогию: так же, как от праи.-с. **h₃nóbʰ-* ~ **h₃nbʰ-* ‘пупок’ образуется вридли-производное **h₃énbʰ-e/o-* ‘область пупка’, от праи.-с. атематической основы **h₁és-* ~ **h₁s-* образуется конъюнктив **h₁és-e/o-* (т.е. в этом случае конъюнктив также образуется от слабой основы). О. Хилл подробно сравнивает преимущества и недостатки этих двух гипотез, последовательно рассматривая образование конъюнктива от атематического редуцированного презенса, назального презенса, сигматического аориста и акростатического презенса, и приходит к выводу, что в целом гипотеза о конъюнктиве как вридли-производном обладает большей объяснительной силой. Сомнения, однако, вызывает сама исходная предпосылка автора, полагающего, что морфонологическое правило, имеющее

исключения в засвидетельствованных индоевропейских языках (например, в древнеиндийском), не могло иметь их в праиндоевропейском.

Цель исследования А. Хюллестеда (A. Hultstedt «Internal reconstruction vs. external comparison: the case of the Indo-Uralic laryngeals») – установить соответствия индоевропейских ларингалов в прауральском. Автор, сторонник ностратической теории, признает также специфическое родство индоевропейского и уральского (включая в постулируемую семью и юкагирский) и восстанавливает индоуральские праформы. Хотя, как это видно по приведенным в статье примерам, принимаемые автором соответствия между праиндоевропейским и прауральским существенно отличаются от соответствий, предложенных Иллич-Свитычем и другими сторонниками ностратического и/или индоуральского родства, в статье нет полной таблицы индоуральских соответствий. По мнению автора, всем трем индоевропейским ларингалам в прауральском, как в анлауте, так и в инлауте (за исключением некоторых специфических позиций) соответствует **k*. А. Хюллестед также предлагает несколько нетривиальных фонетических соответствий, не связанных с ларингалами, например, и.-е. **ǵʰ* – ур. **j*, и.-е. **s* – ур. **r* и др. Многие индоуральские сопоставления предлагаются автором впервые.

К сожалению, некоторые из приведенных автором индоевропейских и уральских праформ содержат существенные неточности и искажения. Так, например, индоевропейское название 'руки', восстанавливаемое автором как **ǵʰes-n(t)-* и сравниваемое с прафинно-угорским **jäsVnV* 'сочленение, член', на самом деле не содержит **n-* и должно восстанавливаться как **ǵʰes-r/*ǵʰos-to-* [IEW: 447; NIL: 170–172], финно-угорск. **kumte* значит только 'широкий' и не имеет значения 'approximate number' [UEW: 203–204], финно-угорский глагол 'расти', давший фин. *kasva-*, безусловно, должен восстанавливаться в виде **kaswa-* [UEW: 129–130], а не **kawk-sa* (как это предлагает Хюллестед). Семантическая сторона сопоставлений также не всегда безупречна: сомнительным кажется, например, выведение праюкагирского слова **ončə-* 'вода' из реконструированного автором индоуральского глагола **ymigje* 'мочиться'. Еще один недостаток индоуральских сопоставлений Хюллестеда – большое количество этимологий, в которых один индоуральский корень дает сразу несколько различных уральских (или индоевропейских) рефлексов. Типичный пример – сравнение индоевропейского **ǵʰalgʰ-* 'шест' сразу с тремя уральскими корнями: финно-угорским **jälhV* 'ствол дерева, пень', финно-угорским **jalka*

'нога' и прибалтийско-финским **jalaka* 'вяз'. Подобные сопоставления (а в рассматриваемой статье их насчитывается не меньше десятка) наглядно показывают, что при не слишком высокой требовательности к точности фонетических и семантических соответствий задача нахождения уральских параллелей к индоевропейскому корню (или наоборот) оказывается пугающе простой.

В целом попытку автора установить новые фонетические соответствия между праиндоевропейским и прауральским нельзя признать удачной – прежде всего из-за недостоверности этимологий, иллюстрирующих эти соответствия.

Дж. Джэзнов в своей статье (J. Jasanoff «**-bhi, *-bhis, *-dis: following the trail of the PIE instrumental plural*») анализирует происхождение индоевропейских показателей instr. pl. Вслед за Е. Куриловичем Джэзнов считает, что падежные показатели на **-bh* в конечном счете происходят от суффикса **-bhi*, образовывавшего наречия (например, **h₁e/o-bhi* 'рядом' > вед. *abhi*, **h₂nt-bhi* 'вокруг' > греч. ἀμφί). Само по себе это предположение не объясняет, почему праиндоевропейское окончание instr. pl. выглядит как **-bhis*, а окончание dat.-abl. pl. – как **-bh(i)os*. Джэзнов обращает внимание на то, что в хеттском, где нет падежных показателей на **-bh*, окончание dat.-loc. pl. выглядит как *-aš*. Если предположить, что хеттское окончание непосредственно продолжает раннеиндоевропейское (индо-хеттское) окончание dat.-abl. pl. **-os*, то окончание **bh(i)os* можно рассматривать как результат контаминации **-os* и наречного показателя **-bhi*. В таком случае можно ожидать, что и окончание instr. pl. **-bhis* также является результатом контаминации **-bhi* с первоначальным показателем instr. pl., который мог выглядеть как **s* или **-is*. Следы существования окончания **-is* обнаруживаются в нескольких наречиях: вед. *bahih* 'снаружи', вед. *āvih* 'явно' и греч. μόυις 'с трудом, едва'. Наиболее же убедительным доказательством существования этого окончания автор считает тематическое окончание instr. pl. **-dis*.

Хотя работа не свободна от ряда построений ad hoc (так, только что упомянутое окончание **-dis* автор предлагает анализировать как **-oi-* + **-is*, где **-i-* перенесено из местоименного склонения, с последующим развитием **oiis* > **-dis*), мысль о связи хеттского окончания dat.-loc. pl. *-aš* с и.-е. **-bh(i)os* представляется в высшей степени плодотворной. В целом исследование Джэзнова намечает интересные перспективы в реконструкции истории индоевропейских падежных окончаний.

К.Г. Красухин (K.G. Krasukhin «The Indo-European aspect-tense system and quantitative

ablaut») исследует связи между аблаутными чередованиями в корне и праиндоевропейской видо-временной системой. Сопоставляя возможные соотношения между однокоренными глаголами с разными степенями корневого гласного, автор приходит к выводу о существовании особой стадии развития индоевропейской глагольной системы. Сначала распределение аблаутных вариантов в основах презенса и аориста было случайным, но потом произошла поляризация: презенс, имевший нулевую степень, был соотнесен с аористной основой полной степени и наоборот, причем эти соотношения были связаны с переходностью–непереходностью и активностью глагольной основы. Последующее развитие суффиксальных показателей времени ослабило данную корреляцию и в конце концов привело к утрате аблаутными чередованиями их роли основных грамматических маркеров видо-временных значений.

Тезис К.Г. Красухина о первоначально случайном распределении аблаутных вариантов корня по формам презенса и аориста вызывает теоретические возражения. Чаще всего такого рода «случайность» (даже если считать, что именно она и имела здесь место) является результатом разрушения некоей более древней системы, реконструкция которой обречена оказаться еще более гипотетичной. Представляется, что постулирование случайного распределения не вносит ничего нового в объяснение системы индоевропейского аблаута.

Статья Н. Николаевой (О'Шей) (N. Nikolaeva «On the historical morphology of the Old Irish verb *téit* "goes"») посвящена происхождению формы 3 sg. презенса индикатива древнеирландского глагола 'идти'. Парадигма этого глагола уникальна тем, что включает в себя пять супплетивных основ, восходящих к разным индоевропейским корням. Кроме того, в презенсе индикатива форма 3 sg. *téit* противопоставлена всем остальным формам (ср. 1 sg. *tiagu*), восходящим к тематической основе **steig^h-e/o-*. Форма 3 sg. *téit*, по предположению Н.А. Николаевой, восходит к амфикинстическому назальному презенсу. Постулируется следующее развитие: 3 sg. **stéj-n-g^h-ti* vs. 3 pl. **sti-n-g^h-énti* > **tēnχti* vs. **tingenti*. Далее **tēnχti* преобразуется в **tēngti* под влиянием 1 sg. **tēngmi*. Автор отмечает, что восстанавливаемый назальный презенс от корня **steig^h-* не обязательно восходит к праиндоевропейскому, а мог появиться на пракеельтском уровне, поскольку на определенной стадии развития пракеельтского такой способ образования презентных основ был продуктивен.

М. Пайк (M. Pike «The Indo-European long-vowel preterite: new Latin evidence») приводит

доводы в пользу того, что наряду с перфектом *clepsī* у латинского глагола *clepō* 'красть' имелся перфект *clēpī*. По мнению автора, этот перфект восходит к индоевропейскому имперфекту, образованному от не оставившего других следов акростатического презенса.

Статья Н.Б. Пименовой (N.B. Pimenova «Die semantische Rekonstruktion von Wortbildungssystemen (am Beispiel von Verbalabstracta im Germanischen)») посвящена реконструкции словообразования. Автор обращает внимание на то, что словообразовательные типы в любом языке (в том числе и в праязыке) образуют систему. Каждый словообразовательный тип определяется словообразовательной морфемой, семантическим соотношением между производным и производящим словом, а также ограничениями, накладываемыми на тип производящих основ. Кроме того, комбинирование словообразовательных морфем с тематическими – не хаотический процесс: семантика суффикса не должна противоречить семантике того словоизменительного типа, который маркируется данной тематической морфемой (например, суффикс, образующий имена деятеля, не сочетается с тематической морфемой, характерной для «объектного» типа склонения). При реконструкции праязыкового словообразования необходимо сравнивать не только фонемный состав словообразовательных суффиксов, но и системные отношения между словообразовательными типами в языках-потомках. В словообразовательном типе можно выделить центральную часть, унаследованную от праязыка, периферия же может быть как старой, так и более новой.

С этих теоретических позиций в статье рассматриваются внешние связи древневерхненемецкого суффикса отглагольных абстрактных существительных *-ī(n)*. Внутренняя реконструкция, базирующаяся на синхронных противопоставлениях дериватов с разными суффиксами, показывает, что для *-īn*-производных в древневерхненемецком языке было возможно только значение результирующего состояния. Внешняя реконструкция позволяет сопоставить д.-в.-н. *-īn* как с готским *-īni*, так и с готским *-īn*, однако семантический анализ позволяет сделать выбор из этих двух альтернатив: готский суффикс *-īni* более универсален, тогда как *-īn*, подобно д.-в.-н. *-īn*, образует *nomina abstracta* от глаголов, которые затрагивают в большей степени субъект действия, чем его объект (в этот класс, помимо всех непереходных глаголов, входят также переходные глаголы типа «искать», «защищать»).

Безусловно ценная в методологическом отношении, статья Н.Б. Пименовой несколько проигрывает за счет почти полного отсутствия

в ней представительного иллюстративного материала, вследствие чего читателю приходится верить автору «на слово».

Р.А. Пут в своей статье (R.A. Pooth «Proto-Indo-European ablaut and root inflection: an internal reconstruction and inner-PIE morphological analysis») предлагает отказаться от фонетической гипотезы происхождения индоевропейского аблаута, связывающей появление нулевой ступени с безударностью. Автор рассматривает праиндоевропейский как язык, в котором корни состояли только из согласных, а гласные представляли собой инфиксы или трансфиксы. Пут не предпринимает никаких попыток объяснить наблюдаемую в древнеиндийском и других индоевропейских языках связь между безударной позицией и нулевой ступенью аблаута. Автор обвиняет традиционную индоевропеистику в том, что она постулирует «доиндоевропейские» фонологические правила, не находящие подтверждения в реконструированных праиндоевропейских формах и требующие их изменения. Отчасти этот упрек справедлив¹. В то же время сам автор статьи, пытаясь установить закономерности распределения гласных в индоевропейской словоформе, оперирует столь же «доиндоевропейскими» реконструкциями, основанными скорее на абстрактных теоретических предпосылках, чем на реальных данных сравниваемых языков. Например, Пут постулирует правило метатезы гласного, объясняющее различие между глагольными формами 1 sg. *g^{wh}-é-n-m и 1 pl. *g^{wh}n-m-é. Поскольку это же правило описывает различие между формами 3 sg. *g^{wh}-é-n-t и 2 pl. *g^{wh}n-t-é, автор делает вывод, что суффикс *-t- был первоначально индифферентен к различию единственного и множественного числа и к различию 2 и 3 лица.

Отвергая традиционное для индоевропеистики объяснение, связывающее количественный аблаут с ударением, автор не предлагает взамен никакой другой гипотезы происхождения аблаута, ограничиваясь констатацией того, что гласные в праиндоевропейском можно рассматривать как инфиксы. Следует отметить, что подобный подход, сам по себе допустимый, не имеет отношения к внутренней реконструкции.

Статья **Й.Э. Расмуссена** (J.E. Rasmussen «Internal reconstruction applied to Indo-European:

¹ Например, в учебнике индоевропеистики М. Майер-Брюггера протеродинамическая модель аблаута иллюстрируется праформой *séuH-nu-s 'сын' [Meier-Brügger 2003: 207] несмотря на то, что, как отмечает сам Майер-Брюггер, ни один индоевропейский язык не сохранил следов полной ступени корня в этом слове.

where do we stand?») суммирует результаты исследований автора в области внутренней реконструкции праиндоевропейского. Одно из самых интересных наблюдений Расмуссена – обнаруженное им дополнительное распределение между праиндоевропейскими адъективными суффиксами *-ro- и *-u-. Суффикс *-u- встречается после корней со слоговыми сонантами *r, *l, *m, *n (например, *m₁d-ú- 'мягкий', *k₁r₁-ú- 'сильный'), а суффикс *-ro- – после корней с гласными *i, *u и *ə (например, *h₁rud^h-ró- 'красный', *pikró- 'острый'). Несмотря на наличие отдельных исключений, установленное Расмуссеном распределение не кажется случайным, хотя и нуждается в дальнейшей верификации. Однако его попытка трактовать это распределение как результат позиционного фонетического развития *-ro- > *-u- не убеждает. Суффиксы, находящиеся в дополнительном распределении, не обязательно должны иметь общее происхождение. Так, например, в современном русском языке окончание родительного падежа -ов выступает после парных твердых согласных, ц и й, окончание -ей – после парных мягких и шипящих, ср. дубов, огурцов, ручьев – голубей, ключей, ежей; при этом с этимологической точки зрения показатели -ов и -ей никак не связаны между собой.

В сборник вошли также статьи И. Баллес (I. Balles «The Old Indic cvi construction, the Caland system, and the PIE adjective»), Б.Л.М. Байэр (B.L.M. Bauer «Residues as an aid in internal reconstruction»), С. Хойслер (S. Häusler «Genitive and adjective – primary parts of the Proto-Indo-European language-system?»), Дж. Хьюсона (J. Hewson «Tmesis and anastrophe: the beginnings of configuration in Indo-European languages») и М.Й. Кюммеля (M.J. Kümmel «The range of Tocharian a-umlaut»).

Сборник «Internal reconstruction in Indo-European» включает в себя ряд статей высокого уровня и нисколько не уступает большинству других изданий аналогичной тематики. В то же время, будучи рассмотрен в целом, он в высшей степени наглядно демонстрирует хорошо известные недостатки индоевропеистики последнего полувека: склонность к непроверяемым априористским гипотезам и построениям ad hoc, недостаточно высокие требования к оценке как формальной, так и семантической стороны предлагаемых сближений, бесконтрольное использование понятия «аналогия» (ср. [Иткин 2008]), существенное отставание от синхронной лингвистики в таких областях, как словообразование, синтаксис и семантика. Не будет преувеличением сказать, что старейшая область сравнительно-исторического языкознания давно нуждается в радикальном методологическом обновлении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бурлак, Старостин 2005 – С.А. Бурлак, С.А. Старостин. Сравнительно-историческое языкознание. М., 2005.
- Иллич-Свитыч 1963 – В.М. Иллич-Свитыч. Именная акцентуация в балтийском и славянском. М., 1963.
- Иткин 2008 – И.Б. Иткин. *Contra analogiam* // Языковые контакты в аспекте истории (VI Международная научная конференция по сравнительно-историческому языкознанию). М., 2008.
- Campbell 2004 – L. Campbell. *Historical linguistics: An introduction*. 2nd ed. Edinburgh; Cambridge (MA), 2004.
- Campbell, Grondona 2007 – L. Campbell, V. Grondona. *Internal reconstruction in Chulupi (Nivaclé)* // *Diachronica*. 2007. V. 24. № 1.
- IEW – J. Pokorny. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern, 1959.
- Lubotsky 1988 – A.M. Lubotsky. *The system of nominal accentuation in Sanskrit and proto-Indo-European*. Leiden, 1988.
- Meier-Brügger 2003 – M. Meier-Brügger. *Indo-European linguistics*. In cooperation with Matthias Fritz and Manfred Mayrhofer. Berlin; New York, 2003.
- NIL – D.S. Wodtko, B. Irslinger, C. Schneider. *Nomina im indogermanischen Lexicon*. Heidelberg, 2008.
- Ringe 2003 – D. Ringe. *Internal reconstruction* // B.D. Joseph, R.D. Janda (eds.). *The handbook of historical linguistics*. Oxford, 2003.
- UEW – K. Rédei. *Uralisches Etymologisches Wörterbuch*. Bd. I–III. Budapest, 1986–1991.

С.А. Бурлак, М.А. Живлов, И.Б. Иткин

Е.В. Перехвальская. Русские пиджины. СПб.: Алетейя, 2008. 364 с.

Монография Е.В. Перехвальской, как следует из ее названия, посвящена прежде всего русским пиджинам (т. е. пиджинам, возникшим на основе русского языка). Эта тема практически не освещена в научной литературе, особенно отечественной. Автор рассматриваемой монографии – один из очень небольшого числа исследователей, занимающихся контактными языками и, в частности, пиджинами, образовавшимися при участии русского языка. По словам самой Е.В. Перехвальской (ср. также [Перехвальская 2006]), основное внимание в мировой креолистической и контактологической литературе уделяется пиджинам, креольским и смешанным языкам, возникшим на романской и германской основе, а все эти образования складывались, как правило, в условиях работоторговли и крупных плантаций. Этот факт ставит под сомнение многие выводы, которые делает креолистика, поскольку всегда остается вероятность того, что описываемые процессы не являются универсальными. Так возникает другая тема, достаточно подробно освещаемая в книге, – это общие проблемы креолистики. Тем самым, перед нами не чисто описательная работа: ведь изучение пиджинов, возникших в других условиях, на основе языков иного типа, оказывается чрезвычайно важным для теории языковых контактов и креолистики: оно может пролить свет на механизмы пиджинизации вообще. К сожалению, русские пиджины изучены с этой точки зрения к настоящему времени совершенно недостаточно. В мировой научный оборот введен только русско-норвежский пиджин, или руссе-

норск, а также «смешанный» алеутско-медновский язык; по остальным русским пиджинам имеются лишь фрагментарные публикации. В отечественной лингвистике встречаются упоминания «кяхтинского языка», или «маймачинского наречия», а также «таймырской говорки» [Беликов 1997]. Что касается сибирского пиджина, описанию которого уделено основное внимание в рассматриваемой монографии, то, насколько нам известно, других подобных исследований этого феномена не существует. Из работ последнего времени можно отметить только книгу Е.А. Огленезевой, посвященную русско-китайскому пиджину [Огленезева 2007], материалы по которому рассматривались и в докторской диссертации этого автора [Огленезева 2009].

Монография Е.В. Перехвальской разделена на две части. Первая часть – «Интерпретация» – состоит из введения, трех глав и заключения. Эта часть посвящена основным проблемам современной креолистики, теории языковых контактов, вопросам изучения русских пиджинов в рамках общей креолистики. Здесь также представлено краткое описание грамматического строя и лексического состава русских пиджинов, прежде всего, дальневосточного варианта сибирского русского пиджина. Вторая часть – «Материал» – представляет собой корпус материалов по русским пиджинам и другим типам идиомов, формировавшихся при участии русского языка. В конце этой части приводится «Словарь сибирского пиджина» – все обнаруженные и сведенные воедино автором монографии лексические материалы

по сибирскому пиджину, зафиксированные в разное время различными авторами.

Остановимся подробнее на каждой из частей книги.

Введение, определяя цели и задачи исследования, попутно также кратко знакомит читателя с такой областью языкознания, как креолистика. В первой главе рассматриваются общие вопросы теории языковых контактов и креолистики. Автор опирается на классификацию языков с точки зрения социолингвистической типологии, предложенную Р.Т. Беллом [Белл 1980]. Согласно этой классификации выделяется несколько типов языков, из которых в работе особо рассматриваются: пиджин, креольский язык, X-ированный язык¹, интерязык (в рецензируемой монографии этот термин встречается именно в таком написании, у Белла – *интер-язык*, мы будем также придерживаться этого варианта), региональный язык, язык для иностранцев. Помимо этого, автор привлекает к исследованию еще несколько типов языков, не включенных в классификацию Белла, а именно: креолизованные языки (предлагается использовать этот термин для разграничения собственно креольских языков, возникших в результате нативизации пиджинов, и языков, в истории которых происходили процессы, сходные с креолизацией, но которые не прошли стадию пиджина, хотя автор признает и этот термин не вполне удачным), смешанные языки и лингва-франка.

Главенствующее место в данной работе занимают пиджины. По определению автора, пиджин – это редуцированный идиом, возникший в условиях «экстремальных» языковых контактов в результате повторения ситуации общения между двумя или несколькими группами одних и тех же людей, не имеющих общего языка. В вопросе этимологии слова «пиджин», по общепринятому мнению, восходящего к названию китайско-английского пиджина «Pidgin-English», автор склоняется к наиболее распространенной точке зрения о происхождении этого слова из китайского варианта произношения английского *business* ‘дело’. Приводятся и другие варианты этимологии, однако наблюдается скептическое отношение автора к этим вариантам, в особенности к варианту, предложенному в 2007 г. китайским исследователем Ян Цзе и воз-

¹ «Иксированный язык Y» – термин, заимствованный автором у Белла, который, в свою очередь, использует его вслед за Д. Хаймсом. «X-ированный язык» – это региональный вариант языка, не являющийся родным ни для кого из говорящих на нем, не обладающий кодифицированной нормой, но имеющий норму «де-факто» (с. 15).

водящему слово *пиджин* к китайскому *bīzhēn* (*бичжэнь*) ‘настоящий, очень похожий’ [Ян Цзе 2007], хотя, на наш взгляд, данная теория заслуживает пристального внимания. Этимология Ян Цзе представляется нам гораздо более «правдоподобной», чем традиционное мнение о связи слова *пиджин* с *business*.

В результате сопоставления пиджина с другими типами языков выявляются следующие его отличительные черты:

– от лингва-франка пиджин отличается тем, что нет такого народа, для которого он был бы родным;

– в отличие от креольского языка, смешанного языка, языка для иностранцев и регионального варианта, пиджин не является родным ни для кого из индивидуумов, использующих его;

– в отличие от X-ированного варианта языка, представляющего собой форму того же языка, пиджин – это другой язык, имеющий иную грамматическую структуру;

– пиджином пользуются обе стороны, участвующие в процессе коммуникации, в то время как для *интер-языка* характерно его использование только одной из сторон.

Помимо социолингвистических, пиджины как особый языковой тип обладают и собственно лингвистическими особенностями, разделяемыми всеми пиджинами. Лексика заимствуется из «языка-лексификатора», обычно представляющего собой язык более престижной группы, имеются случаи заимствования лексики из двух языков, словарь пиджина преимущественно невелик, характерной чертой является использование перифрастических конструкций. С точки зрения грамматической структуры, пиджины обнаруживают заметное сходство между собой, проявляющееся, прежде всего, в редукции грамматической системы языка-лексификатора. По мере своего развития пиджины усложняют грамматику, расширяют словарь и могут постепенно превращаться в обычные языки.

Рассматривая теории формирования пиджинов, автор останавливается на двух основных проблемах: источник модели пиджинизации и проблема субстрата, больше затрагивающая процессы формирования креольских языков. Касательно первого вопроса существует две основные группы теорий – моногенеза и полигенеза, обе группы довольно подробно описываются в монографии. Автор не отказывается полностью от теории моногенеза, согласно которой сходство пиджинов и креольских языков объясняется распространением единой модели, но, рассмотрев несколько теорий независимого возникновения пиджинов (теория детской речи, теория языка для иностранцев, теория поэтапно-

го удаления от языка-источника, теория «прагматического кода»), приходит к выводу, что выдвинутое Т. Гивоном понятие «прагматического кода»² наиболее плодотворно при объяснении механизмов пиджинизации. Как отмечает автор монографии, сходство различных пиджинов, в том числе и «независимых», обусловлено сходством механизма редукции разных языков. При быстрой пиджинизации язык редуцируется до ситуации, близкой к «прагматическому коду», причиной чего является универсальность самого прагматического кода, оказывающегося свойством человеческого языка.

При рассмотрении вопроса условий пиджинизации в монографии выделяются следующие социолингвистические условия как наиболее релевантные для возникновения нового пиджина:

- наличие ситуации нового контакта;
- стандартность ситуации контакта;
- отсутствие языка общения;
- отсутствие билингвизма;
- отсутствие мотивации к изучению другого языка.

Начальной стадией развития пиджина является жаргон (идиом, близкий к прагматическому коду), или редуцированный пиджин. Для стабилизации жаргона в полноценный, стабильный пиджин требуется собственная выработанная им норма «де-факто». Расширение сфер употребления пиджина, обогащение словаря, усложнение грамматической структуры приводит к появлению «расширенного пиджина» – полноценного языка, отличительной чертой которого является только отсутствие людей, для которых он был бы родным. При появлении коллектива таких людей пиджин становится креольским языком (креолом).

В отношении вопроса возникновения креольских языков существует несколько различных точек зрения: теория субстрата, теория релексификации, теория биопрограммы, теория «усвоения второго языка», теория «торга». Остановившись отдельно на каждой из этих теорий, автор монографии заключает, что существуют неоспоримые свидетельства в пользу всех этих теорий. По мнению автора, формирование креольских языков происходит под влиянием как языков субстрата, так и суперстрата, в этом процессе существенную роль играют также и правила «универсальной грам-

² Согласно высказанной Т. Гивоном идее, наиболее архаическим является порядок элементов в высказывании, который иконически соотносится с их развертыванием в коммуникативной ситуации. Это он и называет «прагматическим кодом» [Givón 1979].

матики» и закономерности овладения вторым языком взрослыми.

Ситуация, возникающая, когда одной из постоянно пользующихся пиджином сторон оказываются носители языка-лексификатора и вариативность форм пиджина повышается, называется «постпиджинный (посткреольский) континуум». Следующей – и завершающей – стадией развития пиджинов и креолов является процесс декреолизации. Автор отмечает важность применения методик, выработанных для изучения постпиджинного и посткреольского континуума (в терминах «базилект», «мезолект» и «акролект») при исследовании русских пиджинов.

В вопросе генетической принадлежности пиджинов и креольских языков автор соглашается с традиционной точкой зрения, согласно которой в генетическом отношении пиджины и креольские языки выступают продолжением своих языков-лексификаторов.

Вторая глава посвящена материалам, истории изучения и происхождению контактных языков на русской основе. Здесь автор отмечает встречающуюся некорректность наименований русских пиджинов, приводимых в некоторых зарубежных работах, а также полное отсутствие каких-либо данных, кроме названия, по многим из них. Для русского пиджина, распространенного вдоль российско-китайской и российско-монгольской границы, в Маньчжурии и на Дальнем Востоке, а также во многих районах Сибири, предлагается использовать единое название – *сибирский русский пиджин*. Представляемый в рассматриваемой монографии материал делает данный труд уникальным, так как здесь собрано воедино максимальное, насколько нам известно, количество источников по русским пиджинам. При отборе материала автор пользовался следующими критериями возможности отнесения представленной в источнике формы материала к пиджинам:

- 1) наличие в идиоме ошибок против грамматической системы русского языка;
- 2) отсутствие или непоследовательное выражение большинства грамматических категорий, выраженных в русском языке морфологическими средствами;
- 3) отсутствие сложных предложений, малое число актантов при глаголе;
- 4) отличие от русского языка в порядке слов;
- 5) несовпадение значения большинства лексем со значением соответствующих слов в русском языке;
- 6) представленный идиом должен быть достаточно устойчивым средством межязыкового общения между носителями аборигенных языков с носителями русского языка (или и при общении их

между собой), имеющим (или имевшим в прошлом) какую-то норму «де-факто» или хотя бы «стабильность».

Собранные материалы по русским пиджинам автор группирует следующим образом: а) записанные лингвистами с научными целями и записанные литераторами с целью передачи особенностей речи персонажей, б) записи целых отрывков текста и записи отдельных слов или фразовых примеров, в) записи по памяти и расшифровка аудиозаписей, г) записи языка в живом употреблении и записи, сделанные у информантов-«вспоминателей».

Помимо описания источников, во второй главе излагается подробная история изучения русских пиджинов, начиная с первых упоминаний особого торгового языка в путевых заметках 20-х гг. XIX в. и заканчивая научными работами начала XXI столетия, а также рассматривается вопрос происхождения пиджинов. Автор приходит к следующим выводам: «старые пиджины», существовавшие уже в XVII в., строились по единой модели, не являвшейся ни врожденной, ни «естественной», которую несли с собой освоители новых земель – казаки и купцы. Важнейшим признаком существования некоего протопиджина в то время является зафиксированное в азбуковниках специфическое употребление местоимения *моя* (по убеждению автора, самая надежная диагностическая черта русских пиджинов – это личные местоимения *моя-твоя*), а также использование императивных форм глагола как «абсолютных» и порядок слов SOV. В основе русских пиджинов XIX в. лежал особый код, который становился «ядром» конкретного пиджина, содержал черты, объединяющие «старые» русские пиджины, и которым современные, возникшие независимо пиджины не обладают.

В третьей главе, занимающей, по нашему мнению, содержательно центральное место в данной монографии, представлено описание грамматического строя и лексического состава русских пиджинов, прежде всего дальневосточного варианта сибирского русского пиджина, являющегося основным предметом исследований автора.

Изучение структуры русских пиджинов автор начинает с изучения базилекта как самого «чистого» пиджина. Базилекты делятся на редуцированные и расширенные варианты, эти стадии развития пиджина рассматриваются в работе как отдельные сущности (в частности, для сибирского пиджина и говорки).

Отмечая сложности выбора критериев выделения частей речи в пиджинах и креолах, автор останавливается на применении единого морфосинтаксического критерия для выделения классов слов в редуцированном и расширен-

ном варианте пиджинов, особо рассматривая морфологию выделенных классов (морфология понимается в расширительном смысле³). В редуцированных вариантах русских пиджинов выделяются классы глагола (имеющего только прототипические значения действия или состояния и проявляющего тенденцию к формальному выделению), имени существительного (имеющего неизменяемую форму, не выражающую никаких грамматических значений; особым разрядом здесь предлагается считать личное местоимение, которое имеет неизменяемую форму и может употребляться во всех функциях, свойственных существительному), малочисленный класс наречий, особый небольшой класс атрибутов, включающий детерминанты и числительные, класс служебных частей речи, отнесенных в редуцированных формах русских пиджинов к разряду частиц.

В расширенных вариантах дальневосточного варианта сибирского пиджина появляются грамматические показатели, прежде всего в системе глагола, у последнего возникают аналитические формы. Существительное не имеет словоизменительной морфологии, весьма ограничено сочетается со служебными словами, допускает употребление в атрибутивной позиции, что является важной особенностью, объединяющей сибирский пиджин и говорку, существительное может иметь при себе послелог. Личные местоимения являются подклассом существительных, выполняя в предложении все функции существительного, а также выступая определением к последнему. Оказывается, что стереотипное «моя-твоя» заметно упрощает реальное представление местоимений в русских пиджинах. Появляются также указательные, неопределенные, вопросительные местоимения, часто выступающие в виде дублетов. Выделяется класс атрибутов – неизменяемых слов, служащих в предложении определением к другим полнозначным словам, и класс служебных слов, вычленение которого представляет собой важную проблему при описании сибирского пиджина. Части речи, выделяемые автором в расширенных вариантах сибирского пиджина, показаны в следующей таблице:

Порядок слов в сибирском пиджине стремится к SVO или OVS, если субъект выражен местоимением. Все аргументы предложения выражаются однотипно, формального различия между ними нет, не выделяются и глав-

³ Опираясь на морфосинтаксический критерий выделения частей речи, автор понимает «морфологию» в расширительном смысле, т.е. принимая во внимание «сочетаемость с грамматическими элементами, в том числе со служебными словами» [Алпатов 1990].

служебные ЧР	основные ЧР	другие знаменательные ЧР
(предлоги) (характерны только для мезолектных вариантов) союзы частицы: показатель отрицания видо-временные показатели показатели модальности	субстантивы: имена существительные местоимения послелоги	атрибуты прилагательные
	глаголы	наречия междометия

ные члены предложения. Характерной чертой сибирского пиджина во всех его вариантах является сегментация текста на простые предложения, каждое из которых содержит не более двух аргументов, например:

Так худо ходи, его могу стреляй. Его думай наша чушка есть.

‘Так идти нельзя, потому что он может выстрелить. Подумает, что мы кабаны’ (перевод наш. – С. Б.).

В третьей главе также приводится подробное исследование грамматических характеристик мезолектных вариантов русского пиджина на примере конкретных случаев. Завершается первая часть монографии разделом, представляющим собой описание лексического состава дальневосточного варианта сибирского пиджина, где излагаются также принципы составления словаря сибирского пиджина и методика исследования его словарного состава.

Вторая часть монографии представляет собой уникальный сведенный воедино корпус материалов с комментариями и грамматическими заметками по пиджинам и другим формам смешанных идиомов, в формировании которых принимал участие русский язык. Здесь можно найти записи высказываний на финско-русском жаргоне, записи диалогов на кяхтинском языке между купцом-китайцем и русской покупательницей, материалы о. Иакинфа (Бичурина), А.А. Александрова, Г. Шухардта, А.Г. Шпринцына, С.А. Врубеля, А. Яблонской, М.М. Хасановой, а также расшифровки собственных магнитофонных записей автора монографии, сделанных в ходе полевых исследований в Приморском и Хабаровском крае РФ в период с 1985 по 2004 годы, значительная часть полевых материалов вводится в научный оборот впервые. Кроме того, в данной работе собраны различные записи пиджина, встречающиеся в художественной литературе. Также здесь приводятся образцы русско-норвежского пиджина руссенорск, отрывок из сказки на говорке,

текст на смешанном медновском языке и даже корпус «бокситского языка» неизвестного автора.

Завершает монографию уникальный словарь сибирского пиджина, где собраны разновременные лексические материалы из различных лингвистических источников.

Несмотря на имеющиеся незначительные стилистические шероховатости и небольшое количество опечаток, монография, несомненно, является значительным вкладом в развитие исследований по русским пиджинам в частности и креолистике в целом и будет интересна и полезна широкому кругу лингвистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 1990 – В.М. Алпатов. Принципы типологического описания частей речи // Части речи. Теория и типология. М., 1990.
- Беликов 1997 – В.И. Беликов. Русские пиджины // Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. Сборник статей. М, 1997.
- Белл 1980 – Р.Т. Белл. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. М., 1980.
- Перехвальская 2006 – Е.В. Перехвальская. Сибирский пиджин (дальневосточный вариант). Формирование. История. Структура: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. СПб., 2006.
- Оглезнева 2007 – Е.А. Оглезнева. Русско-китайский пиджин: опыт социолингвистического описания. Благовещенск, 2007.
- Оглезнева 2009 – Е.А. Оглезнева. Русский язык в восточном зарубежье (на материале русской речи в Харбине): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Томск, 2009.
- Ян Цзе 2007 – Ян Цзе. Забайкальско-маньчжурский препиджин. Опыт социолингвистического исследования // ВЯ. 2007. № 2.
- Givón 1979 – T. Givón. On understanding grammar. New York; London, 1979.

С.В. Бритова

Коллективная монография «Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты» обобщает до этого момента разрозненные представления ученых-языковедов о феномене обыденного метаязыкового сознания. Данное издание, как отмечается в предисловии, является частью общего плана, нацеленного по сути дела на концептуальное оформление целого направления в отечественной науке, которое может быть обозначено как теория обыденной лингвистики. Монография не только излагает факты «стихийного и экстенсивного» (с. 31) развития учения об обыденном метаязыковом сознании, но и демонстрирует достаточно успешную попытку обобщения и систематизации этих фактов.

Создатели монографии представляют различные подходы к интерпретации феномена «народной» лингвистики и разные уровни его осмысления и (каков и был замысел руководителя направления) «размечают поле» проблематики новой научной дисциплины. Авторы дают общефилософскую и лингвофилософскую интерпретацию феномена метаязыкового сознания (Н.Д. Голев, Л.Г. Зубкова), описывают важнейшие признаки «наивной лингвистической технологии» (В.Б. Кашкин, Д.Ю. Полиниченко, А.Н. Ростова, О.И. Блинова), размышляют о соотношении языкового и метаязыкового сознания (Н.Б. Лебедева), вскрывают закономерности метаязыковой деятельности говорящего (И.Т. Вепрева, Н.В. Сайкова) и слушающего (Л.Г. Ким), моделируют портрет метаязыковой личности – как индивидуальной (Л.Г. и Н.Г. Зубковы, П.А. Катышев и С.В. Оленев, К.В. Гарганеева), так и коллективной (Н.Б. Лебедева, Е.В. Иванцова), анализируют обыденное метаязыковое сознание как фактор языковой политики (Н.Д. Голев) и различных видов социального взаимодействия (Н.В. Орлова, М.Ю. Сидорова, Н.А. Стрельникова, О.Н. Шувалова, Т.В. Чернышова).

Открывая обсуждение проблемы, Н.Д. Голев определяет сущность онтолого-гносеологического феномена обыденного метаязыкового сознания, формулирует соотношение научного и «бытового» познания языка как противопоставленных и взаимосвязанных видов метаязыковой деятельности, а также представляет обобщенную уровневую модель метаязыкового сознания личности. Анализ Н.Д. Голева систематизирует основные сведения о феномене «народной» лингвистики и придает им теоретическую целостность.

Л.Г. Зубкова в разделе «От обыденного метаязыкового сознания к науке о языке в свете

развивающегося самосознания» проследивает исторический путь развития метаязыкового сознания и обосновывает тезис о том, что «эволюция общей теории языка как посредника между миром и человеком отражает осознание растущей автономности человека с его внутренним миром и развивающимся самосознанием по отношению к познаваемой вселенной, с одной стороны, и последующее осознание автономности языка по отношению к мышлению – с другой» (с. 111). Следуя за мыслью автора, неизбежно приходишь к выводу, что антропоцентризм в лингвистике – не только актуальное направление, но и имманентно присущее ей свойство.

Общим местом в лингвистических работах стал тезис об «однонаправленных» отношениях между наукой и «донаучной» мыслью: обыденное метаязыковое сознание предшествует теории, «наивная» лингвистика – ступень, которая ведет к научному языкознанию. Анализ Л.Г. Зубковой придает этой модели трехмерность, так как показывает, что обе формы осмысления языка способны к саморазвитию, обусловленному развитием самосознания человека.

В заключении, написанном Н.Д. Голевым, систематизируются актуальные проблемы формирующейся отрасли лингвистического знания, а также перечисляются «не только не исследованные, но и редко отмечаемые» вопросы, которые расширяют перечень тем, связанных с обыденным метаязыковым сознанием.

На сегодняшнем этапе изучения проблемы монографию можно считать своего рода мини-энциклопедией теории обыденной лингвистики; в связи с этим самостоятельное значение имеет богатый библиографический список¹, включающий работы как отечественных, так и зарубежных авторов.

Поставленные и решаемые в монографии вопросы логически неизбежно вызывают размышления о перспективах развития новой отрасли лингвистической науки. Монография, аккумулировавшая и систематизировавшая проблематику целой области знания, одновременно с этим высветила и проблемы, которые рецензент хотел бы предложить для обсуждения.

Так, остается открытым вопрос о терминологическом обозначении как объекта исследования, так и обсуждаемого научного направления.

¹ Тем досаднее, что в этот список не попали некоторые работы, на которые ссылаются авторы в тексте монографии (см. с. 33, 72–85, 230–232, 248).

Становится очевидной необходимость и – с учетом достижений в данной области – возможность разграничения понятий, которые интерпретируются в монографии как синонимы (полные или частичные): «обыденная металингвистика», «бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «фолк-лингвистика» (folk linguistics), «наивная лингвистика», «лингвистика метаязыкового сознания», «обыденная лингвистическая гносеология», «народная гносеология» (с. 39). Н.Д. Голев в различных случаях использует термины «обыденная лингвистика», «обыденная металингвистика», «лингвистика метаязыкового сознания», но особо отмечает, что не настаивает на окончательной терминологизации этих обозначений (с. 371).

Согласившись в целом с замечанием Н.Д. Голева о том, что «трудности поиска термина обусловлены стихийным характером терминотворчества в лингвистике» (с. 39), позволим себе высказать ряд соображений по поводу упорядочения терминологии.

Представляется необходимым дифференцировать термины, обозначающие исследуемый объект («обыденное метаязыковое сознание», «наивная лингвистика» и т.п.) и изучающую его дисциплину (например, используемое Н.Д. Голевым обозначение «лингвистика метаязыкового сознания» и под.). В настоящее время целый ряд терминов используется одновременно и как обозначение объекта, и как обозначение науки («бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «фолк-лингвистика», «folk linguistics», «наивная лингвистика»). Здесь, видимо, действует традиция терминообразования на основе метонимического переноса, характерная для названий лингвистических наук (ср. термины «синтаксис», «грамматика», «словообразование», которые обозначают и соответствующие языковые феномены, и изучающие их языковедческие дисциплины), так что подобный перенос названия объекта на название науки является закономерным. Однако в ряде случаев такая многозначность термина неудобна, и металингвистическая практика стремится этого избегать (ср., например, появление наряду с термином «словообразование» обозначения «дериватология», а также употребление в лингвистическом дискурсе сочетаний типа «в синтаксической теории», «в грамматических исследованиях» вместо «в синтаксисе», «в грамматике»).

Сложность выработки терминологии в обсуждаемой области обусловлена еще и тем, что разграничивать приходится даже не уровни языка и метаязыка (что также сопряжено с некоторыми парадоксами сознания), а уровни метаязыка и «метаметаязыка» (особого рода

лингвистику и соответствующую ей металингвистику). Однако терминологическое разграничение в этом случае необходимо, на наш взгляд, и для того, чтобы избежать отождествления онтологического и гносеологического аспектов проблемы, уйти от смешения объекта изучения и знания о нем².

Таким образом, было бы логично закрепить а) за объектом изучения обозначения «бытовая лингвистика», «стихийная лингвистика», «народная лингвистика», «наивная лингвистика», «естественная лингвистика», «обыденная лингвистика», а также (несколько отличающийся по значению и связанный с изменением угла зрения на объект) термин «обыденное метаязыковое сознание» и б) за изучающей этот объект наукой – термины «лингвистика метаязыкового сознания», «обыденная лингвистическая гносеология» или – рискуем предложить – «теория обыденной лингвистики», «теория обыденного метаязыкового сознания».

Остановимся подробнее на двух терминах, представленных в рецензируемой монографии. Первый из них – «фолк-лингвистика», используемый Д.Ю. Поличенко и обозначающий «промежуточную степень между наивной сферой знания о языке и собственно наукой», так называемую «любительскую лингвистику» (с. 67). Безусловно, вычленение из общей картины «непрофессионального» представления о языке соответствующего сегмента и его анализ актуальны – и не только для критики с точки зрения позитивного лингвистического знания, но и для изучения закономерностей самой «любительской методологии». В то же время заслуживает обсуждения терминологическое обозначение данного объекта лингвистического изучения. Дело в том, что в европейском языкознании термин «folk linguistics» используется как эквивалент русских терминов «наивная лингвистика», «народная лингвистика», «стихийная лингвистика»³; более того, известны прецеденты использования этого термина без перевода в заметных работах отечественных языковедов (см., например [Булыгина, Шмелев 1998; 1999; 2000]). В этих условиях обозначение «фолк-лингвистика» устойчиво ассоциируется у специалистов не с более узкой областью

² Как раз подобное смешение характерно для обыденного сознания и чревато негативными последствиями в сфере практической деятельности (см., в частности материалы главы «Функционирование обыденного метаязыкового сознания в различных социально-языковых сферах»).

³ См., в частности список литературы в рецензируемой монографии.

«любительской лингвистики»⁴, а со всей сферой «наивных» представлений о языке.

Второй термин, на который хотелось бы обратить внимание, – «обыденная металингвистика» (Н.Д. Голев, А.Н. Ростова). Этот термин не кажется безупречным, поскольку внутренняя форма словосочетания указывает на то, что речь идет об интерпретации лингвистики обыденным сознанием, а не о научном анализе самой обыденной лингвистики (префикс *мета-* относится в этом сочетании только к термину «лингвистика», а определение «обыденная» характеризует слово «металингвистика»). Как нам кажется, этот термин мог бы использоваться для обозначения другого феномена, который входит составной частью в обыденное метаязыковое сознание. Фактами обыденной металингвистики можно было бы признать различные суждения рядовых носителей языка о содержании лингвистической науки, о теоретической и практической деятельности языковедов – как, например, в следующих фрагментах художественных текстов: *Так как в русском языке почти уже не употребляются фита, ижица и звательный падеж, то, рассуждая по справедливости, следовало бы убавить жалованье учителям русского языка, ибо с уменьшением букв и падежей уменьшилась и их работа* (А. Чехов); *Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иванович, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз *ut* во всех его сочинениях* (Д. Мамин-Сибиряк); *<...> какую бы фамилию я ни присвоил своему объекту, наши фантазеры тотчас <...> впадут в математические изыски, разлагая слово на гласные и согласные буквы, обращая особое внимание на порядок их шестивия в слове, место в алфавите <...> и разъяснят, <...> что на сегодняшний день означает количество букв в указанном имени* (И. Кожевников); *<...> академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики. Тем более ненормативной лексики, давно уже затопившей резервуары языка* (С. Довлатов) и т.п.

⁴ Термин «любительская лингвистика» получил достаточное распространение, в том числе благодаря работам А.А. Зализняка и Н.Д. Голева (см., например [Зализняк 2009; Голев 2005]).

Более логичным для обозначения лингвистической науки, исследующей метаязыковое сознание «естественного лингвиста», выглядел бы термин, в котором префикс *мета-* относился бы ко всему сочетанию «обыденная лингвистика» (*мета-* + {обыденная лингвистика}), что в русском языке, однако, невыполнимо. Возможно, обсуждаемая семантика адекватно воплотилась бы в наименованиях типа «теория обыденной лингвистики», или «теория обыденного метаязыкового сознания», или уже известное «лингвистика метаязыкового сознания».

Отметим здесь, что в рассуждениях о терминологии автор рецензии руководствуется не только «разумными» аргументами, но и субъективным чувством «языкового дискомфорта» и не настаивает на своей исключительной правоте.

Еще одна проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, – это перспективы развития теории обыденной лингвистики и, в частности, ее прикладных аспектов.

Вопрос об обыденном метаязыковом сознании не исчерпывается общефилософской проблематикой соотношения научного и обыденного знания. «Наивные» представления о языке – это явление, с которым сталкивается в своей деятельности любой «практический» языковед: лексикограф, кодификатор, автор учебников и контрольно-измерительных материалов, преподаватель, лингвист-эксперт и многие другие. Данное явление нельзя не учитывать, поскольку обыденное метаязыковое сознание выступает как активная сила, выполняя роль либо помехи, либо катализатора в осуществлении повседневной коммуникативной деятельности, а также языковой политики (что убедительно показано Н.Д. Голевым в разделе «Русское обыденное метаязыковое сознание и языковое строительство»). Следовательно, всякий языковед должен иметь представление о закономерностях обыденной метаязыковой деятельности (как врач имеет представление об анатомии и физиологии человека, как архитектор осведомлен о свойствах строительных материалов, как лоцман знает особенности рельефа дна).

В связи с подобным положением дел представляется целесообразным ставить вопрос о включении соответствующего круга проблем в содержание высшего профессионального филологического образования. Думается, назрела необходимость создания учебного пособия по теории обыденного метаязыкового сознания. Работа над пособием не только сделает проблему доступной широким массам филологов, но и позволит осмыслить ее на ином уровне.

Учитывая актуальность ряда «языковых» вопросов для современного общественного сознания и то обстоятельство, что субъекты

языковой политики, как правило, не обладают специальными знаниями, можно было бы предпринять издание книги научно-популярного характера о соотношении «бытового» и научного лингвистического знания, о последствиях «наивного» осуществления языковой политики.

Для стимулирования исследовательской активности в соответствующей области полезной была бы публикация различного рода выборок текстов, репрезентирующих обыденное метаязыковое сознание⁵. Это могут быть словари «наивных» толкований, тематические подборки высказываний рядовых носителей языка (например, «Грамматика в обыденном метаязыковом сознании», «Современная культурно-языковая ситуация в зеркале “народной” лингвистики», «Национально-культурное своеобразие языка в отражении обыденного метаязыкового сознания» и т.п.).

В заключение отметим, что редколлегии рецензируемого издания удалось таким образом отобрать и сгруппировать материал книги, что в ней получили отражение все основные перспективные направления изучения проблемы. Благодаря широте охвата и систематичности представления сведений данная монография встает в один ряд с такими методологическими важными работами, какой стал в свое время для исследователей сборник «Язык о языке» [Язык 2000], определивший круг проблем и основные подходы к изучению «наивной» лингвистики⁶.

⁵ Подобно тому как в свое время публиковались подборки текстов диалектной или разговорной речи, не только послужившие иллюстрацией к теоретическим положениям, но и ставшие ценным материалом для новых наблюдений лингвистов.

⁶ В сборнике освещается та составляющая «наивной» лингвистики, которая подходит под определение «нерефлектирующая рефлексия» (Н.Д. Арутюнова).

А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. *Аспекты теории фразеологии.* М., 2008. 656 с. (Studia philologica).

Российская (а точнее – советская) лингвистика, лидировавшая в 1940–60-х гг. в исследованиях фразеологии (достаточно упомянуть быстро обретшую популярность и поныне многими признаваемую классическую типологию фразеологизмов В.В. Виноградова, с одной стороны, и ставшую самым востребованным достижением модели «Смысл-текст» теорию лексических функций И.А. Мельчука и А.К. Жолковского – с другой), к началу XXI в. в значительной степени утратила свои позиции в этой сфере, изрядно подрастеряв накопленное преимущество.

Рецензируемая монография, следующая вектору развития «антропоцентризма» в лингвистике, могла бы быть названа «Человек о языке»⁷. Солидный труд, осуществленный коллективом авторов, дает новый импульс для исследований, результаты которых обещают быть чрезвычайно интересными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булыгина, Шмелев 1998 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Folk linguistics // Русский язык в его функционировании: Тез. докл. Междунар. конф.: III Шмелевские чтения (22–24 февраля 1998 г.). М., 1998.
- Булыгина, Шмелев 1999 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. Человек о языке (метаязыковая рефлексия в нелингвистических текстах) // Логический анализ языка: Образ человека в культуре и языке. М., 1999.
- Булыгина, Шмелев 2000 – Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. «Стихийная лингвистика» (Folk linguistics) // Русский язык сегодня. 2000. Вып. 1.
- Голев 2005 – Н.Д. Голев. Толерантность как вектор антиномического бытия языка // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. М., 2005.
- Зализняк 2009 – А.А. Зализняк. Из заметок о любительской лингвистике. М., 2009.
- Язык 2000 – Язык о языке / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 2000.

М.Р. Шумарина

⁷ Сформулировано Н.Д. Голевым при обсуждении монографии. Возможно, это стало бы хорошим названием учебного пособия или научно-популярного издания соответствующей тематики.

русской фразеологии – за очень небольшими исключениями – остается относительно невысоким. Целые области новых исследований фразеологии, сформировавшиеся в последние десятилетия, практически выпали из сферы внимания российских лингвистов.

В частности, это относится к таким направлениям, как экспериментальное изучение психолингвистических аспектов восприятия фразеологизмов, исследование синтаксических особенностей поведения идиом, дискурсивного аспекта фразеологии, фразеологизмов-конструкций (в том смысле, который термин «конструкция» имеет в грамматике конструкций Ч. Филлмора и его последователей), места идиом в различных версиях порождающей грамматики. Все это весьма скудно представлено в отечественной литературе по фразеологии, и вряд ли приходится этому удивляться с учетом того факта, что сами теоретические подходы, в которые вписаны перечисленные направления исследований фразеологизмов (за частичным исключением теории дискурса), во многом остаются чуждыми отечественной лингвистической мысли. Сколько-нибудь детальное обсуждение этой проблематики в данной рецензии, однако, неуместно, поэтому достаточно ограничиться ссылкой на сохранение элементов ныне вполне добровольной «герметичности» отечественной лингвистической науки – герметичности, конечно, не тотальной, но вполне заметной, особенно в традиционно бывших сильными в русистике областях.

Желание преодолеть такую герметичность явно было одним из стимулов к развитию того масштабного – как по охвату материала, так и количеству затраченного на него времени и труда – исследования, результаты которого в теоретическом формате представлены в монографии А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского, в которой – и это первая из ее ключевых особенностей – обсуждаются некоторые из тех аспектов феномена фразеологизмов, которые экзотичны для отечественной фразеологии. Во-вторых, книга не случайна для самих авторов – это результат их серьезной и весьма продолжительной работы. По списку литературы видно, что первые публикации авторов по фразеологическим проблемам относятся к 1980-м годам. Наконец, в-третьих, нельзя не отметить, что выдвигаемые авторами теоретические положения основываются на впечатляющем массиве исследованного языкового материала: это и база данных по современной русской идиоматике, и вышедший в 2007 г. «Словарь-тезаурус современной идиоматики» [Словарь-тезаурус 2007], и специально ориентированные на фразеологию корпуса текстов,

и, наконец, совсем недавно опубликованный «Фразеологический объяснительный словарь русского языка» [ФОСРЯ 2009]. Все это авторы и их коллеги из Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН создали за почти тридцать лет своей деятельности по исследованию фразеологизмов.

Важнейшее теоретическое достижение, которое можно усмотреть в рецензируемой монографии, – это подробный и почти исчерпывающий анализ важнейших категорий фразеологии, идиоматичности и устойчивости, содержащийся в Главе 1 («Идиоматичность и понятие идиомы»). Категория идиоматичности сводится авторами к более простым понятиям («факторам»), а именно переинтерпретации значения, непрозрачности и усложнению способа указания на денотат; их определения даются на с. 30–31. Эти факторы представляют собой различные «аспекты» (в терминологии авторов), или проявления, нерегулярности в сфере семантики, которые и порождают идиоматичность. В книге показано, что эти факторы могут действовать автономно, а могут и пересекаться, причем последнее происходит очень часто. Так, в идиомах *арана заправлять* и *забивать баки* идиоматичность реализуется как в виде непрозрачности, так и в виде переинтерпретации. Кроме того, эти выражения оказываются и более сложным способом указания на денотат, поскольку существует более простой способ выражения тех же смыслов – глаголы *лгать* и *обманывать*. В выражении *точить лясы* представлена еще бóльшая степень непрозрачности (в словаре литературного русского языка попросту нет слова *лясы*), и оно также семантически переинтерпретировано: некоторое предположительно физическое действие переосмысливается как речевая деятельность (ибо это выражение именно некоторый вид речевой деятельности и обозначает).

В книге показано, что идиоматичность представляет собой феномен, выходящий далеко за рамки собственно фразеологии и присущий не только сверхсловным единицам, но и словам. Понятно, что идиоматичность распространяется и на область морфологии. Кроме того, при определенном понимании, как указывают авторы, категорию идиоматичности можно использовать и в лингвистической прагматике – она может быть применена для описания такого известного и важного феномена, как косвенные речевые акты.

Идиоматичность – важнейшее свойство фразеологизмов, но не единственное. Кроме идиоматичности, они, как известно, характеризуются еще и устойчивостью. В книге обсуждается целый ряд параметров устойчи-

ности, к которым отнесены ограничения на образование вариантов, морфологическая дефектность парадигмы и синтаксическая проницаемость.

На основе проведенного анализа категорий идиоматичности и устойчивости формулируется понятие идиомы, а в Главе 2 («Элементы типологии фразеологизмов») дается представление и о других типах фразеологических единиц: о речевых формулах (как классе идиом), коллокациях, грамматических фразеологизмах. Указываются важные семантические и прагматические отличия пословиц от идиом различных типов, в том числе от поговорок.

Первая и вторая главы образуют первую часть книги, посвященную базовым категориям фразеологии. Во второй части речь идет о семантике и синтаксисе идиом. Здесь особое внимание уделяется категории внутренней формы. Этот феномен так или иначе затрагивается практически во всех главах рецензируемого труда. Центральное положение категории внутренней формы во фразеологии подчеркивается и изображением – на обложке книги воспроизводится фрагмент картины Рене Магрита «Империя света». Парадокс картины (кстати, не сразу осознаваемый) состоит в соприсутствии в изображаемом ею мире дня и ночи: дневной свет (светлые облака) органично сочетается с ночным светом – светящимся фонарем перед домом и его освещенными окнами. Не вполне понятно, что авторы отнесли бы к внутренней форме – ночной свет или дневной, но в любом случае парадоксальная картина Магрита соответствует парадоксу семантики идиом. Одновременное существование внутренней формы и актуального значения в семантическом представлении фразеологизмов объясняет те особенности этого своеобразного класса выражений, которые хорошо видны в их употреблении: игровой и образный потенциал, склонность носителей языка к народной этимологизации внутренней формы, неразличение говорящими актуального значения и образной составляющей и т. д.

Следует заметить, что авторы не смогли в полной мере избежать давней традиции использования термина «внутренняя форма» (который по числу упоминаний в предметном указателе конкурирует только с терминами «идиома», «метафора» и «образ / образная составляющая») как интуитивно очевидного: на с. 99–100 и 221–223, выделенных в указателе полужирным шрифтом, несомненно, содержится подробное (особенно во втором случае) обсуждение категории внутренней формы, но ничего, что могло бы считаться ее определением, там не обнаруживается. Сам по себе этот

факт понятен, и у подобной практики имеется почтенная история (да и сама сосредоточенность на строгих определениях в современной методологии науки отнюдь не признается абсолютной ценностью), но более эксплицитно «проговорить» эту интуицию, как кажется, было бы уместно – тем более применительно к одной из центральных категорий исследования. Сказанное, кстати, относится также и к категории образа и ее использованию в тексте монографии.

Зато приемы введения внутренней формы (в том смысле, в каком ее понимают авторы) в толкование и, шире, в модель значения фразеологизмов обсуждаются в книге подробно. Выделяются две основные техники – эксплицитная и имплицитная. В первом случае внутренняя форма вводится специальным семантическим оператором – ‘сопоставимо’, ‘осмысляется’, ‘как бы’, ‘в форме указания на’, ‘аналогично’ и др. Так, значение идиомы *от жилетки рукава [получить...]* описывается так: ‘не получить ничего от ожидавшегося ресурса из-за его несправедливого распределения, что осмысляется как получение несуществующей части чего-л.’ (с. 194). Идиома *по рукам* толкуется с помощью оператора ‘в форме указания на’: ‘выражение готовности одной из сторон взять на себя обязательства по соглашению, сделке, договору и т. п. в форме указания на жест рукопожатия, часто сопровождающий договоренности различного рода и в нормальном случае выполняемый при произнесении данного выражения’.

Использование имплицитной техники не предполагает выделения в модели значения соответствующего внутренней форме компонента с помощью какого-либо специального оператора. Для имплицитной техники характерно использование в толковании следствий из метафоры, лежащей в основе образа, перифразы образа с помощью родовых терминов и т. д. Так, в толковании идиомы *по пальцам можно пересчитать* компонент, который соответствует внутренней форме, не вводится специальным оператором: ‘кого-л./чего-л. так мало, что это легко пересчитать, не используя большие числа’ (с. 203). Более того, не вполне ясно, как в семантической экспликации значения распределяются актуальное значение и внутренняя форма. Фактически эти компоненты в значении рассматриваемой идиомы образуют одно целое – семантическую амальгаму.

Объяснительный потенциал введения категории внутренней формы в модель значения иллюстрируется на примере целой серии идиоматичных словосочетаний (*душе*) *угодно, ни попадя, (ни) попало, придется, под руку попадет*

ся, бог пошлет. Использование этой категории позволяет объяснить как специфику сочетаемости этих идиом, так и дефектность парадигмы идиомообразования (почему, например, нельзя сказать *как попадется (под руку) или *сколько придется в значении 'сколько угодно').

Соотношению образа и актуального значения идиом с семантикой страха, а также со значением порицания и наказания посвящен особый раздел третьей главы. Представляет значительный интерес и обсуждаемая в Главе 3 проблема образности идиом в когнитивно-психологической перспективе.

Несколько особняком стоит Глава 4, в которой предлагается формализованный механизм, объясняющий когнитивные аспекты формирования актуального значения идиомы на основе структур знаний, стоящих за образным компонентом фразеологизмов. Представленный в этой главе метаязык операций над знаниями в других главах не используется. По сути дела, это набросок совершенно нового подхода к описанию значения фразеологизмов. Однако теоретические основы этого подхода на настоящий момент не выглядят вполне проработанными. Не ясно, например, какой когнитивный статус имеют операции над структурами знаний – верно ли, что это те операции, которые совершает носитель языка, используя идиомы? Или это некая когнитивная модель объяснения актуального значения на основе образа, к которому склонен носитель языка? Авторы, включив эту главу в книгу, не определились в полной мере с теоретическим статусом вводимого формализма. Именно этим, по-видимому, и объясняется его отсутствие в других главах монографии.

В Главе 5 разбирается национально-культурный аспект фразеологии. Главная мысль, с которой автор настоящей рецензии согласен, заключается в том, что традиционная фразеология явно преувеличивала роль национально-культурного своеобразия своего материала. Это объяснялось, видимо, тем, что далеко не все фразеологи-русисты обладали достаточным знанием других языков. Очевидно, что многое из того, что выдавалось за «типично русское», встречается (иногда даже дословно) и в других европейских языках, а порой и не только европейских, так что гораздо чаще приходится удивляться совпадениям во фразеологических трактовках действительности, чем их расхождениям, которые вполне ожидаемы. К тому же хорошо известно, что многие русские фразеологизмы представляют собой просто кальки с французского или немецкого. Исходя из этого, особенно важно выделить и тщательно описать те случаи, где национально-культурная составляющая действительно

является значимым элементом семантики и прагматики идиомы.

Значительный интерес представляет Глава 6, в которой анализируются синтаксические аспекты поведения идиом и которая может рассматриваться как знак внимания, оказанный англосаксонской (на настоящий момент в значительной мере генеративистской) традиции описания фразеологизмов. В этой главе исследуются возможности применения к идиомам синтаксических трансформаций, в частности, ограничения на введение отрицания в структуру идиомы. Поведение идиом по отношению к отрицанию позволяет разбить их на несколько групп, каждая из которых имеет определенные особенности в семантике. В этой же главе разбираются факторы пассивизации идиом и обсуждаются различные группы идиом, которые допускают пассивизацию.

Третья часть книги сосредоточена на проблеме словарного описания идиом. В Главе 7 рассматриваются проблемы создания тезауруса русских идиом. Это не просто теоретические рассуждения, а обобщение конкретного опыта авторов по составлению «Словаря-тезауруса современной идиоматики». Авторы приводят подробную аргументацию в пользу разработки структуры тезауруса не на основании логических и общефилософских представлений о структуре мира, а исходя из анализа конкретного языкового материала. При таком подходе таксоны возникают не «сверху», а «снизу», и не приходится удивляться, что при этом не удается достичь строгого древовидного представления. Тезаурус, скорее, имеет вид разрозненных деревьев относительно небольшой глубины, причем многие таксоны имеют не только центральную, но и периферийную часть. Такой способ представления таксонов больше соответствует естественному устройству лексической (и фразеологической) системы языка: значения слов связаны друг с другом как семантическая сеть, в которой родо-видовые отношения выступают лишь как относительно небольшая часть реально учитываемых носителем языка отношений. Впрочем, как известно, обсуждение сравнительных преимуществ диалектических по своей природе эвристических установок, к числу которых относится противопоставление индукции и дедукции, всегда носит прагматический характер и не может претендовать на абсолютную истину [Шрейдер 1976].

Словарная тематика продолжается в Главе 8. В ней обсуждается проект фразеологического словаря русского языка, словарные статьи которого содержат подробную информацию об особенностях употребления фразеологических единиц.

Завершает книгу четвертая часть, посвященная проблемам описания идиом в дискурсе. Две первых главы этой части менее теоретичны по сравнению с другими частями книги и построены на анализе конкретных образцов дискурса. В Главе 9 исследуются дискурсивные функции идиом в так называемом дискурсе примирения – в диалогах участников разбирательства в третейском суде, функционирующем в судебной системе Германии. Интересно, что разные люди в различных регионах Германии, пришедшие к третейскому судье по самым разным поводам, употребляют в сопоставимых по аргументативным задачам фрагментах диалога идиомы из определенных (причем тех же самых) семантических полей. Так, аргументируя свое нежелание помириться, они прибегают к весьма близким по значению идиомам из семантического поля конфликт. А третейский судья, разъясняя, в чем состоит риск раздувания конфликта для всех его участников, употребляет идиомы, сопоставимые по семантике с русской пословицей *худой мир лучше доброй ссоры*.

В Главе 10 рассматриваются проблемы описания авторской идиоматики. Сформулированная авторами классификация авторских идиом (авторские лексические модификации, авторские грамматические трансформации, авторские фреквенталии, авторские деархаизмы и собственно авторские идиомы – с. 495 и далее) иллюстрируется на примере ряда произведений Ф.М. Достоевского и «Пиковой дамы» А.С. Пушкина. Особый интерес представляет анализ макроструктурных функций некоторых авторских идиом. Так, на примере использования защитником Дмитрием Карамазовым идиомы *палка о двух концах* показывается роль идиом в организации аргументативной структуры текста.

В последней – одиннадцатой – главе обосновывается оригинальная система стилистических помет, специально разработанная для фразеологизмов. Особенность этой системы в том, что в ней изменена «точка отсчета». Если для обычной лексики точкой отсчета оказывается представление о «нейтральном» стилевом регистре и нейтральные со стилистической точки зрения слова не получают никаких помет, то для фразеологии такой точкой отсчета оказывается разговорный регистр. В предлагаемой системе помет разговорные идиомы никак не помечаются в словаре, а нейтральные, наоборот, получают помету *нейтр.* Это позволяет последовательно провести принцип структурности описания: единицы, составляющие большую часть словника, не маркируются. Разумеется, такая система помет применима только по отношению к фразеологическому словарю.

Совершенно очевидно, что в монографии столь значительного объема и столь богатой по материалу всегда можно найти примеры анализа конкретных языковых фактов, которые могут вызвать несогласие у тех или иных читателей и рецензентов, хотя бы уже в силу одних лишь различий в языковой интуиции. Например, тезис о том, что выражение *сделано с умом* значит 'сделано хорошо', а не 'сделано умно' (с. 61) автору настоящей рецензии представляется спорным (а тем самым спорно и утверждение о дополнительной его переинтерпретации). Аналогичным образом, бесспорно утверждение о том, что словосочетание *маков цвет* не встречается за рамками идиоматического сравнения *покраснеть как маков цвет* (с. 63): как же быть с весьма известной «Песней киномеханика» Н. Богословского на слова М. Танича из фильма «Берга», начинающейся словами *Маков цвет, липов цвет – какая красота! // Все места на земле – лучшие места* и далее воспроизводящей аналогичный зачин еще дважды? Однако в первом случае можно порассуждать о том, как вообще соотносятся характеристики продукта в терминах качества и умного устройства, и не одно ли это и то же, а во втором усмотреть языковую игру. Все подобного рода случаи, если их количество не превосходит некоторого порога, вряд ли могут рассматриваться как претензии.

К числу же реальных претензий глобального типа, как представляется, можно было бы отнести явное дистанцирование авторов от всего, что связано с этимологией. Интенция их, разумеется, понятна, но есть основания полагать, что жесткое противопоставление синхронии и диахронии в последнее время подвергается такой же эрозии, как и другие дихотомии Ф. де Соссюра, причем развитие когнитивной лингвистики явно демонстрирует свою релевантность для этимологических штудий. Как представляется, объединение традиционных этимологических объяснений идиом с новым аппаратом описания фразеологических феноменов, существенный вклад в разработку которых вносит рецензируемая монография, имело бы большую ценность, чем стремление сосредоточиться на преимущественно синхронном описании. Впрочем, это потребовало бы совершенно другого самостоятельного исследования.

Название рецензируемой книги откровенно интертекстуально: оно с неизбежностью отсылает читателя-профессионала к «Аспектам теории синтаксиса» – ранней книге Н. Хомского, сыгравшей столь важную роль в развитии синтаксической теории. Суждена ли рецензируемой книге столь же славная судьба, покажет время (она, в конце концов, посвящена

проблематике, традиционно более периферийной для лингвистической теории, чем синтаксис, хотя авторы убедительно показывают, что фразеология «простирает руки свои» – позволим себе еще одну цитату – куда шире, чем обычно считается), однако очевидно, что монография А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского вносит существенный вклад в разработку фразеологической теории, позволяя взглянуть на многие категории фразеологии с новой точки зрения. И в первую очередь это касается таких феноменов, как идиоматичность и устойчивость, а также внутренняя форма фразеологизмов в соотношении с их актуальным значением.

С.С. Сай, В.В. Баранова, Н.В. Сердобольская (ред.). Исследования по грамматике калмыцкого языка. СПб.: Наука, 2009. 895 с. (Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. V. Ч. 2). ISBN 978-5-02-025575-3.

Исследованиям различных аспектов калмыцкого языка были посвящены экспедиции Института лингвистических исследований РАН и Санкт-Петербургского университета, проходившие в течение трех лет с 2006 по 2008 год в Кеченеровском районе Республики Калмыкия, известном как место, в котором в наибольшей степени сохраняется дербетский диалект калмыцкого языка. По результатам этих экспедиций и был написан рассматриваемый сборник.

Составители сборника не задавались целью дать полное и систематическое описание калмыцкого языка, а стремились к рассмотрению отдельных проблем грамматической системы калмыцкого языка с типологической точки зрения. Такой подход, безусловно, оправдан, поскольку при том, что калмыцкий язык имеет достаточно длительную историю изучения, его грамматика почти всегда рассматривалась или полностью изолированно, или в сопоставлении с иными монгольскими языками (чаще всего только с бурятским и халха-монгольским), или в сопоставлении с тюркскими, русским или английским языками, но почти никогда не учитывались достижения общей типологии. При этом все же надо учитывать, что, хотя строго типологический подход дает определенную свежесть взгляда, следуя ему, нецелесообразно игнорировать и те решения, присмы и гипотезы, которые возникали по поводу тех или иных проблем калмыцкого языкознания в рамках общей монголистики и алтаистики.

Сборник включает в себя три основные части: собрание глоссированных текстов (к сожалению, в книгу вошли не все тексты из числа тех, что были собраны во время экспедиций), очерк калмыцкой грамматики, написанный

Словарь-тезаурус 2007 – Словарь-тезаурус современной русской идиоматики / Под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. М., 2007.

ФОСРЯ 2009 – Фразеологический объяснительный словарь русского языка / Под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. М., 2009.

Шрейдер 1976 – Ю.А. Шрейдер. Сложные системы и космологические принципы // Системные исследования. М., 1976.

П.Б. Паршин

на основе корпуса текстов (автор С.С. Сай), и ряд статей по различным проблемам калмыцкого языка: социолингвистической ситуации (В.В. Баранова), дифференцированному маркированию объекта (М.Б. Коношенко), конструкциям с периферийным обладаемым (М.А. Холодилова), акциональным классам глаголов (М.А. Овсянникова), финитным формам прошедшего времени (К.В. Гото), косвенным наклонениям (К.Н. Прохоров), разделительным и соединительным деспричастиям (Д.Ф. Мищенко), сложным глаголам (В.В. Баранова), глагольным показателям множественности участников (С.А. Оскольская), пассиву (А.В. Выдрина), каузативным конструкциям (С.С. Сай), номинализации (Н.В. Перкова), причастиям в роли сказуемого относительно оборота (К.А. Крапивина), сентенциальным дополнениям (М.Ю. Князев), маркированию субъекта зависимой предикации (Н.В. Сердобольская).

Одна из статей в сборнике посвящена интенсивно обсуждавшейся в монголистике теме – условиям употребления маркированного / немаркированного аккузатива. Автору удалось сделать ряд важных обобщений и нетривиальных наблюдений. Например, было выявлено, что в отношении маркирования по-разному ведут себя названия диких и домашних животных. Очень полезным представляется учет тема-рематических факторов при рассмотрении данного явления, а также в целом комбинированный подход, учитывающий личность / неличность, референтный статус, одушевленность, коммуникативный статус и линейный порядок слов. Впрочем, комбинированный подход уже давно применялся в монголистике при анализе этой проблемы, заслуга автора здесь,

прежде всего, в обосновании и продуманной иерархизации указанных факторов. Возможно также, что опущение показателя винительного падежа стоило рассмотреть в более широком контексте, учитывая общетипологическую направленность сборника и возможность немаркированного выражения не только аккумулятива, но и многих других падежей в алтайских языках – тюркских, корейском и др.

Еще один интересный вопрос калмыцкой грамматики, нашедший свое место в сборнике, – это система прошедших времен. В северномонгольских языках, к которым относится и калмыцкий, имеется целый ряд форм (калм. *-ᠵэ, -la, -v, -sən*), разграничение семантики и функциональной наполненности которых всегда представляло собой значительную трудность для исследователей ввиду своей многозначности и значительного числа контекстов, где различие между этими показателями нейтрализуется. Автор (К.В. Гото) справедливо указывает на то, что один из этих показателей (*-ᠵэ*) имеет, главным образом, эвиденциальный характер (в том числе в контекстах для 1 лица); интересны также наблюдения о присутствии у этого показателя адмиративной семантики в ряде контекстов. При этом вряд ли оправдано проводимое автором разграничение адмиративной частицы *ᠵэ* и показателя *ᠵэ* на том основании, что первая может напрямую присоединяться к причастиям, а второй требует наличия бытийного глагола. Дело в том, что сама частица *ᠵэ* восходит к сочетанию общемонгольского бытийного глагола *a-* и того же глагольного показателя *ᠵэ*. Переход корня этого глагола в морфологический ноль – тенденция, характерная практически для всех монгольских языков.

Трактовка формы на *-la* как «неактуального прошедшего» довольно необычна для монголистики. Возможно, это связано с тем, что далеко не все контексты, в которых данный показатель встречается в калмыцком языке, оказались представлены в полученных в ходе экспедиционной работы текстах.

Данная статья существенно выиграла бы, если бы в ней было проведено сравнение калмыцких фактов с тем анализом системы прошедших времен в близкородственном монгольском литературном языке Внутренней Монголии, который представлен в известной работе [Chuluu 1995]. В частности, в монгольских языках отмечается возможность использования показателя *la* для обозначения действия, которое совершится в ближайшем будущем, возможность использования показателя *la* в типично эвиденциальном употреблении, возможность использования всех финитных форм прошедшего времени (**luγa, *-ᠵиqui, *-ba*) и причастия прошедшего времени **-γsan*

для обозначения действий, имевших место как недавно, так и в далеком прошлом, для передачи перфективных и имперфективных значений, возможность использования показателя *ba* для маркирования событий, которые потенциально могут произойти в будущем. В статье не описано, имеются ли в рассматриваемом говоре калмыцкого языка те ограничения на сочетаемость некоторых показателей прошедшего времени с местоимениями второго лица и с вопросительной конструкцией, которые отмечаются в других северномонгольских языках (ср. соответствующие примеры в [Chuluu 1995; Binnick 1990; ГБЯ 1962: 265–266]).

К сожалению, при хорошем знании авторами сборника типологической литературы и литературы по калмыковедению, владение литературой по монголистике и знакомство с традиционными трактовками многих известных явлений порой оставляют желать лучшего.

Иногда в тексте встречаются достаточно странные утверждения. Например, на с. 233 выдвигается тезис о прамонгольском синтаксисе: «Стоит отметить, что в прамонгольском и среднемонгольском в случае разносубъектности деепричастие на *-ad* не использовалось, оно, как и деепричастие на *ᠵэ*, требовало ко-референтности своего субъекта подлежащему при глаголе в финитной форме» со ссылкой на статью Рыбацкого о среднемонгольском языке. Однако сам Рыбацкий в том месте, на которое ссылается автор статьи, утверждает не совсем это: «While these three converbs typically have the same subject as the main verb, the conditional converb can occur with a different subject...» (т. е. «если в обычном случае эти три деепричастия (на *-n, -ad, -ᠵи*. – И.Г.) имеют тот же субъект, что и главный глагол, условное деепричастие может иметь и другой субъект») [Rybatzki 2003: 78]. Как видно, Рыбацкий здесь говорит только о среднемонгольском языке, а не о прамонгольском (реконструкция синтаксиса которого практически не изучена), и не исключает полностью возможности некорреферентности субъектов указанных деепричастий и подлежащего глагола в финитной форме.

Весьма интересен раздел «Аргументная структура калмыцких каузативных конструкций» (С.С. Сай). Вопреки названию, в данном тексте рассматриваются не только возможности заполнения валентностей каузативных глаголов, не только семантические и синтаксические особенности каузативных конструкций, но и роль каузативных конструкций в дискурсе, в выстраивании говорящим определенной перспективы текста. Этот последний аспект использования каузативных конструкций крайне мало освещен не только в монголистической, но и в типологической литературе в целом.

В статье Н.В. Сердобольской о синтаксических и семантических свойствах конструкций с аккузативным субъектом в зависимых клаузах калмыцкого языка предлагается целый ряд интересных наблюдений. В частности, согласно приведенному в статье анализу, субъект зависимой предикации оформляется аккузативом, если является топиком всего предложения, тогда как в противном случае выбирается номинативное маркирование субъекта. При этом, хотя аккузативный субъект и относится к зависимой клаузе, он может, за счет своей топикальной позиции, становиться мишенью процессов, контролируемых из главной клаузы (замена на рефлексив и т. п.).

Полезным является раздел, посвященный акциональным классам калмыцких глаголов. Результаты анализа, проведенного в данном разделе, помогают лучше понять причины различных синтаксических явлений в калмыцком языке.

Монгольские языки обладают чрезвычайно развитой системой форм императивно-оптативной зоны. Их исследованию посвящена статья К.Н. Прохорова «Калмыцкие формы косвенных наклонений». По сравнению с системой литературного калмыцкого языка, в изучаемом говоре представлена несколько редуцированная система. Так, отсутствуют формы прекатива, оптатива на *-s*, потенциалиса на *-mza*, а для гортатива на *-ij* (общемонг. волонкатив на **-ja*) отмечается значение только множественного числа, а не обоих чисел. Автор разбирает различия в употреблении двух форм юссива *-txa* и *-g* и связывает их с различием в типах каузации действия (прямой или опосредованной). В этой же статье рассматриваются формы апрехенсива (в монголистике обычно называемом «дубитатив»), которые как морфологически, так и семантически резко отличаются от остальных форм, объединяемых автором в группу «косвенных наклонений». Отмечается расширение значения этих форм от «предостерегательного» ('как бы не произошло P') до нейтрального ('возможно, произойдет P'), что автор связывает с сокращением функционирования других форм этой зоны.

Некоторые разделы сборника производят, однако, впечатление недостаточно проработанных. Так, почти никакой новой информации для монголистики не содержится в разделе «Номинализации в калмыцком языке», основная идея которого сводится к тому, что номинализации в виде отглагольных имен на *-lвэл* имеют больше именных признаков, а номинализованные причастия имеют больше глагольных признаков. В разделе же «Причастие

в роли сказуемого относительного оборота в калмыцком языке» разбираются довольно интересные вопросы таксиса, однако не проводится четкого разграничения относительных и прочих конструкций. Несомненно, этот раздел (как и многие другие разделы книги) существенно бы выиграл, если бы его автор приняла во внимание многочисленные работы новосибирской школы, М.И. Черемисиной и ее учеников, посвященные исследованиям полипредикативных конструкций в алтайских языках (назовем хотя бы работу [Черемисина и др. 1984]).

Калмыцкий язык относится к числу тех языков России, существование которых находится под угрозой. По этой причине особого внимания заслуживает собрание текстов, фиксирующих современное состояние калмыцкого языка, состояние языкового сдвига. К сожалению, в объемном сборнике не нашлось места для всех текстов, собранных участниками экспедиции, однако и представленных материалов достаточно, чтобы оценить масштабы изменений, происходящих с калмыцким языком.

Подводя итог, можно заключить, что данный сборник, несмотря на определенные недочеты и не вполне однородный по качеству уровень содержащихся в нем статей, обязателен к прочтению для специалистов по калмыцкому и другим монгольским языкам, а также представляет несомненный интерес для типологов и специалистов по общему языкознанию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГБЯ 1962 – Грамматика бурятского языка: Фонетика и морфология. М., 1962.
- Черемисина и др. 1984 – М.И. Черемисина, Л.М. Бродская, Л.М. Горелова, Е.К. Скрибник, Т.Н. Боргоякова, Л.А. Шамина. Предикативное склонение причастий в алтайских языках. Новосибирск, 1984.
- Binnick 1990 – I.R. Binnick. On the pragmatic differentiation of the Mongolian past tenses // *Mongolian studies. Journal of the Mongolian society*. 1990. V. XIII.
- Chuluu 1995 – Chaolu Wu (Üjiyedin Chuluu). Mongolian past tense markers and their usage // *Mongolian Studies. Journal of the Mongolian society*. 1995. V. XVIII.
- Rybatzki 2003 – V. Rybatzki. Middle Mongol // J. Janhunen (ed.). *The Mongolic languages*. London; New York, 2003.

И.А. Грунтов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международная конференция
«Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика»

9–13 ноября 2009 г. в Институте лингвистических исследований Российской академии наук (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, Россия) прошла Международная конференция «Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика», посвященная столетию со дня рождения В.Г. Адмони¹.

В докладах рассматривались проблемы, связанные с основными направлениями исследований ученого. Обсуждались теоретические вопросы изучения современных германских языков и их истории, проблемы общего языкознания: полевая структура грамматических явлений, грамматика и текст, диахронические аспекты лингвистической теории, типология предложения, грамматические категории, система форм речевой коммуникации.

В конференции приняли участие 86 докладчиков из разных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Вологды, Воронежа, Иванова, Иркутска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Тольятти, Череповца), Белоруссии, Украины и Германии.

Пленарное заседание в первый день конференции, 9 ноября, открыл академик Н.Н. Казанский (Санкт-Петербург). Во вступительном слове были отмечены основные направления лингвистических исследований В.Г. Адмони, охарактеризован вклад ученого в развитие филологической науки. В.М. Павлов (Германия) в докладе «О книге В.Г. Адмони “Основы теории грамматики”» подчеркнул значимость для современной лингвистики принципиаль-

но многомерного и многоаспектного описания явлений морфологии и синтаксиса. Доклад А.В. Бондарко (Санкт-Петербург) «Теория полевых структур в трудах В.Г. Адмони и вопрос о системе грамматической категоризации» был посвящен проблеме интерпретирования языковых явлений, которое опирается на противопоставление центра и периферии.

С.А. Шубик (Санкт-Петербург) на конкретных примерах проиллюстрировал актуальность описания немецкого синтаксиса на основе предложенных В.Г. Адмони моделей, в том числе логико-грамматической типологии высказывания. В докладе В.М. Алпатова (Москва) прослеживалась судьба вопроса о происхождении языка в истории лингвистики. Отправной точкой для рассуждений послужили положения, сформулированные В.Г. Адмони в ранней работе «Как возникла человеческая речь?». Т.М. Николаева (Москва) посвятила доклад анализу условий языкового запрета на включение в состав словосочетания характеризующего расширения (*взять Машу за руку*, но не **за ее руку*). В докладе М.А. Кронгауза (Москва) «Языковая игра и грамматика» рассматривалось возникновение в русском языке особой вторичной номинации, характерной для разговорной речи и жаргонов (в частности, на материале компьютерного (*хомяк, аська, мыло*) и молодежного (*Плешка, Щепка, Рена*)).

В рамках заседания секции «Теоретические проблемы изучения современных германских языков», работавшей под председательством С.А. Шубика, были освещены проблемы изучения актуальных процессов в области грамматической семантики и особенности современного состояния шведского, немецкого и норвежского языков. В докладе Е.М. Чекалиной (Москва) были выявлены процессы стирания морфологических различий между показателями мужского и женского

¹ Изданы материалы конференции (Научное наследие Владимира Григорьевича Адмони и современная лингвистика: Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Г. Адмони (9–13 ноября 2009 года) / Отв. ред. М.Д. Воейкова. СПб., 2009. 289 с.).

рода в шведском языке. Эти процессы привели к образованию общего рода и перестройке родовой системы из трехчленной в двухчленную. М.Г. Арсеньева (Санкт-Петербург) преимущественно на материале немецкой литературы второй половины XX в. подробно проанализировала различные виды псевдопридаточных предложений, их стилистические и грамматические характеристики, особенности функционирования в тексте. С.Т. Нефёдов (Санкт-Петербург) обратил внимание аудитории на непреходящую научную ценность представленного в трудах В.Г. Адмони многоаспектного грамматического анализа содержательной стороны понятий модальности и модального аспекта предложения. В докладе А.Н. Ливановой (Санкт-Петербург) была рассмотрена возможность расширения состава локативных конструкций при описании норвежского языка. Р.И. Бабеева (Иваново) на материале спонтанных диалогов выявила основные единицы, употребляемые в обиходном дискурсе немецкого языка в качестве «вставных элементов предложения» в метакоммуникативной, модальной и эмотивной функциях.

Секция «Полевая структура грамматических явлений» была проведена под руководством Л.И. Гришачевой (Воронеж). В ее докладе на примере предложений с глаголами поведения рассматривались монофинитные синтаксические единицы, обозначающие не одну ситуацию, а их комплекс, совокупность действий одного и того же субъекта. В.А. Ямшанова (Санкт-Петербург), сопоставляя концепты терпение и *Geduld* в русском и немецком языках, обратила внимание на трудности, связанные с переводом этих лексем. В докладе Е.В. Нарустранг (Санкт-Петербург) говорилось о преимуществах метода полевого структурирования при описании относительных прилагательных в немецком языке. В выступлении Е.Э. Пчелинцевой (Черкассы) освещались факторы, формирующие аспектуальную семантику имен действия, и диагностические контексты, позволяющие отнести девербатив к периферии поля аспектуальности. Т.Е. Янко (Москва) описала коммуникативную категорию контраста как семантическое поле, компоненты которого обладают регулярными средствами интонационного выражения и отличаются абстрактным значением. С.Я. Гехтляр и М.А. Бирюкова (Брянск) рассмотрели случаи перехода конститuentов микрополя нумеральности в состав микрополя оценки и другие явления, связывающие поля количественности и качественности (на материале стихов О. Мандельштама, Б. Пастернака и И. Бродского и их переводов на английский язык).

Утреннее заседание секции «Грамматика и текст» 10 ноября прошло под председательством И.П. Матхановой. В выступлении Т.А. Трипольской (Новосибирск) утверждалось, что доминирующим средством номинации звуковых впечатлений в текстах Г. Газданова является метафора. В докладе В.А. Тырыгиной (Тольятти) были отражены результаты анализа корпуса текстов, принадлежащих 8 жанрам британского медийного дискурса, с точки зрения корреляции жанровой характеристики текста и его предикативной организации. М.Г. Притворова (Москва) рассматривала лирику и прозу Э. Кестнера в аспекте жанровой обусловленности стилистического оформления текста. В докладе Ю.Л. Цветкова (Иваново) подчеркивалась органичность синтеза лингвистического и литературоведческого подходов к стихотворениям поэта венского модерна Гуго фон Гофманстала в научном творчестве В.Г. Адмони.

Секция «Диахронические аспекты лингвистической теории» работала под председательством С.А. Шубика и Н.А. Бондарко. В докладе Н.Н. Семенюк и Н.С. Бабенко (Москва) говорилось о проблемах возникновения и функционирования афинитных конструкций в немецком языке, а также о месте концепции афинитности в трудах В.Г. Адмони. Л.З. Аксенова (Германия) сформулировала и прокомментировала основные тенденции эволюции немецкого языка, причины их возникновения и соотношение с общими тенденциями языкового развития. В выступлении Н.Б. Пименовой (Москва) рассматривалась функциональная противопоставленность порядка слов, были выявлены причины варьирования позиции глагола в рамках текста и элементы связи различных факторов сдвига глагола. Доклад Г.Р. Гаммермайстера (Вологда) был посвящен проблеме целостности описания словарного состава в истории немецкой лексикографии. В выступлении Д.В. Сичинавы (Москва) на материале различных западноевропейских языков рассматривались сверхсложные формы глагола, основное предназначение которых связывается автором с выражением специфической грамматической семантики. В докладе К.А. Филиппова (Санкт-Петербург) шла речь о редакторской работе М.В. Ломоносова над текстом «Российской грамматики» после 1757 г. и о ее переводе на немецкий язык. Д.В. Руднев (Санкт-Петербург) охарактеризовал основные этапы развития составного именного сказуемого в русском языке XVII–XIX вв., обратив внимание на грамматические и стилистические факторы, повлиявшие на этот процесс.

Вечернее заседание секции «Освоение языковой системы» 10 ноября проходило под председательством М.Д. Воейковой. С.Н. Цейтлин (Санкт-Петербург) предложила свою интерпретацию ответа на вопрос о том, почему ребенок из набора семантических функций граммы выбирает прежде всего функцию прототипическую. А.Д. Кошелёв (Москва) посвятил доклад описанию особенностей раннего этапа формирования у ребенка значений существительного (предметности) и глагола (акциональности) с когнитивных позиций. В.В. Казаковская (Санкт-Петербург) проанализировала вопросительные реплики-реакции взрослого в диалоге с ребенком раннего возраста, учитывая результаты статистической обработки обширного корпуса данных. Е.Н. Панфилова (Санкт-Петербург) представила результаты проведенного в г. Архангельске лингвистического эксперимента и показала, как осваиваются детьми 3–7 лет родо-видовые отношения. Я.Э. Ахапкина (Санкт-Петербург) охарактеризовала становление семантики футуральности при освоении ребенком идеи времени и ее языкового выражения на ранних этапах речевого развития.

Утреннее заседание секции «Грамматические категории» 11 ноября проходило под председательством Е.Е. Корди. В докладе А.А. Горбова (Санкт-Петербург) отмечалась неоднозначность связи способов глагольного действия и принадлежности глагола к акциональному классу в русском языке. Доклад Е.В. Горбовой (Санкт-Петербург) был посвящен выявлению семантико-функциональных различий прогрессива в английском и испанском языках. Е.Е. Корди (Санкт-Петербург), рассматривая оптатив во французском языке, подчеркнула, что данное наклонение является живым и развивающимся элементом грамматической системы. В докладе Т.Н. Александровой (Вологда) был представлен анализ функционирования элементов таксисно-темпорально-аспектуального поля в немецком нарративе. Е. Трибушина (Нидерланды) проанализировала функционирование относительных прилагательных в германских языках. Е.Ю. Хрисонопуло (Санкт-Петербург) попыталась выявить содержательные структуры в значении английских вспомогательных глаголов – элементов составных грамматических форм.

Секция «История германских языков» была представлена двумя заседаниями: утреннее заседание провел С.А. Шубик, вечернее – Ю.А. Клейнер. В центре внимания исследователей оказались проблемы периодизации истории языка, исторической грамматики и стилистики, лексикологии, текстологии и

источниковедения. Доклад Ю.А. Клейнера (Санкт-Петербург) был посвящен проблеме поиска единого основания для построения периодизации германских языков; рассматривались грамматические и просодические критерии выделения синхронных срезов. В докладе Б.-М. Шустер (Германия) описывалась история развития жанра эссе в контексте новейшей истории немецкого языка; синтаксические характеристики эссе интерпретировались в функциональном аспекте с точки зрения их роли в структурировании информации. Доклад Е.Р. Сквайрс (Москва) был посвящен тому, каким образом развитие медицинской литературы в направлении популярных жанров повлияло на динамику синтаксических инноваций в истории немецкого языка. В докладе Н.А. Бондарко (Санкт-Петербург) были рассмотрены разные коммуникативные ситуации и письменные жанры, связанные с принесением обета послушания францисканскими монахами, а также проанализированы типовые синтаксические конструкции, используемые в латинской и средневерхнегерманской традициях для передачи стереотипных элементов смысла. Доклад Л.И. Москалюк (Барнаул) был посвящен развитию немецких диалектов на Алтае, характерным признаком которого стало упрощение системы склонения имени существительного. Е.Ю. Макеева (Самара), изучив кельтские, латинские и скандинавские лексические заимствования в английском языке, пришла к выводу, что их относительно небольшое количество позволяет говорить об уникальности становления и развития английского языка в древнейший период. В докладе В.И. Карпова (Москва) рассматривались различные модели топикализованных конструкций в синтаксисе немецких лечебных заговоров. Вечернее заседание секции открыл Ф.Б. Успенский (Москва) выступлением, посвященным первым средневековым комментариям к «Старшей Эдде», следы которых выявляются в составе «Пряди о Норна-Гесте», тексте, записанном в конце XIV в. и содержащем прямые апелляции к «Старшей Эдде». Ю.К. Кузьменко (Санкт-Петербург) предложил свою расшифровку первой части рунической надписи на палочке IX в. из Старой Ладogi, соотносящуюся с интерпретацией ее второй части, предложенной В.Г. Адмони и Т.И. Сильман в 1957 г. Доклад Т.Л. Шенявской (Москва) был посвящен сопоставительному анализу свреxfразового единства в сценах битвы главных героев из древнеанглийской эпической поэмы «Беовульф» и древнеисландской «Саги о Греттире». В докладе Д.Д. Пировского (Санкт-Петербург) на материале исландских саг рассматривались методы

и параметры (формальные и семантические) выделения границ синтаксических единиц (периодов, или сверхфразовых единств) в текстах, ранее бытовавших в устной традиции. М.А. Волконская (Москва) проанализировала случаи употребления скандинавских заимствований при описании пути сэра Гавейна в Зеленую Часовню.

Вечернее заседание секции «**Типология предложения**» 11 ноября прошло под председательством Н.К. Онипенко. И.М. Кобозева (Москва), рассматривая семантику глагола *понимать* в русском языке, проанализировала соотношение между типом предложения и ментальным, семиотическим, коммуникативным, оценочным, эмоциональным значениями входящего в это предложение предиката. В докладе М.И. Абабковой (Санкт-Петербург) была сделана попытка показать, что коммуникативная перспектива предложения закладывается на морфологическом и лексическом уровнях и получает окончательное оформление на уровне синтаксическом при помощи линейного расположения единиц в речевой цепи и интонации. О.А. Кострова (Самара) аргументировала необходимость выявления и описания варьирования элементарных предложений и продолженных синтаксических форм для создания системной эмпирической грамматики. С.П. Анохина (Тольятти) показала, что спектр функций распространителей структурной схемы предложения отражает их значимость для возможности его одновременного пребывания как целостного знака во всех измерениях семиозиса: семантике, синтактике, сигматике, прагматике.

В рамках совместного заседания секций «**Языковые характеристики литературных жанров**» и «**Грамматика и текст. Продолжение**», прошедшего под председательством Р.Л. Смулаковской, в докладе К.Р. Новожиловой (Санкт-Петербург) была прослежена релевантность противопоставления логического стиля (Гёте) ассоциативному стилю (И. Козн). Доклад О.В. Лымарь (Краснодар) был посвящен проблеме связности текста в постмодернистском дискурсе (на материале романа Д. Кальмана «Измерение мира»). В докладе Р.Л. Смулаковской и В.М. Беловой (Череповец) было показано, что в рамках реализации избирательности как конститутивного признака жанра мемуаров слова-релятивы позволяют присоединять разные типы воспоминаний. И.А. Мартынова (Санкт-Петербург), исследуя категорию напряженности в высказывании и тексте, пришла к выводу, что динамико-статическое равновесие высказывания и текста, рост и разрядка напряженности получают композиционно-синтаксическое вы-

ражение при помощи функционального отбора композитивов и вариантов их расположения. Доклад Л.Э. Найдич (Израиль) был посвящен анализу функций односоставных номинативных предложений в поэзии Георга Тракля и Пауля Целана. В выступлении Н.К. Онипенко (Москва) анализировались генеритивные высказывания и обсуждалась проблема количественного минимума текста. В докладе Е.Г. Сосновцевой (Санкт-Петербург) были рассмотрены различные типы временной нелокализованности действия в житийных текстах XVI–XVII вв. и их связь с принципами организации агиографического повествования.

Утреннее заседание секции «**Переводоведение**» под председательством И.В. Недялкова прошло 12 ноября. Е.В. Плисов (Нижний Новгород) выделил экстра- и интралингвистические аспекты перевода, существенные для переложения литургии на немецкий язык, доказывая принципиальность учета ситуаций употребления священных текстов. А.Ю. Калиновская (Москва) анализировала перевод эллиптических конструкций с точки зрения сохранения той части оригинального сообщения, которая должна повлиять на языковое поведение воспринимающего текст (читателя, слушателя). А.В. Павлова (Германия) рассматривала причины асимметрии лексиконов, влияющей на появление лакун при переводе, и способы преодоления лексических несоответствий между русским и немецким языками. И.В. Недялков (Санкт-Петербург) обратил внимание на случаи семантического противоречия между структурными и семантическими компонентами экспрессивных высказываний, в частности, на появление негативной семантики при отсутствии отрицательных частиц. С.И. Горбачевская (Москва) выделила области несовпадения функционально-семантических полей объективной и субъективной модальности в русском и немецком языках на материале переводов художественных текстов. Н.Н. Ефимова (Иркутск) посвятила доклад особенностям идиообразования в современном английском художественном тексте и сложностям, возникающим при переводе фразеологии.

Вечернее заседание секции «**Система форм речевой коммуникации**» 12 ноября прошло под председательством С.А. Шубика. Н.А. Кобринна (Санкт-Петербург) рассматривала исторические модификации когнитивного подхода к языковому материалу. Б.Ю. Норман (Белоруссия) описал полярные случаи соотносительности высказывания с действительностью: внеситуативные высказывания, не нуждающиеся в референциальной поддержке, были противопоставлены высказы-

ваниям разовым, лишенным смысла без такой поддержки. По мнению М.Я. Дымарского (Санкт-Петербург), степень соотнесенности высказывания с действительностью является важным фактором при разработке теории предикативности, а также теории односоставного и сложного предложения.

Е.В. Краснова (Санкт-Петербург) анализировала случаи редукции датских неологизмов-композиций до второго компонента сложного слова. И.П. Матханова (Новосибирск) классифицировала словарные и окказиональные предикаты поведения в русском языке. И.А. Бахмутова (Санкт-Петербург) описала особенности употребления немцами-меннонитами литературного немецкого языка, русского языка и диалекта Plautdietsch в зависимости от сферы социального применения идиома.

Заключительное пленарное заседание прошло под председательством М.Д. Воейковой и В.С. Храковского. В докладе В.С. Храковского (Санкт-Петербург) была отмечена непоследовательность и внутренняя противоречивость традиционных представлений о залоге, а также была представлена концепция Петербургской типологической школы, согласно которой под диатезой понимается определенное соответствие участников ситуации и членов предложения, а под залогом – маркировка диатезы в глагольной словоформе специальным показателем. Доклад М.Д. Воейковой (Санкт-Петербург) был посвящен основным и

вторичным падежным маркерам существительных и местоимений в устной разновидности современного русского литературного языка в условиях растущего синкретизма падежных флексий. Развиваемый тезис связан с положением В.Г. Адмони о том, что язык обладает единой грамматикой для устной и письменной разновидности речи. В докладе Н.Д. Светозаровой (Санкт-Петербург) были охарактеризованы факторы, формирующие акцентную структуру русской фразы, в частности, принадлежность к определенной части речи, семантический и структурно-синтаксический факторы, порядок слов и тема-рематическое членение. В.Б. Касевич (Санкт-Петербург) пришел к заключению, что если топик, являясь понятийной категорией, не в каждом языке реализуется грамматически, то тема / рема, будучи обусловленной строением человеческого мозга, присутствует в любом языке. И.К. Архипов (Санкт-Петербург) рассматривал модификации фонетической и грамматической систем русского и английского языка с антропоцентрических позиций.

В целом в прочитанных докладах получили отражение различные аспекты освещаемой в трудах В.Г. Адмони проблематики, в полной мере сохраняющей свою значимость в системе современных филологических исследований.

Я.Э. Ахаткина, Е.Г. Сосновцева

Международная научная конференция «I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика»

10–12 февраля 2010 г. в Москве в МГУП проходила Международная научная конференция «I-е Бриковские чтения: Поэтика и фоностилистика», организованная совместно Московским государственным университетом печати и Институтом русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Конференция, изначально задуманная как семинар по проблемам звуковой и ритмико-синтаксической организации стиха и в этой связи – роли филологических идей О.М. Брика, неожиданно для самих организаторов превратилась в массовое (74 доклада участников из 10 стран, более 200 слушателей) обсуждение проблем лингвистики стиха, поэтики, авангардных течений в поэзии, прозе, архитектуре, фотографии 1920-х годов.

На пленарном заседании прозвучали доклады Т.М. Николаевой, С.И. Гиндина и А.В. Валуженича.

В докладе «Осип Брик и пространство стихотворной строки» Т.М. Николаева

(Москва) отметила, что, при всей важности лингвистического исследования структуры стихотворной строки, до сих пор неясно, как именно следует ее изучать. Она перечислила явления, на которые необходимо обратить внимание при анализе лингвистической структуры стихотворной строки (просодическое оформление, звуковые и незвуковые повторы). Она остановилась на просодическом оформлении именных словосочетаний и тех последствиях, которые оно имеет для речевой организации стихотворного текста. Оказалось, что если первое слово словосочетания было прилагательным или местоимением (*синяя книга, наша книга*), то его общая интенсивность была в 1,5 раза выше, чем если первым словом выступало существительное (*книга отца*). Поэтому В.В. Маяковский отчетливо сокращает количество прилагательных в стихе: таким образом он повышает значимость остальных слов и обеспечивает перераспределение интенсивности – выравнивание акцентной кривой, не имеющей

отношения к мелодике, мелодической монотонии, характерной для стихотворной строки.

В докладе С.И. Гиндина (Москва) «Повторы в тексте: украшение или основа?» структура и результаты работы О.М. Брика «Звуковые повторы (Анализ звуковой структуры стиха)» (в кн.: Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Вып. III. Пг., 1919. С. 58–98) были рассмотрены на фоне двух предшествующих научных традиций: обособленного анализа отдельных феноменов звуковой организации стиха в поэтике и систематики фигур речи (включая лексические повторы) в риторике. Для последней из этих традиций было характерно уходящее еще в античность представление о том, что возможна «простая», «естественная» речь, не содержащая повторов, а повторы суть некоторое факультативное средство «усиления» или «украшения речи». Развитие лингвистики текста, по мнению докладчика, показало, что лексические (и сопутствующие им фонетические) повторы есть неизбежное в любой достаточно протяженной речи средство обеспечения ее смысловой преемственности, связности. Соответственно, возникает совершенно новая проблематика разграничения повторов «естественных», языково-речевых, и повторов намеренно подчеркнутых, вводимых с целью дополнительного усиления эффекта речи. С.И. Гиндин показал, что О.М. Брик, разделяя повторы как фонетическое и как поэтическое явление, фактически уже наметил один из механизмов намеренного подчеркивания повторов, а именно регулярность их расположения в речевых звеньях. В докладе были указаны также некоторые другие механизмы подобного подчеркивания повторов.

А.В. Валюженич (Казахстан), наиболее известный специалист по творчеству О. Брика, сделал доклад, посвященный проблемам и перспективам изучения творческого наследия О. Брика.

Помимо пленарных докладов, на конференции были представлены доклады в пяти ее секциях: «Ритм и грамматика стиха», «Звуковая организация художественного текста и методы ее изучения», «Фоностилистика индивидуальных художественных систем», «Эстетика в свете прагматики и речевые технологии масс-медиа», «Русский конструктивизм и творческое наследие О.М. Брика».

На секции «Ритм и грамматика стиха» прозвучали следующие доклады. Л.Г. Зубкова (Москва) в докладе «Ритмообразующие свойства морфемного строения частей речи» рассказала о расположении существительных и глаголов разной морфемной структуры на различных позициях в строке – целиком внутри

стопы или между стопами (так что стопораздел проходит внутри слова). Т.В. Скулачева (Москва) и М.В. Буякова (Самара) в докладе «Сочинительные и подчинительные конструкции внутри и между строками» отметили различие между собственно лингвистическим анализом, исследующим лингвистические явления независимо от их позиции в стихотворной строке, и лингвистическим стиховедческим анализом, исследующим лингвистические явления строго в связи с их позицией и функцией в стихотворной строке и стихотворном тексте. К.Ю. Тверьянович (Санкт-Петербург) в докладе «Ритмико-синтаксические клише в композиции лирического стихотворения» остроумно сочетала две разных методики грамматического анализа стиха, предложенные М.Л. Гаспаровым и Т.В. Скулачевой, в результате чего была разработана новая, более подробная методика анализа ритмико-синтаксических клише в стихотворном тексте. С.Е. Ляпин (Санкт-Петербург) в докладе «Местоимения в стихе Пушкина: синтаксис – ритм – поэтика» рассмотрел позиции местоимений в различных ритмических формах четырехстопного ямба. Л.В. Зубова (Санкт-Петербург) в докладе «Фонетика грамматики в современной поэзии» описала некоторые новые явления морфологии современных стихотворных текстов. В вызвавшем большой интерес докладе Е.Н. Винарской (Москва) «Речь и структурно-функциональная организация мозга» автор обобщила многолетний опыт клинических наблюдений над людьми с повреждениями различных участков мозга и влиянием таких повреждений на речь больных. С.Ю. Прображенский (Москва) в своем выступлении говорил о двусловных клише в сверхкоротких стихотворных размерах, поставив вопрос о протопредложении и протословосочетании в русском стихе. М.А. Дзюбенко (Москва) изложил результаты исследования функции и семантической нагрузки межстрофических переносов в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина. В.С. Андреев (Смоленск) в докладе «Вариативность синтаксических параметров лирики Г.У. Лонгфелло» показал с применением достаточно сложного статистического аппарата (многомерный дискриминантный анализ), как изменение различных синтаксических параметров позволяет периодизировать творчество Г.У. Лонгфелло. Р. Байич (Сербия) рассказала о повторах в современных сербских богослужебных текстах. А.В. Козьмин (Москва) в своем очень интересном докладе описал структуру стиха и метрически значимые фонетические повторы в полинезийской поэтической традиции. А.А. Гриневич (Новосибирск) говорила о повторах и форму-

лах как способе ритмизации языческих обрядов (медвежий праздник хантов). А.С. Кулева (Москва) представила статистическое исследование использования усеченных прилагательных в позиции рифмы.

На секции «Звуковая организация художественного текста и методы ее изучения» были представлены доклады, посвященные различным аспектам фонетической организации стиха. В докладе Ю.Б. Орлицкого (Москва) «К истории безвокальных текстов русской поэзии» описывались случаи экспериментального построения стихотворных текстов из одних согласных. Оказалось, что подобные эксперименты встречаются неоднократно и имеют свою традицию в истории русской поэзии XX века. В докладе Е.Н. Винарской (Москва) «Врожденные просодические средства и приобретенные речевые просодемы» описывалось постепенное освоение ребенком различных уровней организации речи и отмечался такой интересный для стиховедов факт, что ритм и интонацию ребенок осваивает раньше, чем большинство, казалось бы, более существенных уровней организации речи. Ф.Б. Успенский (Москва) говорил об иконическом в поэтике Б.Л. Пастернака и О.Э. Мандельштама. В совместном докладе В.С. Баевского, Л.В. Павловой и И.В. Романовой (Смоленск) исследовалась компьютерными методами частотность гласных и согласных фонем в стихотворных текстах в сравнении с прозаическими. Г.В. Векшин (Москва) в своем докладе «Взгляды О. Брика на звуковую повтор и фоносиллабика поэтического текста» проанализировал слоговую структуру и ритмическое строение отобранных Брикком созвучий и показал, что длина элементарного сегмента речевой цепи, вступающего в отношения звукового повтора, равна одному потенциальному слогу, а многосложные сегменты не могут быть двударными, что свидетельствует о силлабической природе повтора и его соотносительности с ритмической организацией строки. За докладом последовала дискуссия о способах учета слоговых повторов и повторов отдельных гласных и согласных в современном стиховедческом анализе. Ф.Н. Двинягин (Санкт-Петербург) в своем докладе исследовал повторы слов с одинаковым компонентом значения и сходной ритмической и сегментной структурой. А.А. Илюшин (Москва) в докладе «Слоговые повторы в русском стихе (на материале современной анонимной поэзии)» отметил, что кажущаяся непрофессиональность безымянных стихотворческих упражнений вполне совместима с изобретательностью в области версификации. Следуя традиции изучения звуковых повторов как интегрированных в слоговую и ритмиче-

скую структуру стиха, А.А. Илюшин уделил особое внимание эхообразным (по Д. Мэссону) слоговым повторам («Авзонии разорванная зона»). М.Ж. Чаркич (Сербия), основываясь на анализе рифм в сербском, русском и английском языках, предложил отличную от принятой в традиционном стиховедении терминологию для описания рифмы, учитывающую количество и порядок элементов в рифменных созвучиях. О.И. Северская (Москва) рассмотрела явление паронимической аттракции (смыслового взаимодействия слов с одинаковым или сходным звуковым сегментом) и описала механизмы его функционирования в стихотворном тексте. Е.Ю. Кукушкина (Москва) в докладе «О работах Н.А. Кожевниковой в области лингвистики стиха» провела чрезвычайно ценную работу, описав и систематизировав работы Н.А. Кожевниковой по языку стиха (звуковая организация, тропы, синтаксис), преимущественно по книге Н.А. Кожевниковой «Избранные работы по языку художественной литературы» (М., 2009). В докладе А.В. Гик (Москва) «Семантика звукописи в поэтическом творчестве М. Кузмина» изучались особенности фонетической организации стиха М. Кузмина от книги «Сети» до сборника «Форель разбивает лед». О.И. Федотов (Москва) в докладе «Звуковая организация русских заговоров» рассматривал аллитерации и ассонансы в текстах заговоров и оспаривал точку зрения некоторых исследователей, утверждающих, что фонетические повторы фактически превращают заговоры в стихотворный текст. По мнению О.И. Федотова, подобные повторы лишь создают в заговорах особый тип сегментации, для речь на сравнительно короткие отрезки, которые лишь позднее, когда такая сегментация становится регулярной и предсказуемой, превращаются в стихотворные строки.

На секции «Фоностилистика индивидуальных художественных систем» были представлены доклады, посвященные индивидуально-стилевым особенностям звуковой организации текста в творчестве конкретных поэтов. Дж. Спендель (Италия) рассмотрела структуру немецких стихов Каролины Павловой. В докладе Н.А. Фатесвой (Москва) был представлен анализ звуковой организации стиха и прозы Б. Пастернака. В докладе Р.С. Войтеховича (Эстония) рассматривались способы сегментации и анаграммирования имени адресата в поэзии М. Цветаевой. Были также представлены доклады, посвященные приемам фонетической организации стиха А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилева, В.В. Маяковского, а также фонике более современного стиха - поэзии 60-х годов, и в частности А. Вознесенского.

Секция «Эстетика в свете прагматики и речевые технологии масс-медиа» (доклады В.И. Карасика (Волгоград), Т.В. Маркеловой (Москва), Т.В. Базжиной (Москва), Ю.К. Пироговой (Москва), П.Б. Паршина (Москва), Е.Н. Ремчуковой (Москва), М. ван дер Дуйна (Нидерланды) и др.) была посвящена особенностям речи средств массовой коммуникации и другим вопросам прагмалингвистики.

Секция «Русский конструктивизм и творческое наследие О. Брика» включала доклады, посвященные жизни и творчеству О. Брика, а также стиху, прозе, критике, живописи, архитектуре, кино 1920-х годов (выступления А.Е. Парниса (Москва), А.Н. Лаврентьева (Москва), В. Познер (Франция), Н.А. Курчановой (США), А. Хенниг (Германия), С.И. Кормилова (Москва), Е.Р. Арензона (Москва), Е.Ю. Иньшаковой (Москва), В.А. Пронина (Москва), Л.Б. Шамшина (Москва), Я. Левченко

(Москва) и др.). Подробный обзор докладов этой секции будет представлен в журнале «Известия РАН. Серия литературы и языка».

Завершали конференцию воспоминания Б. Янгфельдта (Швеция) о его работе с Романом Якобсоном с демонстрацией материалов из фотоархива шведского филолога.

На фоне стиховедческих конференций, традиционно характеризующихся жестким отбором узкопрофессиональных докладов, подобная конференция более широкой тематики (от нейрофизиологии, лингвистики, лингвистического стиховедения, компьютерного анализа художественных текстов до теоретической поэтики, истории литературы, истории культуры) была полезна и позволила обсудить широкий круг междисциплинарных вопросов, накопившихся за последние десятилетия, – круг, широту которого во многом определил научный кругозор ее заглавного героя, О.М. Брика.

Т.В. Скулачева, Г.В. Векшин